



Джон МАКИНРОЙ, Джеймс КАПЛАН
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО ВЫ ЭТО ВСЕРЬЁЗ
[Penguin Group Incorporated, 2002, 304с.]
ВСЕРЬЁЗ
[Time Warner, 2003, 346с.]

Групповой перевод под началом Виктора Кургана

Прим.ред.— Джон Макинрой написал автобиографическую книгу совместно с американским писателем и журналистом Джеймсом Каплан. В 2002 году книга вышла в США и в следующем году в Великобритании. Названием для американского издания послужила, получившая всеобщую известность, реплика Макинроя, которую он выкрикнул судье: “Не может быть, что вы это всерьёз!” (Map, you cannot be serious!). Это произошло во время матча 1-го круга «Уимблдона-1981» между соотечественниками Джоном Макинроем и Томом Галликсоном, когда судья матча шотландец Эдвард Джеймс оштрафовал Макинроя за швыряние ракетки. Обе книги идентичны и были переизданы.

*Посвящается Патти - моей родственной душе,
моей соучастнице по преступлению –
мы были созданы друг для друга*

Глава 1

Ненавижу будильники. Их непрерывное тиканье сводит меня с ума. И утро 11 сентября 2001 года началось, как и любое другое утро в семье Макинроев – со звонка в 7 утра от 540-WAKE (*прим.ред.— Американская служба, которая звонит в определённое вами время и будит вас*). Я быстро повесил телефонную трубку, оставил свою жену Патти спать и вытащил себя из кровати, чтобы пойти разбудить 5 из 6 своих детей – Ава, наша двухлетняя младшенькая, была ещё слишком мала для того, чтобы принимать участие в этом ежедневном ритуале.

Мы живём на самом верху большого многоквартирного дома на Централ Парк Уэст, в самой лучшей квартире самого красивого здания в Нью Йорке (по крайней мере мне так кажется). Я думаю и ценю это каждый божий день. Наш дом – это четыре верхних этажа, комнаты детей расположены на первом, втором и третьем этажах. Я улыбался, переходя из комнаты в комнату, взъерошивая волосы, почёсывая спины, потрёпывая по щёкам. И пока дети пытались урвать лишнюю минутку сна на меня нахлынули воспоминания о своём собственном детстве.

Мне снова было пятнадцать и я готовился начать четырёхлетнюю учёбу в школе «Тринити» (*Trinity*), расположенной на Аппер Уэст Сайд (*Central Park West*) в Манхеттене. Мать пыталась вытащить меня из кровати моей комнаты на верхнем этаже дома номер 255 на Манор Роуд (*Manor Road*), в Дагласстоне (*Douglaston*) в Квинс (*Queens*), стойко перенося моё утреннее ворчание, – извини мама! – вызванное перспективой поездки на общественном транспорте, тем, что мои дети даже представить себе не могут.

Сначала 15 минут пешком до железнодорожной станции «Дагласстон» – прогулки, которую мне нужно было совершать каждое утро вплоть до того славного дня когда мне исполнилось 17 и когда я получил водительские права. Затем я садился на поезд, отправляющийся в 7:20, показывал кондуктору месячный проездной и устраивался для 30-минутной поездки до станции «Пенн» (*Penn*) в Манхеттене.

Для тех кто живёт не в Нью Йорке я поясню, что станция «Пенн» расположена прямо под «Мэдисон Сквер Гарден» (*Madison Square Garden*), который был во времена моего детства частым моим маршрутом – родная арена моих любимых «Никс» (*прим.ред.– Баскетбольная команда*) и «Рейнджерс» (*прим.ред.– Хоккейная команда*), место первого рок-концерта, который я посетил («Гранд Фанк Рейлрод!» (*Grand Funk Railroad!*)), а также один из ярчайших моментов моей юности – Нью-Йоркская остановка «Лед Зеппелин» во время их всемирного турне 1975 года. Некоторые из моих величайших теннисных побед и в одиночке и в паре были достигнуты тоже там, на турнире «Мастерс» (*Masters*) сразу после Рождества.

Сойдя с поезда, я проходил по переполненным туннелям и садился на поезд метро «IRT» на Седьмой Авеню, номер 2 или 3-экспресс и ехал 20 минут до Аппер Уэст Сайд (*Upper West Side*). Иногда я ездил вместе с Джоном Райерсоном, ещё одним учеником «Тринити», живущем в Дагласстон, и иногда к нам присоединялся ещё один одноклассник Стив Вайтсман.

Мне нравилось метро. И нравится до сих пор. Быть зажатым в вагоне своими согражданами никогда не причиняло мне неудобств. В конце концов, я житель Нью Йорка до мозга костей, и близкие столкновения это лишь часть беды. Другая причина заключается в том, что в то время как меня укачивало от чтения в поезде, я спокойно переносил поездки в метро (не то чтобы мы с Джоном и Стивеном много читали по дороге – я вспоминаю множество баталий смятыми бумажками – прошу прощения у пассажиров «IRT» 1974 года!). Мне также нравилось покачивание взад-вперёд в темноте – действует успокаивающе, невозможно передать это словами.

Я выходил из метро на 96-ой улице, поднимался по ступенькам на Бродвей и шёл пешком пять кварталов до «Тринити», расположенной на 139 Уэст 91-ой улицы между Коламбус и Амстердам Авеню – то самое место, куда я каждое утро после завтрака подвожу Руби, Кевина, Шона, Эмили и Анну.



Забавно, что наша квартира расположена всего в полумиле от «Тринити» и несмотря (а может и из-за того) на мои тягостные поездки во времена моего детства я люблю подвозить детей до школы. Мне нравится проводить с ними дополнительное время и надо признаться я люблю слегка баловать своих детей. Виноват ли я в этом? То, что я их отец делает их жизнь одновременно и труднее и легче и зачастую трудно найти правильный баланс. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они жили в безопасности и комфорте, чтобы у них было всё – включая тот самый внутренний огонь. Это то, что привело меня к тому, что я есть сейчас.

Но я совершал долгие поездки на общественном транспорте, а их подвозят. Я их балую?

Я добрался до кухни примерно в полвосьмого и начал раскладывать на столе фрукты для завтрака: яблоки, грейпфруты, клубнику и дыню. Я верю в то, что по утрам нужно есть фрукты и, как и мои родители, стараюсь приготовить их для своих детей: чищу яблоки, правильно режу грейпфруты, режу и очищаю от семечек дыню.

Ещё через несколько минут все пятеро спустились вниз как стая саранчи и быстро уничтожили фрукты, которые я так тщательно приготовил, даже не пробормотав спасибо (к сожалению я и сам был такой). Затем они заглотив хлопья, вафли и яйца прежде чем мы вывалились из дома чуть позже восьми часов.

Я вернулся домой где-то без четверти девять и решил посмотреть одно из утренних ток-шоу. Я не совсем уверен, что меня побудило к этому в то вторничное утро: обычно я начинаю свой день с кофе, бейгла (*прим.ред.– Выпечка в форме тора из предварительно обваренного дрожжевого теста*) и «Times». Сегодня же я с пультом в руке приготовился к Диане и Чарли, Кэти и Матту, может быть даже к Брайану в небольших количествах. Люблю перещёлкивать каналы.

Затем начались новости.

Во «Всемирном Торговом Центре» начался пожар, сообщали они. Не повезло, подумал я, но всё вроде бы под контролем. Было начало десятого и я уже был готов к поездке в центр на мою ежедневную встречу с психотерапевтом. "Anger-management counseling" – так это называется в суде или, более конкретно в моём случае, как это называет юрист моей бывшей жены. Я хожу туда уже порядка года и хотя не уверен, что я бы выбрал это не будь это настойчиво рекомендовано в условиях моего развода – и не то чтобы я выхожу с каждой сессии полный внутреннего спокойствия – должен признать, что терапия принесла кое-какие плоды. Всё чаще я считаю до десяти в определённых ситуациях, где бы раньше я непременно завёлся.

То, что я услышал, затем скорее испугало, чем разозлило. Уже собравшись выходить, я услышал, что самолёт только что врезался в южную башню «Всемирного Торгового Центра» и, что пожар в северной башне, о котором сообщалось ранее, тоже был вызван самолётом. Внезапно стало ясно, что мы находились в центре какой-то террористической атаки. Моё сердце стучало как молоток.

Что я должен делать? У меня не было не малейшего понятия кроме как продолжить свою вторичную рутину. Теперь мне кажется, что я находился в какой-то степени в шоке. Когда я зашёл в офис моего психотерапевта то сказал, практически непринуждённо, "Вы слышали о том, что два самолёта только что врезались во «Всемирный Торговый Центр»?". Он уставился на меня, пытаюсь понять серьёзно ли я это говорю или нет. И затем – это звучит невероятно – мы начали нашу обычную сессию ни словом не перекинувшись о теракте.

Каким-то образом я не осознал чрезвычайность ситуации. Возможно, это было связано с моими частыми перелётами в бытность профессиональным теннисистом, когда нужно было выкинуть из головы аварии самолётов, чтобы я мог летать каждую неделю. Теннисисты никогда не говорят о подобных вещах, также как и автогонщики не любят говорить об авариях машин со смертельными

исходами. Кроме того в молодости чувствуешь себя неуязвимым.

Я больше не чувствую себя неуязвимым.

Я добрался домой около десяти и немедленно “приклеился” к телевизору. То что я увидел, привело меня в полнейшее замешательство: рушится одна, затем другая башня, центр Манхэттена становится похож на какое-то “сюрное” военное кино: люди в панике пытаются спасти свою жизнь, гигантские облака пыли – и мы тут, на «Upper West Side» в жуткой тишине. Патти и я просто ошарашенно смотрели друг на друга.

По мере поступления новостей мы стали беспокоиться о наших детях. Телефоны не работали – что делать? Что должна делать школа? Что теперь будет? Мы вышли из ступора и поняли, что если и есть время, чтобы сплотиться, то вот оно настало. Я просто хотел обнять четырёх своих девочек и двух мальчиков не только ради них, но и ради себя самого.

К счастью у Руби, нашей шестнадцатилетней дочери, был с собой мобильный телефон и она смогла связаться с нами. Вскоре я уже был на пути, чтобы забрать всех детей, пешком. По мере того, как я шёл я слышал сирены, видел пожарные машины, машины скорой помощи, полицейские машины, пронесившиеся мимо. Другие люди, тоже в шоковом состоянии, стояли на тротуарах, разговаривали и смотрели. Город был потрясён, но в то же время он начинал приходить в себя каким-то странным новым образом.

Пока шёл, сам не знаю почему, я думал об «US Open-2001», закончившемся всего за несколько дней до этого. Это было как будто полгода назад. Как обычно я работал комментатором для США и «CBS» (*американская радио-телевещательная сеть*), как обычно мне нравилась эта работа. Соревнование закончилось для меня на грустной ноте: показательный матч между мною и Борисом Беккером, который должен был быть сыгран в субботу вечером сразу после женского финала между Винус и Сереной Уильямс не состоялся: Борис сослался на травму.

Я чувствовал гнев и разочарование, не только за себя, но и за весь ветеранский теннис. Показательный матч должен был бы стать началом выступлений Беккера, в возрасте тридцати трёх лет, в ветеранском туре – в туре, в котором я со всей душой играл в течение последних 6-7 лет, но у которого в последнее время были финансовые проблемы. Отказ Бориса от такого большого матча на «US Open» был плохим предзнаменованием.

Но всё это казалось таким неважным и далёким. Я просто хотел видеть своих детей, прямо сейчас, и забрать их домой. Почему, спрашивал я себя, такое ужасное событие заставило меня ценить то, что по-настоящему важно?

Как-то вечером прошлым июлем (сейчас это кажется бесконечно более безобидным временем) я пошёл на игру «Метс» (*прим.ред.– Нью-йоркская бейсбольная команда*) вместе с моим сыном Кевином, его другом Джошем и с отцом Джоша, моим другом. И туда и обратно мы ехали на метро.

Я был одет в свой стандартный прогулочный нью-йоркский наряд: кожаная куртка, бейсбольная кепка («Метс» или «Янкис», «Рейнджерс» или «Никс»). И по дороге туда и обратно ни одна живая душа меня не побеспокоила. Когда мы подъезжали к «Shea» (*прим.ред.– Многоцелевой муниципальный стадион*) я заметил, какого-то человека, который явно маневрировал, чтобы заполучить мой автограф, но я притворился, что не вижу его и затем толпа вынесла нас из дверей и на этом всё закончилось.

Отчасти я был рад тому, что меня оставили в покое. Подумал "Это именно то, что я хочу". Но затем "Ну, может быть не совсем то".

Трудно описать мои чувства за те пятнадцать лет, которые я провёл в мужском теннисном туре. Это было довольно неровное

приключение.

Безусловно, мне помогло, что я оказался в правильное время в правильном месте. С середины 70-х до середины 80-х профессиональный теннис переживал бум, какого не было ни до этого, ни после. Деньги вокруг игры крутились невероятные, да и сама обстановка была зажигательной. Начиная с Бьорна Борга теннисисты стали чем-то больше чем спортивными звёздами. В те времена, даже рок-музыканты мечтали о том, чтобы стать теннисными профессионалами (Конечно же, все мы мечтали стать рок-музыкантами. Извините, не могу удержаться от офф-топа «Nickleback») (*канадская рок-группа*).

Борг был всего на три года старше меня, но он раньше стал профессионалом и в нём никогда не было ничего мальчишеского, даже когда он читал на досуге комиксы. Он был, как бы всё время погружён в себя, самодостаточен. Чем меньше он показывал свою истинную натуру, тем больше визжали девушки.

С самого начала, как только я, возникнув ниоткуда, вышел в 18 лет в полуфинал «Уимблдона» я был "плохим мальчиком" в глазах публики.

Мои друзья по мужскому туру называли меня “Junior” – Младший (мой отец Джон Патрик Макинрой – Старший). Для публики я был “Super-Brat”, McBrat, (*прим.пер.– Brat – испорченный ребёнок*), McNasty (*прим.пер.– Nasty – противный*) – все эти и прочие насмешливые прозвища – или просто “Джонни Мак” – всеобщий плохой брат или сын или кузен или сосед, тот, которого люди просто обожали ненавидеть. Теннисисты часто устраивали выходки и до меня, кричали на судей до меня: Панчо Гонсалес, Илие Настасе, Джимми Коннорс, но никто не делал этого как делал это я.



Люди с самого начала невероятно реагировали на меня. Возможно, моя ярость пробуждала в них что-то, что они пытались проглотить или зарыть поглубже в детском возрасте – я не знаю. Чтобы это ни было, люди пристально за мной следили и всё замечали.

Многие мечтают быть знаменитыми, но, как гласит пословица, надо быть аккуратным с тем, что ты хочешь. Были времена когда я хотел бы избавиться от такого всеобщего внимания. Я пытался. Как-то я поехал в отпуск на Фиджи, думая, что конечно же на этих широких просторах южного Тихого Океана я буду на пару дней просто анонимным американским туристом. Я не учёл одного – девяносто процентов туристов, приезжающих на Фиджи, австралийцы – пожалуй самые большие фанаты тенниса во всём мире. “G’day, Mac!”

До этого самого дня меня часто не покидает ощущение, что моё имя написано прямо у меня на лбу. Трудно пройти по улице, где бы то ни было (особенно в моём любимом Манхеттене, где прогулки по улице являются одним из самых любимых моих времяпрепровождений) без того, чтобы меня кто-то не заметил и не окрикнул, так как будто мы вместе учились в пятом классе.

В большинстве случаев это приятно. Конечно же, я могу выжить без того, что у меня просят автограф посередине обеда. И на самом деле я не люблю раздавать автографы тем кому больше 11-12 лет. Ну что мой почерк, как у курицы лапой, может дать человеку, если он не ребёнок – ну может быть кроме денег на рынке спортивной атрибутики (но давайте лучше не заводить этот разговор)? И, поверьте мне, моя подпись не так уж много и стоит.

Но когда кто-то подходит и говорит: "Эй, Джон Макинрой, ты величайший теннисист всех времён!" это не так уж и трудно переварить. Или "Теннис уже не тот с тех пор как ты ушёл". Или "Та победа в Кубке Дэвиса в девяносто втором была потрясающая!". Или "Мне очень понравилась твоя позиция по поводу Южной Африки" (В 1980 кто-то предложил мне миллион долларов – невероятные деньги по тем

временам – за то, чтобы я сыграл показательный матч с Бьорном Боргом в «Sun City» (курорт в Южной Африке). Я отказался – что-то было нечисто – не зная о том сколько друзей я завоюю в результате этого поступка).

От таких комплиментов я не устаю. Я чувствую гордость от того, что я их заслужил. И надо это признать – какой-то части меня льстит такое внимание.

Это одна из причин, и я это признаю, по которой я и пишу эту книгу. Не только для того, чтобы привлечь к себе внимание, но и чтобы серьёзно подумать сколько внимания мне нужно. Буду ли я когда-то полностью забыт? Дойду ли я до того, что буду желать того чего больше нет? Люди всегда хотят того чего у них нет и это довольно жалкая черта человеческой природы. Буду ли я как тот человек, который у всех спрашивает: "Эй, помнишь меня"?

Надеюсь, что нет.

В худшем случае люди видели во мне карикатуру: испорченного, скандального плаксу с плохим характером. Не отрицаю, я часто себя так вёл (хотя практически всегда тут же жалел об этом). Однако по мере того как я становлюсь старше я начинаю всё больше беспокоиться, что карикатура это всё что от меня осталось.

Я беспокоюсь, когда лучшее, что может предложить мне мой агент это сказать: "Слушай, а ты не хотел бы сыграть против Анны Курниковой?" Неужели я до такой степени карикатурен, что лучший номер, на который я способен это сыграть против Курниковой? Это то, до чего я дошёл в 43 года? Всё до чего я дошёл в теннисном плане? Я думаю, что это показатель того, что в игре существует множество проблем, когда главной темой для разговора на «US Open-2000» являются мои комментарии в адрес Винус Уильямс и обсуждение сыграю ли я против неё или нет. (И когда я затронул эту тему во время своего разговора с «New Yorker» (*прим.ред.*– *Американский журнал*) хотел ли я просто привлечь к себе внимание? Сам до сих пор не уверен).

Однако я скажу вам прямо здесь и прямо сейчас: "У меня есть другие занятия помимо игры против Анны Курниковой или Винус Уильямс" – и я знаю, что и у них тоже.

Мне кажется, что в моей жизни должна быть настоящая серьёзность – в жизни любого из нас – после 11 сентября. Это как будто мы должны встретиться лицом к лицу с реальностью, которую долгое время избегали. Убеждения, на которые мы полагались – "Покупай акции в технологиях – они сильно вырастут", "Никто никогда ничего подобного не сделает в Соединённых Штатах Америки" – всё это развалилось. Я надеюсь, что из всего, что случилось выйдет что-нибудь хорошее – что мы сможем жить с новой реальностью.

В сорок три года я отец шестерых детей, я не хочу больше быть карикатурой – в каком-то смысле мне кажется, что я за ней слишком долго прятался или, по крайней мере, избегал взросления. Видите ли, часть волшебства зарабатывания себе на жизнь теннисом состоит в том, что можно оставаться ребёнком ровно столько сколько хочется. Некоторые из вас скажут, что это хорошо когда внутри тебя живёт ребёнок, но любой ребёнок должен когда-то повзрослеть. Иначе это случай задержки в развитии.

Я всегда считал себя более разносторонним, чем большинство других теннисистов: я читал, я думал, я смотрел на окружающий мир. Но я всегда смотрел на него с расстояния. Тяжело было отделаться от чувства, что всё вращается вокруг моей маленькой вселенной и я только снимал сливки – достать хорошие места на концерт, встретиться с людьми с которыми я никогда бы не встретился не будь я



знаменитым теннисистом. И я не придавал этому большого значения. По большому счёту мне не было никакого дела до остального мира. И вот что я хочу вам сказать: Если вы уходите от реального мира, в него очень трудно вернуться. Достаточно посмотреть на всех этих бывших знаменитостей, которые либо заболевают, либо становятся злыми на весь мир. Либо умирают.

Было время – я признаю это – когда моя голова была настолько велика, что с трудом пролезала в дверь (отчасти метафора на мой взгляд – намёк на всезнайство. Или во мне уже говорит англичанин?). С заведением детей, я надеюсь, всё изменилось. Дети моментально спускают вас с небес на землю если только вы не доверяете другим людям заботу о них, что я никогда не собирался делать.

Вы только представьте: Джонни Мак, 43-летний отец шестерых детей! Когда я первый раз ступил на мировую сцену я был пухлым 18-летним юнцом с “лохмой” кучерявых волос в красной бандане. Сегодня я худощавый мужчина с седеющими волосами, морщинками на щеках, маленькой серебряной серёжкой в левом ухе и татуировкой с розами и шипами на правом плече. Я могу сменить подгузник, усмирить бунт, вытереть слёзы, приготовить завтрак.

Я всё ещё в хорошей форме. Я играю в теннис почти каждый день, занимаюсь на тренажёрном велосипеде или прыгаю через скакалку, когда у меня нет времени или мне хочется разнообразия. Моё зрение всё ещё достаточно острое и рефлекс достаточно хорош, в определённые дни я могу погонять любого в мужском туре сет-другой. Мои стандарты на теннисном корте – как вы наверное помните – достаточно высоки и я достаточно много работаю над своей игрой, чтобы не вызывать отвращения у самого себя. До последнего времени я всерьёз рассматривал идею вернуться играть пару на Кубке Дэвиса после десятилетнего перерыва. Но об этом вам лучше поговорить с моим братом Патриком.



С другой стороны я не обманываю себя. Никто не знает своё тело лучше чем профессиональный спортсмен и я полностью осознаю, что машина, которую подарил мне Всевышний уже не так гибка как раньше, что я уже не так быстр. Я привык думать в цифрах (когда был ребёнком я поражал друзей своих родителей умножая и деля большие числа в голове), так вот объективно говоря сейчас мой уровень составляет примерно 60% от того, когда я был в расцвете.

Что в принципе не хило. Но я больше не теннисист.

Глава 2

Итак, что же я из себя представляю?

Начну с того, что я последние десять лет работаю теннисным комментатором и достаточно горжусь своей работой, чтобы считать, что я нахожусь на вершине своей профессии. Это далось мне не так просто. Как вы знаете, у меня всегда была потребность в самовыражении, но комментирование требует сосредоточенности на своих мыслях, законченных предложениях и умения молчать когда тишина более ценна чем речь. Короче это было (и остаётся) тяжёлой работой. Поэтому мне пришлось учиться.

К счастью – как и в теннисной карьере – у меня были прекрасные учителя. Мне всегда больше нравилось работать в команде чем в одиночку и моя совместная работа с такими великими комментаторами как Дик Энберг и Тед Робинсон (и продюсерами, такими как Гордон Бек и Джон МакГинесс, которые дали мне свободу быть самим собой) была для меня одновременно радостью и учёбой.

Я верю в то, что радость передаётся по телевидению и по радио, в то, что мои комментарии помогли людям увидеть мою другую сторону, более беззаботную и самоироничную что ли, ту сторону, которую я не показывал на теннисном корте. За последнюю четверть века я сильно повзрослел. С другой стороны, как и другие люди – возможно, как и большинство других людей – я всё ещё нахожусь в процессе становления. Те, кто видели мои игры в ветеранском туре знают, что даже если мой темперамент уже не тот, я всё равно могу задать жару.

Это не случается так часто как раньше – с другой стороны я и играю реже, но теперь даже в небольших дозах мне это кажется излишним (и люди ждут, что я зайду слишком далеко, что не делает мою задачу проще).

Я стараюсь найти решение. Одна из трудностей состоит в том, что какая-то часть меня не готова полностью отказаться от внутреннего гнева. В конце концов, я уверен, что именно эта часть привела меня на вершину и, хотя я уже не в той форме как раньше этот внутренний огонь ещё горит. Где бы я был, если бы лишился этого?

И зачем мне это сейчас?

Гордость это странная штука. В то время как за мою карьеру у меня было много всего чем я мог гордиться и много о чём сожалеть – я никогда не был склонен много об этом распространяться. В конце концов, мой стиль “подача – выход к сетке” (*serve-and-volley*): вся моя игра основана на движении вперёд, всегда вперёд и затем нанесении победного удара.

Но по окончании карьеры вы оказываетесь в странной ситуации, если вы были достаточно успешны в качестве профессионального спортсмена, а именно: куда же теперь направиться?

Всю мою карьеру я в основном переходил от одного к другому: следующий шаг был прямо тут, под носом. У меня всегда были цели – выиграть NCAA (*прим.ред.– Национальный межвузовский чемпионат*), выиграть «Уимблдон», «US Open», Кубок Дэвиса, попытаться повторить достижения моего героя, Рода Лэйвера – и я многие из этих целей достиг. В последние годы, однако, я много думал о том, кем я был, кто я есть сейчас и кем хочу стать.

Я очень горжусь своей теннисной карьерой. Я выиграл 77 одиночных и 77 парных турниров – всего 154 титула, больше чем любой другой профессионал в игре. Мои достижения в одиночном разряде дают мне третье место среди теннисистов всех времён, после Коннора и Ивана Лендла, и в паре я на втором месте, уступая только Тому Оккеру у которого 78 побед.

Подумайте, как мало великих игроков достигли значительных успехов и в одиночном и в парном разряде. Ни Борг (он практически никогда не играл пару), ни Коннорс, ни Лендл. Подумайте о том, как мало американских звёзд современной эры играли в Кубке Дэвиса. Одним из моих достижений, которым я больше всего горжусь, была помощь в возвращении Кубка Дэвиса в США, начиная с конца 70-х. В то время как другие лучшие американские игроки – особенно Джеймс, Скотт, Коннорс – не особенно интересовались перспективой тратить свою энергию, играя практически ни за что, в то время как в турнирах и показательных матчах было так много денег.

Пусть это звучит банально, но я всегда очень гордился возможностью представлять свою страну. В теннисе просто ничего не может с этим сравниться. Возможно, вы помните фотографии меня бегущего по корту с американским флагом после нашей драматической



победы над Швейцарией в моём последнем матче Кубка Дэвиса в 1992, последнем году моей карьеры. Всего я сыграл в 30 матчевых встречах в Кубке Дэвиса за более чем 12 лет, выиграв 41 одиночный матч и 59 всего.

Основная моя мысль, однако, – как мне хотелось бы думать – заключается не в количестве моих личных побед, а в пяти Кубках, которые я помог выиграть команде США.

Видимо можно сказать, что история и моя роль в ней всегда были для меня очень важны. Мой кумир Род Лэйвер по праву считается одним из величайших игроков всех времён и вот почему: он выиграл (причём дважды!) все четыре главных титула – Открытый чемпионат Франции или «Ролан Гаррос» (*French Open, Roland Garros*), «Уимблдон», Открытый чемпионат США (*US Open*) и Открытый чемпионат Австралии (*Australian Open*) в одном календарном году (*прим.ред.– Первый раз в 1962г. как любитель и чемпионаты не назывались “Открытыми”, во второй раз в 1969г., когда на турниры «Большого шлема» допустили профессионалов*).

Я никогда не сумел этого сделать. Я выиграл три «Уимблдона» и четыре Открытых чемпионата США, но ни разу Открытые чемпионаты Франции и Австралии.

Пит Сампрас выиграл тринадцать турниров «Большого шлема» и хотя Открытый чемпионат Франции ему так и не покорился, он выиграл семь «Уимблдонов», четыре «US Open» и два «Australian Open» – невероятный, возможно неулучшаемый рекорд (*прим.ред.– Писалось это в 2002 году*).

Как и я Андре Агасси выиграл семь титулов «Большого шлема», но, в отличие от меня, он выиграл все четыре мейджора, пусть и не в один календарный год и забронировал себе место в истории.

Где же тогда нахожусь я? Видимо только время покажет.

Я выиграл 2 миллиона долларов призовых и с помощью отца и других умных людей вложил выигранные деньги и деньги от контрактов с умом и достаточно консервативно, чтобы комфортно обеспечить жену и детей. Контрактные деньги поначалу шли плохо из-за моего имиджа "плохого мальчика", но как только Мэдисон-авеню (*прим.ред.– Улица в Манхэттене*) или, более конкретно, Фил Найт (*прим.ред.– Основатели корпорации «Nike»*) научились меня правильно позиционировать дела пошли на лад. И сегодня у меня есть значительные контракты, особенно с «Nike».

Почему же я до сих пор мотивирован?

Во многом это связано с моей привычкой видеть стакан наполовину пустым. Я достаточно умён, чтобы понимать, что не имеет смысла переживать о том, что ты не сделал. Вы теряете перспективу, когда сравниваете себя с кем-то недостижимым или с теми с кем себя сравнивать неправомерно.

Но иногда я всё равно это делаю.

Признаюсь, я мог бы достичь большего. Бывают ночи, когда я не могу спать из-за мыслей об Открытых чемпионатах Австралии, которые прошли мимо, когда я был на пике своей игры и всегда чувствовал, что у меня ещё будет шанс. Об открытых чемпионатах Франции, которые я уже держал в руке и упустил.



Я практически слышу, как вы говорите "Полно тебе, Макинрой! Ты богат, знаменит и здоров, у тебя есть любящая семья, более чем комфортная жизнь. Ты достиг изумительных результатов и побывал в изумительных местах – то о чём другие люди не могли бы и мечтать. Почему бы тебе не расслабиться и не наслаждаться тем, что имеешь?"

И вот что я вам отвечу: я над этим работаю, упорно работаю.

Но в то же время – я игрок стиля “подача – выход к сетке”.

Моей игрой всегда было и есть движение вперёд и только вперёд.

Мои стандарты для себя самого были и остаются очень высокими.

Почему я должен сейчас поменяться?

С чего всё началось? Это вопрос, который мне всегда задают во время интервью. Как ты стал на этот путь? Первое, что я им отвечаю – я из Нью-Йорка. А нас ничего не удерживает – сидим ли мы в транспорте или идём по улице. Мы действуем в открытую и не жалуемся при этом.

Мой папа вырос в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, но не в лучшей его части, а в анклав пёстрой смеси ирландцев, немцев, поляков и венгров рабочего класса. В районе более известном, как Йорквилль.

Будучи незнатным по происхождению, мой отец сделал всё возможное, чтобы попасть в колледж, посещая вечерние уроки в школе права в Фордхеме и став партнёром одной из самых больших юридических фирм Нью-Йорка.

Но папа никогда не забывал своих корней. Он был полон любви к ирландской музыке и чувству юмора. Больше всего он любил встретиться с друзьями и пропустить кружку-другую пива, распевая песни и рассказывая шутки во весь голос. До сих пор помню, какими громогласными были вечеринки моих родителей, когда я рос, и как на следующее утро мой отец всегда был полон энергии и с осмысленным взглядом, готовый снова выйти в мир.

Те, кто смотрел теннис в 80-ые, могут припомнить, что моя мама была гораздо спокойнее: думаю, от неё я унаследовал свою робость. И некоторую резкость в манерах. Моя мать Кей – урождённая Кэтрин Трешем, дочь помощника шерифа Лонг-Айленда (*округ на одноимённом острове на реке Гудзон, штат Нью-Йорк*) – была склонной видеть мир в несколько более суровом свете, чем мой отец, который вечно улыбался и имел в запасе любезное слово для любого. Мама никогда не доверяла посторонним так, как папа; она могла испытывать недовольство по поводу каждого. К сожалению, в этом отношении я тоже похож на неё.

Мои родители познакомились в Нью-Йорке в середине 50-х, когда мой отец приехал в отпуск из Католического университета в Вашингтоне, а моя мать училась в медицинском училище в госпитале Ленокс-Хилл (*квартал в Манхэттене, Нью-Йорк*). Их отношения начались достаточно банально одной ночью в баре, когда несколько подружек мамы по учёбе случайно встретились с отцом и его приятелями. У папы не было серьёзных отношений ни с кем из этих студенток, но они познакомили его с девушкой, которая оказалась идеальной для него. Джон и Кей поженились, в то время, когда отец служил в военно-воздушных войсках. Поэтому я родился 16 февраля 1959 года на авиабазе ВВС США в Висбадене, в ФРГ.

Когда мой отец оставил службу, мы переехали во Флашинг в Квинсе (*прим.ред.– Один из старейших районов, расположенного в северо-центральной части Нью-Йорка*), место, где расположен аэропорт «Ла Гуардия» (*LaGuardia*) и будущая резиденция «Нью-Йорк Метс» (*прим.ред.– Бейсбольный клуб*). Папа работал помощником главы рекламного агентства полный рабочий день, а по вечерам

посещал школу права в Фордхеме. Стоит упомянуть типичную, связанную с моей мамой, историю: когда отец закончил первый год обучения, он с гордостью сказал ей, что был вторым в классе по успеваемости. “Если бы ты трудился упорнее, то был бы первым”, – ответила мама. (В следующем году так оно и было.)

Мы всё ещё жили во Флашинге, когда в феврале 1962 года родился мой брат Марк. Но вскоре, как раз перед тем, как отец получил диплом, мы совершили длинный переезд на запад к Даглстону (*прим.ред.– Пригород Нью-Йорка*) – сначала снова на квартиру, а потом в двухэтажный деревянный дом на Рашмор авеню 241-10.

Даглстон был типичным для Нью-Йорка спальным районом: красивым, безопасным, чистым; но ничего фантастического. Дома были маленькими, довоенные квадратные домики в колониальном стиле и стиле кейп-код. Тут было много молодых семей вроде нас, у которых на дорожке возле гаража стоял многоместный легковой автомобиль, а во внутреннем дворике было приспособление для барбекю. Детишки катались на своих велосипедах, играли в футбол и на улицах и футбольном поле, а баскетбол – на дорогах. Таковым был стиль Квинса, прямо как в сериале «Предоставьте это Биверу».

Я даже развозил газеты, когда мне было десять и одиннадцать лет, доставляя их на своём велосипеде, «New Day» и «New York Times». Это была тяжёлая работа: я зарабатывал от полтора до двух баксов каждую неделю. Люди не разбрасывались чаевыми – я получал четыре цента с человека, которые давали без сдачи, хотя случалось получить и больше.

Мне было семь с половиной, когда родился мой младший брат Патрик. Я смутно осознал этот факт и продолжил заниматься своим любимым делом, и с того времени, когда я впервые стал на ноги это было одно: спорт, спорт и только спорт. Если какая-то игра требовала использование мяча, я играл в неё и всегда был хорош. Вот история, которую мой папа любит рассказывать. Когда мне было четыре года, мы как-то играли с ним в Центральном парке. Он бросал мне мяч, а я нанёс несколько хороших звонких ударов по линии моей жёлтой теннисной ракеткой. Поблизе к нам подошла старушка и сказала: “Извините, это маленький мальчик или переодетый карлик?”

Я долгое время не рос – более крупные ребята с Мемориал филд стали постоянно называть меня “коротышкой”. Но так, как я был достаточно хорош в любой игре, они брали меня играть к себе. Моими любимыми командными видами спорта были баскетбол, футбол и бейсбол. Играя в софтбол, я научился бить из любой точки из-за специфической конфигурации поля школы в Даглстоне. В соккер (*прим.ред.– В Америке “соккером” называют футбол, а “футболом” – американский футбол*) мы стали играть немного позже. Мне всегда нравилось быть в команде из-за духа товарищества. Хорошо помню долгие летние вечера, когда я со своими хорошими друзьями Энди Кином, Джоном Мартином и Дагом Сапуто играли в софтбол (*прим.ред.– Аналог бейсбола*) в Рашморе. Казалось, что эти вечера будут длиться целую вечность.

Мужчины в нашей семье всегда были спортивными, о чем мы кричали на каждом углу, болея за кого-то или играя сами. Мы кричали по каждому поводу. Все мы любили друг друга, но при этом определённо были семьёй горлопанов. Когда я был маленьким, отец подавал пример, выпуская пар или дружелюбно ругая нас. Мы никогда не сдерживались в нашем семействе.

В тоже время мои родители были очень требовательны. Они ждали, что я добьюсь успеха.

Однажды я слетел с велосипеда. Пришёл и сказал маме: “У меня болит рука”. В то время она работала медсестрой операционной и знала о травмах рук. Она ощупала руку и решив, что это всего лишь ушиб, сказала: “Возвращайся на корт”. Спустя три недели рука всё ещё давала о себе знать, а я продолжал жаловаться. В конце концов, мама отвела меня к врачу. Оказалось, что у меня перелом левой руки.

По поводу морали не было никакой неопределённости: всё делилось на чёрное или белое, правильное или неправильное. Родители всегда пытались вдолбить мне это в голову: “Говори правду, будь честным при любых обстоятельствах”.

Мои отец и мать знали, что образование – билет в мир. Бесплатная средняя школа в Даглстоне была одной из причин, почему молодые семьи перебирались сюда из города, но мои родители считали, что это не уровень их сыновей. Я начал учиться в школе «Св. Анастасии», католической школе недалеко от нашего дома, но после моего первого года обучения (так рассказывала мама) один из учителей сказал ей: “Вам следовало бы забрать его в место получше – он слишком умён”. И родители отправили меня – в частную школу, потратив немало денег – в национальную школу «Бакли» в Рослине на Лонг-Айленде, куда можно было добраться за двадцать пять минут на автобусе.

Мои родители были американцами в полном смысле этого слова. Они с головой поверили и окунулись в “американскую мечту”. Она не давала им ни минуты покоя и очень существенным в её реализации было то в каком именно месте ты живёшь. За годы моего обучения в Даглстоне мы жили в четырёх разных местах: один раз в квартире и ещё трижды – в домах. Однажды, клянусь, мы переехали в соседний дом. По мнению моей мамы, он был лучше. Но, чёрт побери, здесь во дворе было меньше места для футбола!

В то памятное лето 1967 года мы снова переехали. В этот раз недалеко, но этот переезд был куда значительнее предыдущих: одна миля на север, минуя Северный Бульвар и железную дорогу Лонг-Айленда, из Даглстона в Даглстон Мэнор.

Как уже понятно из самого названия, Даглстон Мэнор – это было именно то, что надо, ещё один шагочек вперёд в лучший мир, и наш новый дом на Беверли Роуд 252 находился за квартал от места под названием «Даглстонский клуб», в который вступили мои родители, ещё когда мы жили в Рашморе.

«Даглстонский клуб» не был чем-то фантастическим – помещение клуба, бассейн, пять теннисных кортов – но достаточно милым и кое-что значил для молодой семьи, которая стремилась подняться вверх. Теннис также кое-что значил. В те дни он все ещё был просто развлечением, которым следовало бы заниматься молодым юристам ведущих элитных юридических фирм, расположенных на Манхэттене. Поскольку папа знал, что я фанат любых игр, где задействован мяч, мы стали играть с ним вместе. Оба моих брата также пристрастились к теннису в эти годы в «Даглстонском клубе»: Марк в пятилетнем возрасте, а маленький Патрик в три года. Он играл с бэкхенда двумя руками, поскольку только таким образом мог удержать ракетку в руках.

Я начал заниматься в группе у профессионального тренера из средней школы Дэна Дуайера. По семейной легенде – наверное, что-то в ней даже правдиво – в восьмилетнем возрасте, когда прошло всего две недели с начала моих занятий, я принял участие в турнире клуба в возрасте до двенадцати лет и дошёл до полуфинала вместе с тремя другими мальчишками, которым всем было по двенадцать лет. Я уступил, но через несколько недель на другом турнире я снова был в полуфинале с этими же ребятами и в этот раз победил. На клубном банкете Дэн Дуайер наградил меня специальным призом – сертификатом на пять долларов, которым можно было воспользоваться в магазинах спортивной одежды – и сказал: “Уверен, что в один день мы увидим Джона в «Форест Хиллсе»” (*прим.ред.– Так часто называют теннисный стадион по месту его расположения – округ Форест Хиллс в Квинсе, на котором в 1968-77гг. проводилось «US Open»*).

После того, как Дуайер оставил клуб, его сменил приятный старина по имени Джордж Сивеген, сын которого Бутч выступал на местном уровне несколько лет. Кроме этого я брал уроки у Уоррена МакГолдрика, который преподавал историю в «Бакли».

Так как я был слишком мал для своего возраста, то выжать большую мощь из своей деревянной ракетки был просто не способен. С

другой стороны у меня были быстрые ноги, и я очень рано видел мяч: наверное, я обладал инстинктом, который подсказывал мне, куда соперник выполнит следующий удар. Благодаря отличному перемещению по корту и острому глазу я возвращал сопернику практически любой мяч. Очень быстро я усвоил, что необязательно бить помощнее, чтобы выигрывать матчи – достаточно способности отбить любой мяч назад в корт, чтобы иметь возможность победить практически любого игрока.

Было ещё кое-что. С раннего возраста у меня была отличная координация, но с того момента, как я взял ракетку в руки, заметил ещё одну особенность: мне сложно это объяснить, но я мог чувствовать мяч через струны. С самого начала я был впечатлён, как по-разному можно нанести удар по мячу – плоско, спином, слайсом. Мне нравилось, как после топ-спина (*сильно закрученный мяч*) мяч “плывёт” по высокой траектории выше головы моего соперника, снижается у самой задней линии и улетает за пределы досягаемости. Я любил делать замах для выполнения мощного форхенда или бэкхенда, а потом, в последнюю миллисекунду оставлял мяч у сетки при помощи укороченного удара, ловя соперника, разинувшего рот от удивления, на прямых ногах.

Я выполнил тысячи ударов об стену в «Даглстонском клубе», испробовав все их разновидности (а несколько мячей попали в дворик к Дику Линчу, бывшему защитнику «Гигантов», который жил сразу за стеной).

Мои родители были по-своему очень настойчивыми, и, думаю, мне передалось это от них по генам. Как старший сын в высшей степени амбициозных людей, я чувствовал, как много они от меня ожидали. В 1969 один из учителей средней школы написал моим родителям: “Джонни – талантливый ребёнок, у которого присутствует большее желание быть лучшим, чем у любого из его одноклассников”. Мне была присуща страсть не просто добиваться успеха, но соревноваться и побеждать – в теннисе, пинг-понге или на тесте по латыни в школе. Я должен был быть на вершине, иначе я чувствовал себя разбитым. Я был одним из лучших учеников в «Бакли» – против чего папа и мама совсем не возражали – и теперь мои родители увидели ещё одну возможность для меня проявить себя. В спорте. По рекомендации Джорджа Сивегена они зачислили меня в Восточно-Американскую Ассоциацию Лаун-Тенниса (EAALT), когда мне было девять.

“Лаун-теннис”, как он тогда назывался, когда три из четырёх мэйджоров – «Уимблдон», Открытые чемпионаты Австралии и США по теннису – всё ещё проходили на траве. Звучит необычно и престижно, чем он и являлся. Но перемены были скоротечны. Я вступил в EAALT в 1968 году, очень важном году для тенниса. Это был первый год «Открытой Эры». С того далёкого времени, когда только начали играть в теннис, четыре турнира «Большого шлема» были недоступны для профессионалов “Любители” (которых ещё называли “псевдолюбителями”) были немного лицемерны, гордясь своим аристократизмом и смотря свысока на всех, кто был не из их числа: сильнейшие игроки просто зарабатывали деньги, но делали это тайно. Мир сильно изменился в 1960-е, а конкретно теннисный мир – в 1968 году, когда впервые в истории профессионалам разрешили принимать участие в тех же самых турнирах, что и любителям. И деньги потекли рекой.

Какое-то время меня это не касалось. В девять лет, одетый в белые шортики и футболку, я начал играть юниорские турниры «EAALT» в клубах, находившихся в Нью-Йорке и окрестностях. Почти всегда на них меня отвозила мама. Когда результаты пошли вверх, я получил право участвовать в национальных турнирах. Мой отец брал отпуск на работе, и они с мамой, или иногда только папа, ездили со мной вместе на эти соревнования по всей стране. Я до сих пор помню мой первый национальный турнир в возрасте до 12 лет в Чаттануге, штата Теннесси. Чаттануга, Теннесси! Для парня с Даглстона это было, как попасть на Марс.

Я здорово выступал на турнирах. К моменту, когда мне стукнуло одиннадцать, я был восемнадцатой ракеткой страны в возрасте до

двенадцати лет. В двенадцать я стал седьмым. Я побеждал в матчах, доходил до полуфиналов и финалов соревнований, но впервые выиграл национальный турнир в одиночном разряде лишь в возрасте шестнадцати лет. Мне нравится думать, что всё дело было в моих габаритах. Может быть, это звучит неубедительно (а возможно, это стимулировало меня), но я никогда не считал, на каком бы уровне не выступал, что мой соперник был банально сильнее. Если я проигрывал, тому всегда была причина (соперники были старше, они были из Калифорнии и т.п.)

Тяжелее всего было привыкнуть именно к поражениям. Мне, по сути, никогда это не удавалось. Меня всегда спрашивают, был ли я вспыльчивым в детстве. Есть известная история о Бьорне Бorge: когда ему было девять или десять лет, он проиграл очко и швырнул свою ракетку. Его отец после этого запретил ему играть в течение шести месяцев. Больше он никогда такого не делал.

Возможно, было бы лучше, если бы такое случилось со мной! Но я не швырялся ракеткой, когда был ребёнком. Я был беспощадным на корте, но когда я проигрывал матч, моей обычной реакцией – до удивительно позднего времени – было расплакаться. Однажды, когда я жал руку сопернику после поражения, кто-то сказал обо мне: “Сейчас будет потоп”.

Единственный, кто вызывал во мне злость тогда, был я сам. Стоило мне смазать удар, как я издавал вопль, который можно было услышать в любой точке клуба. Для меня было просто невыносимо играть не на том уровне, на который, как я знал, был способен. Но мне пришлось подождать несколько лет. Во-первых, в юниорском теннисе не было “высечников” или линейных судей – игроки сами определяли попадание в корт, что было довольно скользким моментом. Многие ребята откровенно жульничали. Мне хотелось бы думать, что я был честен – ведь даже тогда уже была известна моя способность видеть корт лучше любого другого. Однако я мог даже принять решение не в свою пользу, хотя знал, что удар соперника был не точным, но чувствовал злобу, если он мог поставить под сомнение моё решение.

К тому времени, когда мне исполнилось двенадцать, я стал получать мало пользы от уроков, которые мне давали. Когда мои родители услышали, что некоторые дети из «Даглстонского клуба» переводятся в теннисную академию Порт-Вашингтон, что неподалёку, они решили записать меня туда.

Порт-Вашингтон был чуть больше, чем в двадцати пяти минутах езды на запад от Даглстона, где тренером был профессионал Антонио Палафокс.

Тони играл в Кубке Дэвиса за Мексику, побеждал на «Уимблдоне» в паре в 1963 году и был всего лишь одним из двух теннисистов, нанёсших поражение Роду Лэйверу в 1962 году. В сезоне, когда Лэйвер выиграл «Большой шлем». Помню, что на встречу с Тони шёл с матерью – я был настолько смущён, что прятался у неё за спиной.

Мы немного поиграли с Тони, и он принял меня, но не в самую сильную группу. В академию принимали детей в возрасте до восемнадцати лет, а я – не важно, какой у меня был рейтинг в стране – был только двенадцатилетним парнем, к тому же низкорослым. Тони считал, что мне ещё нужно над кое-чем поработать. В Порт-Вашингтон было много сильных игроков (включая другого талантливую двенадцатилетнего паренька из Лонг Айленда Питера Реннерта) и мне надо было проявить себя.

В академии было три группы: самые сильные ребята играли с пяти до семи вечера, следующая группа хороших теннисистов с семи до девяти, а самые слабые игроки приходили с девяти до одиннадцати. Для начала Тони записал меня во вторую группу.

Мой отец не был в восторге от этого: как я очутился во второй группе, когда он возил меня по всем национальным турнирам? Это не уживалось с его гордыней. К тому же Порт-Вашингтон не был дешёвым местом. Стоило ли оно того для меня? Был ли у меня шанс

пробиться в первую группу?

На своей работе в качестве юриста в Манхэттене папа познакомился с парнем из Уолл-Стрит по имени Чак МакКинли.

По случайному совпадению МакКинли был одним из лучших теннисистов-любителей в мире в 1950-ые и 1960-ые годы. Отец попросил МакКинли поговорить со своим старым другом Тони Палафоксом, чтобы узнать были ли у меня реальные перспективы на будущее. Тони присмотрелся ко мне ещё раз.

Когда он взглянул на меня снова, то увидел парня, который играл в стиле, очень похожем на его собственный, когда он был в своей лучшей форме: быстрые ноги, чувствительные руки, способность планировать игру на один или два удара наперёд и чувство корта в полной мере.

Порт Вашингтон – это было место не только для тенниса. Игрок проводил много времени на площадке, но также занимались чем-то другим изрядное количество времени между тренировками и матчами. На втором этаже был холл, окна которого выходили на корты. Помню, какой благоговейный трепет мне внушал звезда Порт-Вашингтона, шестнадцатилетний блондин Витас Герулайтис (больше о нём – позже) – но почти всё, что вы могли делать часами напролёт, это смотреть, как играют в теннис. Телевизора не было, и хозяин, Хай Зоснер, изначально запретил играть в карты, поэтому мы развлекали себя шахматами. У нас были нескончаемые игры, некоторые из них продолжались час или даже больше. Я никогда не был сильным игроком, но всё-таки неплохим: мне нравилась стратегия в игре, планировать ходы на один или два вперёд.

Тони увидел, как я строю игру на корте – всё возвращаю назад – и стал моим тренером. Он взял меня под своё крыло. Я до сих пор играю во много так, как он меня учил, делая удар по восходящему мячу на коротком замахе; и двигаюсь вперёд, всегда вперёд, всякий раз, когда это возможно.

Тони считал, что я не достаточно широко играю по всему корту. По его словам, если бы я посмотрел в записи на игроков прошлого, это выглядит, будто они стоят и просто перебивают мячи друг другу. Понимали ли они, что можно пробивать навывлет? Возможно, это просто не было свойственно консервативному теннису тех дней.



Не то чтобы Бил Тилден, Дон Бадж и Джек Крамер или кто-то другой из пионеров тенниса не были великими чемпионами в своё время, но чем больше Тони показывал, тем более прямолинейной казалась мне стратегия их игры. Я стал смотреть на корт по-другому – практически, как на математическую задачу. Где углы – вот что было главным. Дело не только в том, чтобы выполнить слайс (*прим.ред. – Резанный удар с боковым вращением*) и побежать к сетке. Иногда следует сыграть слайсом глубоко, но временами можно было активизироваться и сыграть остро навывлет – используйте углы.

Я пробыл в Порт-Вашингтон несколько месяцев, как случилось невероятное: сюда заглянул Гарри Хопман.

Гарри был живой легендой тенниса, выдающимся и опытным австралийским тренером, который тренировал Лэйвера, Роя Эмерсона, Кена Роузуолла, Лью Хоуда и многих других, превратив их из неопытных ребят в звёзд, которые выиграли шестнадцать Кубков Дэвиса для Австралии в промежутке между 1939 и 1969 годами. Однако, когда началась «Открытая Эра» в 1968 году, Хопу стало гораздо сложнее привлекать к игре молодых талантов, и в 1970 пути его и теннисной федерации Австралии разошлись. Мне несказанно повезло: в следующем году мистер “Хоп”

возглавил Теннисную академию Порт-Вашингтон.

Гарри Хопман оставлял обучение техники другим; он брался за тебя только в том случае, если ты уже знал, как играть в теннис. К этой базе он добавлял психологическую и физическую подготовку. Его игроки были знамениты по двум вещам: они никогда не сдавались и были лучше готовы физически, чем все остальные. Он считал, что эти вещи дополняли друг друга. Вы, наверное, слышали о подготовке в Австралии в старые деньки – забеги на десять миль, гимнастика, игра одного против двух. Гарри гонял игроков до седьмого пота, и это приносило плоды. К тому времени, как он приехал в Порт-Вашингтон, возможно, он немного потерял хватку из-за возраста, поскольку со мной он вёл себя иначе.

Думаю, он сразу разглядел что-то во мне. Обычно он привозил нас на место тренировок, заставлял делать прыжки с подниманием рук и обхватом колен и т.д. и т.п., что я обычно и делал, но, откровенно говоря, я ненавидел гимнастику и растяжку. На мой взгляд, я находился там не для таких занятий. Мне всегда хотелось очутиться на корте. Поскольку я постоянно чем-то занимался в любом случае, то не терял форму. Поэтому когда я не появлялся на гимнастике, Гарри лишь улыбался и приговаривал: “Макинрой, небось, прячется в ванной”.

Для меня было очень важным, что он обучал Рода Лэйвера. Лэйвер был первым парнем, из тех, кого я видел, который умел всё – исполнять топ-спин и слайс с двух рук, подавать с разным вращением. Он использовал любой удар, любые углы, которые только были возможны. Я повесил его плакат на внутренней стороне двери в спальне.

То, что он был левшой, как и я, было круто, и его большая татуировка на предплечье выглядела ещё круче – странно, но очень клёво. Помню, как я прикидывал, как сам могу сделать себе похожую.

В точности, как Лэйвер, я использовал одну и ту же хватку при: форхенде, бэкхенде, подаче, игре у сетки (И до сих пор использую – несколько изменив континентальную хватку во время исполнения форхенда). Не думаю, что сейчас кто-то ещё так делает. Во время нанесения удара рабочей рукой он виртуозно использовал кисть, но как бы я не пытался играть, как Лэйвер, сколько раз бы не сжимал свой кистевой экспандер моя левая кисть была тех же размеров, что и правая. Никаких мускулов. Я клянусь, думаю, что я единственный игрок в истории, который возглавлял рейтинг, у которого кисти рук имеют одинаковый размер.

Возможно, я был маленького роста, но уверенности мне было не занимать. После месяцев занятий в Порт-Вашингтон кто-то из профи подстроил матч между мной и шестнадцатилетним новичком из Нью-Джерси Питером Флемингом, который только приехал. Питер, который приближался к шести с половиной футов в высоту (*примерно 195 см*), был выше меня тогда по крайней мере на целый фут. Кроме того, разница в зрелости и силе между двенадцатилетним и шестнадцатилетним парнем огромна. Я знал, что, по мнению Питера, я просто ничтожество, не заслуживающее даже презрения, и он подтвердил это, когда предложил мне фору – преимущество в счёте 4-0, 30-0 в партии ещё до того, как мы вышли на корт.

Я выиграл у него пять партий подряд. Никогда не считай других ничтожеством! Это было началом прекрасной дружбы.

Тони Палафокс был очень неторопливым человеком. Поэтому, поскольку наши игровые стили были схожи, моя мощь была для него чем-то новым. У меня была энергия и желание – готовность сделать то, что нужно – и кроме этого, я начал понимать, что готов отдалиться от других людей. Это был один из первых уроков, который я усвоил в теннисе: чем лучше ты становишься, тем больше тебя носят на руках. И как бы сказали мои британские читатели, тем больше людей хотят над тобой поиздеваться.

Я быстро понял, что победы приносят много преимуществ, но был один существенный недостаток: стоит оказаться на пьедестале, и

ты одинок.

Забавно, но если вы спросите меня, кем я хотел стать в двенадцать лет, то я отвечу: “Профессиональным баскетболистом”.

Я любил баскетбол и играл неплохо (правда, мог ли бы я стать вторым Джоном Стоктоном это уже другой вопрос). Тоже самое касалось соккера, футбола и бейсбола: мне всегда нравилось быть частью команды. Мне нравился дух товарищества. Это то, что я любил в Кубке Дэвиса. По этой причине парная игра была столь важной для меня. Если ты в команде и зол или огорчён из-за чего-то произошедшего в игре, есть люди, которые разделяют это чувство с тобой. В том числе разделяют победы.

Если ты не в форме, в командном спорте скрыть это проще. В баскетболе можно неплохо сыграть в защите или заблокировать удар; можно сделать множество незначительных вещей, которые при этом не имеют отношения к забиванию мячей. С соккером аналогичная ситуация. Пока хватает сил, бегаешь по полю туда-сюда и пытаешься быть сконцентрированным на игре, при этом не важно, если ты вдруг ударишь по мячу не той стороной стопы. Припоминаю, как забил несколько голов в школе – не так, как нас учили, но все равно забил. Было много зрителей, и никого не волновало моё состояние. Никого; я был частью команды.

На теннисном корте, ты один. Люди спрашивают, почему я иногда становлюсь таким раздражённым. Во многом – по этой причине. Я там один, только я, сражающийся до смерти на глазах у людей, которые едят сэндвичи, смотрят на часы и обсуждают со своими друзьями торговлю на бирже.

Откровенно говоря, иногда, оглядываясь назад, я не знаю, почему я вообще был таким. Порой, как мне кажется, меня вынуждали делать вещи, которые мне совсем не хотелось делать. Мои родители видели, что я был талантлив и постоянно становился лучше; они подтолкнули меня, и я стал развиваться. Я был хорошим, послушным парнем. (Например, в школьные годы, я боялся попробовать любой наркотик, в то время, как многие мои друзья уже баловались марихуаной и другими их разновидностями. Как я сейчас понимаю, неупотребление наркотиков в те годы, возможно, только усилило мою мотивацию.)

Теннис, конечно, стал для меня чем-то особенным, головокружительными американскими горками, где хорошего было больше, чем плохого, но правда в том, что я на самом деле не хотел заниматься им, пока он сам не занялся мною. Много атлетов, кажется, действительно любят свой вид спорта. Не думаю, что я когда-либо чувствовал тоже самое в отношении тенниса. Я с нетерпением ждал тренировок, но матчи были постоянной битвой, битвой двух людей: парня напротив и меня.

Как только моя карьера началась я, безусловно, стал наслаждаться результатами игр – лестью, чувству удовлетворения от того, что я профессиональный спортсмен и, в конце концов, главному в моей профессии, деньгам, которые она приносила.

Думаю, моя история похожа на те истории, которые вы слышали о ребятах, которых учат играть на пианино. То и дело кто-то говорит: “Я просто обожал играть по шесть часов в день”. Но слова большинства: “Боже, мои родители заставляли меня играть, они вынуждали меня ходить на эти занятия; но я рад, что они это делали”.

Взгляните на практически любого великого игрока. Добились бы они успеха, если бы их не принуждали? Это риторический вопрос. Стал бы Агасси великим чемпионом, если бы его не подталкивал его отец? А Моника Селеш, чей отец уволился с работы и принуждал её играть? Сложно сказать.

Во время «Ролан Гаррос» в 2000 году я обедал с Ричардом Уильямсом (да, мы общаемся!), и он сказал мне: “Большую часть времени дети понятия не имеют, что они хотят делать”. Это правда. Я даже представить себе не мог, что хочу стать теннисистом, когда я рос. Отношение Ричарда к Серене и Венус выглядело как: “Смотрите, я нашёл для них отличную возможность, ту, что принесёт им

потрясающие доходы и сделает потрясающей их жизнь. Просто невозможно представить, что они могли бы сами принять такое решение в юности. Поэтому, конечно, я заставлял их, но они в этом нуждались”.

Так и мои родители заставляли меня. В этом не было ничего плохого – вы ведь знаете страшные истории о родителях теннисистов – но они были движущей силой. Пожалуй, где-то в глубине души я знал, что это правильно. У меня большие сомнения, что я бы смог стать тем игроком, которым стал, если бы меня не вынуждали к этому, так или иначе.

В основном главным был мой папа. Казалось, что он живёт ради развития моей маленькой юниорской карьеры – его очень волновал факт, что его сын обладал каким-то атлетическим даром. Возможно, тут есть связь с тем, что он был двенадцатым в университетской баскетбольной команде в Католическом университете. (Прости, Пап!)

Он тяжело работал по пять дней в неделю, но кажется его единственным удовольствием в жизни было прийти и посмотреть мои тренировочные сессии в Порт-Вашингтон в выходные. Он просто стоял и улыбался во всё лицо – казалось, что ему никогда не надоест смотреть на мой теннис. Иногда (признаюсь) я думал: “Хватит, сделай паузу, своди жену на ланч”. Но не было ощущения, что ему хочется чего-то ещё.

Не думаю, что я когда-нибудь хотел полностью прекратить это, но помню, как сказал отцу, что мне это не нравится. Я сказал: «Разве обязательно приходиться на каждый матч? Обязательно тебе приходиться на эту тренировку? Не мог бы ты одну пропустить?».

Его ответ был шуточным В ответ он либо смеялся – “Ха, да ты шутить!” – или обидным прикидывался обиженным. Никогда чего-то среднего. Он никогда не говорил: “Окей, я пойду и займусь чем-то другим”. Только: “Да я тут постою”.

Чем лучше я становился, тем сложнее было думать о том, чтобы бросить теннис. Я знал, что Гарри Хопман – который знал, о чём он говорит – начал говорить людям: “Этот парень может быть по-настоящему крутым”. Помню, когда мне было тринадцать и я проиграл в 1/8 национального турнира в зале в Чикаго, теннисный обозреватель Джордж Лотт – когда-то он был великим парным игроком, он выиграл несколько «Уимблдонов» в 20-е и 30-е годы – написал, что я стану вторым Лэйвером. Я был изумлён и немного обнадежен. Второй Лэйвер!

Мои родители были очень впечатлены этим! Впрочем, их взгляды не изменились – это впечатлило уже меня. У них были большие планы касательно моего будущего и, по их мнению, оно заключалось в четырёх годах обучения в колледже и получении солидной профессии. (Однажды, когда я был тинэйджером, мама на полном серьёзе сказала мне: “Джон, почему бы тебе не стать дантистом? У тебя волшебные руки”) (*прим.ред.– Тинэйджер – подросток возраста 13-19 лет*).

Мама и папа всегда говорили: “Поступи в колледж”. А потом, когда они встретили Хопмана, который рассказал им истории о сражениях в Кубке Дэвиса и соревнованиях за свою страну, они добавили: “Поступи в колледж и играй в Кубке Дэвиса”.

В любом случае, я не очень много играл во время школьных лет, что, как мне кажется, спасло меня от истощения. После того турнира в Чикаго, я больше не выступал там снова. Для меня вошло в привычку играть «Orange Bowl» (*прим.ред.– Старейший и наименее престижный юниорский турнир*) в Майами после Рождества. (Мой младший брат Патрик начал впервые играть на турнирах – в шесть лет! – в «Orange Bowl» в категории до двенадцати лет. Марку больше нравилось плавание). «Easter Bowl» (*юниорский турнир*) проходил в Нью-Йорке. Это был не исключительно теннис-теннис-теннис. По крайней мере, я брал паузу от него (по крайней мере, я иногда мог там не появляться).

Между тем, я продвигался в рейтинге вверх. Мой папа был так возбуждён. Он говорил: “Ты можешь сделать это, ты можешь стать

лучшим. Ты можешь, ты сможешь!”

Но я помню, как сказал одну умную вещь в то время – самый лучший комментарий, который я когда-либо делал. Я сказал: “Пап, послушай, не говори мне о рейтинге. Я не хочу быть первым, пока мне не выполнится восемнадцать лет. Не проси меня быть лучшим уже в четырнадцать. Подожди до восемнадцати, когда я закончу получу стипендию в колледж. Все мое время и место”.

Я поступил именно так.

Тем временем, я размышлял о будущем, работая бол-боем на «US Open» в Форест Хиллсе несколько лет, начиная с двенадцати. Плата составляла 1,85 доллара в час – минимальная зарплата, но после работы по разноске газет это казалось шагом вперед. К тому же работа мне нравилась.

Не потому что это было легко, ни в коем случае. В сущности, на первом матче, где я работал бол-боем, я едва не упал в обморок на корте. Рауль Рамирес играл против игрока из Венесуэлы Хорхе Эндрю, солнце пылало, и я начал испытывать головокружение. По традиции игроки получали апельсиновый сок и воду в Форест Хилле, поэтому при смене сторон я, тяжело двигаясь, искал апельсиновый сок. В конце концов, я с трудом сделал это за время игры, которая даже не продолжалась долго; Рамирес выиграл в сухую по сетам. Я подумал: “Господи, а если бы это был пятисетовый матч...”.

Помню, как я был бол-боем, когда Артур Эш играл против Ники Пилича, и Пилич был просто отвратителен. Он постоянно цеплялся: “Давай же, дай мне мяч! Подбрасывай мяч правильно! Быстрее, два мяча! Дай мне другой мяч!”. Ты просто не знал, что делать – чтобы ты не делал, он бесился. Я чувствовал, что хочу его стукнуть. Я думал: “Если я стану теннисистом, то никогда не буду так поступать” – и в действительности я всегда был вежлив с бол-боями. Я думаю, что это уже слишком. А может во мне сейчас говорит отец?

Как бы ни было, матч, который хорошо помню из тех давних времён, где я был просто зрителем: Илие Настасе против немца Ганса Поманна. Мне нравилось, как играл Настасе – он был гением с ракеткой в руках, кроме того он привносил в матч невероятную энергию: негативную и позитивную одновременно. По правде говоря, он был неуправляем в тот день, но мне это нравилось. Наверное, только четверо людей на трибуне болели за него, и я был одним из них. Настасе обладал качеством, которое вызывало в людях желание освистывать его. Такое даже обо мне говорили несколько раз.

Насколько я знал, Поманн был просто наглым немецким парнем, который имитировал приступы боли. Он бегал во время розыгрыша, а потом испытывал судороги между очками – невыносимо! Он извлекал из этого выгоду. Толпа проглатывала это. Однако Настасе был невероятен: разок даже плюнув в Поманна вступил в перебранку с Поманном. Потом он сделал попытку пожать судьё руку после матча, но рефери отказался! Я был в восторге!

Было здорово увидеть ребят, которые были легендами для меня. Игра Настасе была поэзией в движении. Бэкхенд Эша был прекрасным, когда он был раскрепощён, но, откровенно говоря, я считал, что в остальном его игра выглядела несколько механической. Он обладал непредсказуемой подачей и чудным, обманывающим соперника, форхендом. Мне был больше по душе классический стиль Стэна Смита.

Мне сразу понравился Гильермо Вилас, Бык из пампасов. Он выглядел потрясающе – статный, с волосатой грудью, мускулистыми бёдрами и ниспадающими волосами. В нём было что-то особенное: он был столь невероятен, что казалось, будто мог быть одновременно душевным (он писал стихи, играл на гитаре) и непоколебимым. Он был чрезвычайно хорошо подготовлен физически, очень тяжело тренировался. Хотя я и не играл, как он, я считал его игрой на задней линии феноменальной.

У меня вызывало сильнейшее волнение возможность увидеть Лэйвера собственной персоной, даже притом, что он был на закате карьеры, и Кена Роузуолла, ещё одного парня из команды Хопмана. Я огорчился из-за того, что он казался уставшим уже на разминке: был безучастным к происходящему на корте и выглядел так, словно приближается конец света – но через четыре или пять часов он всё ещё играл хорошо (и его волосы всё ещё были идеально зачёсаны)! Люди не помнят, как часто Роузуолл, мистер Недооценённый, швырялся ракетками. Я не говорю об одном или двух случаях – он привык это делать по 30-40 раз за матч! Впрочем, он не бросал их также свирепо, как я – он постукивал ими, подбрасывал и пинал, но крайне сдержанно.

В мой первый год в Форест-Хилл, я был крайне впечатлён, когда увидел, как Панчо Гонсалес курит после своего матча. Подумал: “Этого не может быть! Атлеты так не делают!”. А потом, когда я попросил у него автограф, он одарил меня взглядом, который мог бы убить человека, и я оробел. В конце концов, он дал мне автограф, но не выглядел при этом красиво. И он определённо держал сигарету в руке. Всё о чем я мог думать, было: “Забудь об автографе. Как может курить Панчо Гонсалес?”.

Я играл в футбол (*американский*) до седьмого класса. Я был квотербеком (*прим.ред.– Позиция игрока команды нападения в американском футболе*) в «Бакли» и также играл в защите до того дня, как меня не вырубил. Я ясно помню выкрики тренера: “Поднимайся! Вставай!”. Я не мог ответить, поскольку не мог дышать. Почти десять секунд я думал, что скоро умру. Чуть позже в тот же день, когда я пошатываясь доковылял до дома, мои родители сказали: “Эй, как насчёт соккера?”. И я ответил: “По-моему, это идея получше”.

По правде, команда по соккеру состояла из игроков, которые не смогли пробиться в футбольную команду. Теннисистов и игроков в соккер считали неженками, что меня раздражало. Я трудился, вкалывал, а другие ребята считали меня тряпкой. Спустя годы люди перестали смотреть на теннис (кстати, на соккер тоже), как на игру слабаков – правда, дороговизна и недоступность тенниса не изменились. С этим нужно что-то делать.

В девятом классе я оставил «Бакли», вместо чего перебрался в «Тринити», и, по сути, как только я приехал туда, то стал известен, как “парень-теннисист”. Это было на самом деле очень небольшое признание: люди не приходили, чтобы посмотреть мои школьные матчи. И тот факт, что я жил в Квинсе, в то время, когда практически все остальные школьники были с Манхэттена, тоже делал меня чужим.

Помните, я говорил, что был одним из лучших студентов в «Бакли»? В «Тринити» я был посредственностью, по крайней мере, в отношении уроков. Теннис и соккер очень отвлекали – как и девушки.

До сих пор моя личная жизнь, если её можно так назвать, была комедией ошибок. В этом виноват я сам. Я был застенчивым и слегка высокомерным одновременно. У меня было много уверенности в себе, как в спортсмена, но я совершенно не был наделён ею Богом, когда речь шла о девушках. И в итоге я наделал много неуклюжих поступков.

Дженни Дженглер была первой девушкой, которую я поцеловал, за теннисным кортом в Порт-Вашингтон в седьмом классе. Это было очень серьёзным делом – во всяком случае, для меня. Всё-таки Дженни училась в восьмом классе! Она тоже была из большой теннисной семьи – её сестра Марджи была игроком, на которой позже женился Стэн Смит. И кроме того Дженни мне по-настоящему нравилась. Уж не знаю почему, но это было так.

Так что же я делал потом? Всего лишь через несколько дней после того поцелуя я предложил другой девушке из моего класса, Сюзан Вайнштайн, стать моей девушкой! Я ничего не говорил ей о Дженни. Сюзан сказала, что она подумает.

Это произошло в пятницу, и я думал, что уже всё позади. Наступил понедельник, я вошёл в класс, и Сюзан дала мне от ворот поворот: по её словам она уже с кем-то встречалась. Конечно, на самом деле Сюзан и Дженни общались между собой. Кажется, до понедельника все в классе знали, каким я был ничтожеством. Я чувствовал себя ужасно из-за того, как поступил с Джинни, и убитым из-за того, что со мной сделала Сюзан. Это было кошмарно.

К тому времени, как я попал в «Тринити», не случилось ничего, что увеличило бы мою уверенность в себе, как парне (и было не важно, что я был самым маленьким из ребят, парней или девушек, в девятом классе). Мне нравились несколько одноклассниц – одна, Кэтрин Ванден Хьювел, сейчас издаёт политический журнал «The Nation» (*Нация*). Я тарасился на неё, пытался поговорить с ней, но стоило мне открыть рот, чтобы пригласить на свидание, как я не мог произнести ни слова. Это унижение из седьмого класса огорчительно до сих пор.

Достаточно удивительно, но я впервые стал встречаться с девушкой только в десятом классе. Джин Мэлхейм была из Даглстона, младшая сестра моего друга Джима Мэлхейма. Она была красивой брюнеткой и очень недурно играла в теннис. Кто его знает, что она нашла во мне, но пусть её благословит Господь.

В мае 1975 года, девятиклассником я впервые самостоятельно отправился на курорт Уолден на озере Конро, неподалёку от Хьюстона, чтобы попробовать отобраться в команду на юниорский Кубок Дэвиса. Эта была бы огромная честь попасть в команду, не говоря уж о том, что в случае успеха все мои расходы за летние десять недель покрывались. Родители прилично раскошелились на мои поездки на турниры поэтому я хотел внести свой вклад и заодно почувствовать себя более независимым.

В команде должно было быть двенадцать участников и большинство ребят, участвовавших в отборе, были на год-два старше меня и к тому же крупнее, сильнее и с большими чем у меня достижениями. Никто моложе 16 ещё ни разу не отбирался на юниорский Кубок Дэвиса.

Отбор проходил в Техасе и занимал полторы недели. Там было невероятно жарко и влажно. Мне никогда в жизни не было так жарко. Жара всегда была злейшим моим врагом на теннисном корте в основном из-за моей светлой кожи. Нервные окончания дрожали, концентрация постоянно пропадала и было очень трудно показывать лучший свой теннис.

Мы играли девять матчей за десять дней и перед последней игрой у меня были четыре победы и четыре поражения. Всё зависело от этого самого последнего матча: в случае победы я попадал в команду, в случае поражения – нет. Я играл с парнем по имени Уолтер Редондо. Ему было семнадцать и в возрасте четырнадцати лет при росте 172 см он разгромил меня пару лет назад на Национальном чемпионате для 14-летних и младше. Уолтер был из Калифорнии, испаноязычный парень гавайского вида, на несколько сантиметров выше меня (впрочем как и все остальные) и сложен как Адонис. У него была красивая игра: подача, удар с лёта, удары с задней линии – все были идеальны. Многие думали, что он станет следующей большой звездой в теннисе.

Но вероятно у меня в ушах до сих пор стоял голос Гарри Хопмана. Я очень хотел играть в юниорском Кубке Дэвиса. Когда предыдущей ночью я позвонил родителям и сказал им, что независимо от того, какая будет стоять жара я выдержу столько сколько будет нужно для того чтобы победить.

И именно это и случилось. Я победил Уолтера в двух ожесточённых сетах не на жизнь, а на смерть, 6-3, 7-5. Мне кажется моё желание выиграть было большее чем его. Как потом оказалось он достиг своей вершины как в росте, так и в теннисе – в четырнадцать лет. Поиграв год-другой в профессионалах он так и не смог найти себя. Поразительно, с каким количеством людей случается подобная

вещь. У них есть и удар и физподготовка, но видимо то, что их толкает вперёд, толкает недостаточно.

Этот матч стал настоящей поворотной точкой, вселив в меня уверенность в собственных силах. В конце концов, ментально я оказался сильнее Уолтера Редондо. А про себя я понял, что если даже мне не доставляет особого удовольствия играть теннисные матчи, то ещё меньше мне нравится их проигрывать.

Оглядываясь назад я понимаю, что в шестнадцать лет представлял из себя легковоспламеняющуюся смесь взрослости и детскости, наглости и застенчивости. Показная суровость окружавшая внутреннюю неуверенность. Я был обычным подростком и в то же время – как начинало казаться – в каком-то смысле необычным. Однако быть необычным не сахар (особенно подростку) и это противоречие сбивало меня с толку. На теннисном корте я был грациозен, а в нормальной жизни неуклюж.

Когда я собирался уезжать на юниорский Кубок Дэвиса мы с Джин встретились перед расставанием на несколько месяцев. Мы поиграли в теннис в «Дагластонском клубе», а потом просто сидели у корта, взявшись за руки. Джин спросила: “Ты ведь не будешь встречаться с другими девочками во время отъезда?”. И я ответил: “Слушай, давай я так: обещаю менять их не чаще чем раз в неделю”.

Ну и с какого дуба я рухнул, говоря ей подобные вещи? И что она могла мне ответить? Даже по прошествии стольких лет мне стыдно вспоминать тот вечер. О чём я думал?

Наверное я был о себе слишком высокого мнения. И это сочеталось с жуткой неуверенностью. В то лето когда я играл за юниорскую команду в Кубке Дэвиса я носил с собою шесть ракеток в надежде, что кто-нибудь спросит: “Ты теннисист?”. На что я – конечно же, очень тихо и скромно – отвечу: “Ага. Я второй в стране среди шестнадцатилетних”. В таком духе. Мне хотелось признания того, чем я становлюсь, признания моих достижений. И ещё о детскости: ранее в том году Порт-Вашингтон послал группу игроков в отель Конкорд в Кэтскиллс. Долгими вечерами после матчей мы с моим приятелем Питером Реннертом занимались тем, чем обычно занимаются дети, то есть проказничали. Одной из наших любимых шуток было поджечь полотенце, постучаться в дверь к одному из других игроков, забросить полотенце в комнату и крикнуть: “Пожар!”. Естественно я стоял с ведром воды наготове и обдавал жертву с ног до головы. Я знаю, я знаю... И жизнь не становилась легче, когда кто-нибудь из пострадавших жаловался.

Последней соломинкой стал случай, в котором даже нет моей вины. Как-то команда «Порт-Вашингтон» отправилась в Принстон на встречу с их командой. Мои матчи закончились, но несколько встреч ещё продолжали играть и те, кто не играли просто стояли у автобуса, стараясь придумать себе занятие. Ну, Питер Реннерт и я решили пойти в тренировочный зал «Джадвин» немного поиграть в баскетбол. Перед уходом я сказал ещё одному мальчику из «Порт-Вашингтон», которому ещё предстояло играть в теннис, куда мы пошли. Не буду называть его имени. “Просто свистни нас, когда команда закончит играть”, – сказал я.

Мы с Питером поиграли на одно кольцо примерно с полчаса и в итоге пришёл тот игрок. Его послал Хай Зоснер, владелец академии, чтобы позвать нас к автобусу, но он этого не сказал. Он вообще ничего не сказал. Когда он вошёл как раз кто-то собрался уходить и я сказал парню, который пришёл за ними: “Нам нужен ещё один игрок”. Сказал ли он мне: “Там нас люди ждут”? Нет, он просто присоединился к нам! Прошло ещё десять минут и вошёл взбешённый Зоснер. “Как ты смеешь заставлять всех тебя ждать?”, закричал он на меня. Не на кого-нибудь, на меня. “Мне надоели твои фокусы!”.

Вскоре после этого родители получили письмо, в котором говорилось, что я отчислен из теннисной академии «Порт-Вашингтон» на шесть месяцев за плохое поведение. “Нам нужно показать пример”, говорилось в письме.

После того как я объяснил ситуацию родители страшно разозлились на Хая Зоснера. “Как он мог не объяснить нам, как это

случилось?”, – сказали они, – “Это просто возмутительно”.

Питер Реннерт тоже был отчислен на шесть месяцев, но его родители разозлились на него, а не на Зоснера, поэтому они пришли и извинились и Зоснер отменил наказание Питеру. А мои родители отказались прийти.

Только намного позже Питер всё это мне рассказал, а тем временем я построил в голове целую теорию, заключающаяся в том, что он против меня, так как меня исключили, а его нет. На «Easter Bowl» (*прим.ред.– Юниорский турнир*) той весной мы с Питером играли друг против друга в полуфинале, что делало всё ещё более интересным. Я думал: “Я ему не проиграю”. И, клянусь Богом, во время первого розыгрыша в матче – Хай Зоснер сидел прямо позади Питера – я подал выбивающую подачу и мяч попал Зоснеру прямо в лоб!

В любом случае из-за того, что меня отчислили, родители никогда не рассматривали возможность возвращения в Порт-Вашингтон. Тем временем Гарри Хопман ушёл, чтобы организовать собственную теннисную академию во Флориде и Тони Палафокс стал главным тренером в клубе в Глен Коув. Мама с папой позвонили Тони и сказали: “Джон хочет прийти заниматься с тобой”. Тони принял меня на полную стипендию. У меня ещё будет возможность выразить ему свою признательность.

Глава 3

В одиннадцатом классе я бросил баскетбол. Казалось бы, это было не так важно, но на самом деле я был страшно разочарован. Баскетбол был частью моей жизни по крайней мере в такой же мере, что и теннис, это была возможность быть в команде и тусоваться с друзьями. Я всегда любил эту игру и был в ней достаточно успешен (Я помню, как забил треть очков своей команды в одной из первых игр в «СЮ». И неважно, что итоговый счёт был 3-2!)

Я был не менее страстным в баскетбольных матчах, чем в теннисных. В «Бакли Кантри Дэй» наш директор Тэд Овиатт, по совместительству баскетбольный тренер, как-то усадил меня на скамейку во время одной из очень важных баскетбольных игр за разговоры. Меня! Хорошо, возможно не было такого броска, который бы мне не нравился, но я любил соревноваться. К десятому классу я играл за сборную Тринити, но к моему разочарованию оказался шестым (запасной в баскетбольной команде) (как и мой отец в католическом университете) Я с горечью ушёл из команды, но меня заманили обратно – это было легко – и к моему удивлению меня выпускали в стартовом составе последние четыре игры.

И всё же в глубине души я осознавал, что мои баскетбольные дни сочтены. Я не хотел просиживать штаны на скамейке и тренер, Дадли Максим, казалось не знал как меня зовут. Поэтому я ушёл уже по-настоящему. Положительным моментом было то, что впервые я мог играть в теннис зимой чаще чем два раза в неделю. И это сказалось на моей игре. Помогло ещё и то, что я вырос – к тому времени когда мне исполнилось семнадцать в феврале 1976, я почти достиг своего полного роста в пять футов одиннадцать и три четверти дюйма (что я округлял до шести футов) (180 см).

Семнадцать к тому же был тот благословенный возраст, когда я получил водительские права и всего через несколько месяцев после этого мой первый автомобиль. Это была (приготовьтесь!) – печально известная модель 1972 «Ford Pinto» (*прим.ред.– Субкомпактный легковой автомобиль*), возгорающаяся при столкновении, цвета, который когда-то был белым. Мне было всё равно, я любил эту машину. Родители купили её для меня за внушительную сумму в \$100 у одного из партнёров отца по юридической фирме Дона Мура. Отец и мистер Мур ездили на ней на работу. Но с внешним видом машины надо было определённно что-то делать и отец щедро отвёз «Pinto» к Ёрлу Шейбу в Лонг Айленд Сити и там его выкрасили в ярко-красный цвет, или по крайней мере в этом был замысел. На самом деле

получился оранжевый.

Оранжевый «Pinto» 72 года! Добавьте сюда автомобильную систему «Pioneer», которую я выиграл на соревновании (любителям полагались призы, а не деньги) и всё было готово.

Я также перешёл из категории «до 16» в категорию 18-летних, что было существенно в плане конкуренции. По большей части я был к этому готов. Я снова попал в юниорскую команду Кубка Дэвиса под руководством Билла Макгоуэна. Биллу было 24 года, он играл раньше за сборную университета Тринити в национальном чемпионате и был отличный деловой парень. В предыдущее лето на национальном чемпионате на харде в Барлингемме, Калифорния одним прекрасным утром я пришёл на завтрак и взял блины, яичницу, бекон и на десерт – шоколадный сандей (*коктейль*). Билл взглянул на мою плотную шестнадцатилетнюю комплекцию и сказал, что отныне я буду ограничиваться одним шоколадным сандеем в день, а не тремя!

В следующем году я сбросил 10 фунтов (4,5 кг) и повзрослел физически и ментально. Но Билл всё равно пристально за мной следил. Во второе лето юниорского Кубка Дэвиса на земляных кортах в Сент-Луисе седовласый судья на вышке в очках в моём последнем матче на мой взгляд был более медлителен, чем мне бы хотелось. Я начал громко выражать свои чувства и Билл подозвал меня к себе. "Джон", – сказал он, – "Если ты сейчас же не заткнёшься, я без малейших колебаний снимаю тебя с матча и отправляю домой". Я заткнулся.

Другим большим событием в то лето было знакомство на соревновании в Кутшере со Стейси Марголин, молодой калифорнийкой, начинавшей заявлять о себе в юниорах турнирах. Стейси была маленькой, хорошенькой, атлетично сложенной блондинкой и мы немедленно друг другу понравились. В последующие несколько лет мы встречались на различных соревнованиях внутри страны, а в промежутках болтали друг с другом по телефону и обменивались письмами.

Во второе лето мне снова удалось выиграть Национальный чемпионат на земляных кортах в Луисвилле. В тот период своей карьеры я всё ещё, в общем-то, оставался "грунтовиком". Мне удавалось доставать практически все мячи с задней линии. И всё же, хоть я и довольно прилично вырос, подача всё ещё оставалась моим слабым местом, и хотя я мог играть с лёта мне не хватало скорости или силы, чтобы в полной мере использовать возможности игры у сетки. Мои результаты в парной игре в тот период были значительно лучше и вот почему: я отвечал только за половину корта и поэтому чаще успевал к мячу.

Меня отличал от других игроков на задней линии короткий замах. Так как я бил по мячу на подъёме, постоянно двигаясь вперёд, то мог – в теории – с меньшими проблемами выйти к сетке и выиграть очко ударом с лёта или над головой вместо того, чтобы весь день перекидываться полусвечками. Если бы я только мог стать быстрее, выносливее и сильнее!

Замечу в скобках: меня всегда считали хорошим игроком в ударах с лёта и я соглашусь с такой оценкой. Однако, большинство, как мне кажется, недооценивали скорость, с которой я мог отходить назад и контролировать удар сверху, что позволяло мне успешно завершать розыгрыши у сетки и выбирать наиболее удобный угол для удара с лёта, не особенно беспокоясь, что противник обведёт меня. Я всегда много работал над смэшем. Многие на тренировках, даже профессионалы, пару-тройку раз выполняют смэш и на том спасибо. Этого недостаточно.

Я твёрдо убеждён, что игрок на любом уровне должен нарабатывать все удары, из любой точки корта, с разной силой и вращением. Свечки, укороченные, удары с полулёта – на эти удары зачастую любители обращают мало внимания, а они могут изменить исход матча.

И всё это лишь разминка перед тренировкой самого важного удара в теннисе – подачи. Хорошо подающий игрок должен уметь

лишить принимающего равновесия точно так же как хороший бейсбольный питчер (превосходный пример это Педро Мартинес) может сбить с толку бьющего игрока варьируя скорость, направление и вращение мяча.

Когда я начал играть большинство турниров проводились на грунте, даже на профессиональном уровне. Большинство людей не помнит, что «US Open» игрался на грунтовых кортах с 1975 по 1977 год (а я даже и не знал). В результате лучшие на тот период игроки: Коннорс, Борг, Витас Герулайтис, Гарольд Соломон – играли на задней линии, что означало, что большинство матчей были изнурительными поединками на выносливость. Я чувствовал, что настало время вывести игру на новый уровень, но для этого у меня всё ещё не было подачи.

И моей ахиллесовой пятой была физическая подготовка. В то лето я проиграл финал на Национальном юниорском чемпионате в Каламазу Ларри Готтфриду в пяти сетах (мне так и не удалось выиграть это проклятое соревнование). Моя физподготовка, точнее отсутствие её, определённо сыграло в этом свою роль. Я проиграл практически все пятисетовые матчи на юниорских соревнованиях. В мальчишеском возрасте мне удавалось увиливать от гимнастических занятий, которые проводил Гарри Хопман потому что мне казалось, что я и так в хорошей форме от игр в соккер и баскетбол и езды на велосипеде. Я продолжал играть в соккер, и разумеется, очень много играл в теннис, но теперь это уже был совсем другой уровень. По мере приближения к университетским годам ставки росли и противники становились сложнее.

Ларри Готтфрид был младшим братом Брайана Готтфрида, который в 1977 году был 5-й ракеткой мира. Ларри был лучшим юниором 75-м и 76-м, а заодно и моим партнёром в паре – парень, который всегда стоял впереди меня в табели о рангах, ужасный работяга. Ларри после матча ещё и проводил тренировку! Я испытывал одновременно восхищение и отвращение. Но он, как казалось, никогда не был удовлетворён своими достижениями, один из тех людей, которые слишком рано достигают вершины и не получают удовольствие от этого процесса в силу его скоротечности.

Позже тем же летом, благодаря моему старому другу и болельщику Джину Скотту, бывшему игроку (и члену команды Кубка Дэвиса 1963 года), который был директором небольшого турнирчика в Саус Орэндж, Нью Джерси, я получил уайлд-кард (WC) на свой первый турнир ATP. В первом круге я победил левшу Барри Филлипса-Мура, знаменитого тем, что он изобрёл натяжку для ракетки “спагетти” (*прим.ред.– С двойным переплетением струн*).

Я выиграл 6-0, 6-2. Это была моя первая победа в туре. Затем я играл с новозеландцем по имени Онни Парун.

Он был тот ещё тип: носил верёвку на шее и каждый раз закусывал её при подаче, что-то бормоча себе под нос. Я подумал: “Я не могу проиграть этому парню. Он ужасен!”. Ну, как оказалось он не был уж так ужасен: я проиграл ему 7-6, 6-1. Оказалось, что он в то время был ещё и 18 ракеткой мира. И, тем не менее, результаты были достаточно обнадеживающие для того, чтобы у меня закралась мысль, что может быть во мне есть что-то, чтобы играть с профессионалами.

К тому же я получил в ATP 5 рейтинговых очков за победу в первом круге! К концу года я был 264 игроком мира.

Так как я вышел в финал в Каламазу я получил ещё и уайд-кард в квалификацию «US Open» (Я играл ещё и в юниорском разряде, где в полуфинале уступил Рикардо Йказа из Эквадора). Я выиграл первые два круга “квала” (*прим.ред.– Квалификационный турнир*) – как и в предыдущем году, когда я обыграл Тони Паруна, брата Онни, после чего меня уничтожил некто Владимир Зедник (*прим.ред.– Чехословацкий теннисист*).

В этот раз я был лучше подготовлен к прорыву. Затем, в третьем круге, я играл с Заном Герри.

Герри занимал примерно 150 место в рейтинге, поэтому этот матч был очень важен. Получился долгий, спорный матч, грунтовый теннис во всей его красе или мерзости – зависит от того как вы к этому относитесь.

Мы играли три с половиной часа – я проиграл первый сет 5-7, выиграл второй 7-5, и подавал на матч при счёте 5-4 в третьем. После того как в результате долгого розыгрыша Герри вышел к сетке я обвёл его бэкхендом. Виннер (*прим.ред.– активно выигрышный мяч, который не в состоянии отбить соперник*), прямо в линию. “Вышечник” (в “квале” только один судья, который помимо объявления счёта смотрит ещё и линии) сказал: “Гейм, сет, матч, Макинрой”. И я подумал: “«US Open»! Я попал туда!”. Улыбка до ушей расплылась у меня на лице.

Но Герри не подошёл пожать мне руку. Вместо этого он пошёл к линии куда приземлился мой мяч. Он просто стоял там, глядя на отметку от мяча, а я нетерпеливо ждал его для рукопожатия. Я хотел честно закончить матч и был убеждён, что рукопожатие необходимо, выиграл ты или проиграл. Пара моих друзей по юниорской команде Кубка Дэвиса, которые пришли меня поддержать, начали кричать: “Просто уйди с корта!”. А я думал: “Нет, я не уйду с корта. По крайней мере, пока я не пожму этому парню руку”. Те временем Герри искал отметку, показывающую, что мяч был за линией.

Прошла минута, что довольно долго, когда вы ждёте заключительного рукопожатия. Наконец Герри сказал: “Нет, нет, мяч был в ауте! Вот отметка”. “Вышечник” слез с кресла, присел, посмотрел на отметку и сказал во второй раз: “Мяч в поле. Гейм, сет, матч, Макинрой”.

Я был счастлив. Но теперь уже всё больше людей из моей команды говорили мне: “Уходи с корта. Забудь о рукопожатии. Что-то нечисто”. Потому что Герри всё равно не желал подходить к сетке. Напряжение росло.

К этому моменту прошло уже несколько минут, они дважды объявили меня победителем и – я никогда этого не забуду – из ниоткуда возникла женщина по имени Анита Шукоу, которая как оказалась, была главным судьёй. Она быстрыми шагами пришла из-за ограды, которая была где-то на расстоянии 150 метров. Она не была рядом с кортом, но кто-то видимо услышал ропот, и сказал ей. Она подошла, поглядела на отметку и сказала: “Если это правильная отметка, то мяч был за линией. Равенство”.

Я был на грани срыва – просто не мог поверить в происходящее. Я повторял (в основном мысленно): “Я не буду играть. Ни за что. Всё. Мне дважды присудили матч. Кончено, точка”. Но затем другая часть меня подумала: “Ну и что? Это ведь всё ещё равенство. Я всё ещё могу выиграть”. Я был всего в двух мячах от победы...

И, конечно же, я сломался и проиграл 5-7. Наступило время “потопа”. В раздевалке я дал волю чувствам, плакал не переставая – было так унижительно, что это случилось, что у меня украли победу!

Но (приготовьтесь!) – вот в чём весь фокус. В первом круге чемпионата Герри играл с опытным профессионалом из Австралии Россом и Кэйсом – по прозвищу “Змей” – и повторилась та же самая история! Герри проигрывал 6-5, на матч-пойнте был спорный мяч, и он стал искать отметку, показывающую, что мяч был в ауте. Разница была в том, что Кейс ушёл с корта за десять секунд. Этот урок о разнице между юниорами и профессионалами достался мне дорогой ценой. Когда объявили окончательный счёт, уберите с корта.

Скоро я получу ещё несколько уроков.

Странно, я вроде бы помню (и по сегодняшний день не знаю истинная ли это память или ложная), что потом я играл с Герри в другом соревновании. Я всегда говорил про себя – особенно когда я прибавил и умел делать гораздо большее на корте – «Если я ещё раз сыграю с этим парнем, он будет страдать так, как никогда до этого не страдал. Я буду играть укороченные и обводить его, только лишь для того, чтобы сделать из него посмешище».

Я так и сделал. Если только я это всё не придумал. Но я не хочу проверять, вдруг я действительно всё это только вообразил?

На момент начала последнего года в школе я был вторым среди юниоров по стране, но теперь когда Ларри Готтфрид вышел из этой категории – он уже никогда не повторит своих достижений – ожидалось, что я стану первым. Директор школы Тринити Робин Лестер был согласен дать мне небольшую пощадку с посещаемостью и домашней работой, чтобы я мог съездить на несколько соревнований. Казалось, что этот год станет моим.

Соответственно той осенью я, наконец, решил заняться физподготовкой дополнительно к соккерным матчам. Впервые в жизни я начал делать ежедневные пробежки кругами после уроков на 1 или 2,5 мили вокруг бассейна Центрального парка. Для новичка это казалось приличной дистанцией. Той осенью в Нью Йорке было необычно холодно, по крайней мере мне так казалось. Небольшая пробежка в холодную погоду вокруг бассейна была не лучшей подготовкой к невероятной жаре на Открытом чемпионате Аргентины в Буэнос-Айресе в южном полушарии в ноябре 1976 года.

Я играл в юниорском разряде, но многие игроки были тяжёлыми соперниками, подрастающие южноамериканские мастера игры на земляных кортах. Никогда не забуду полуфинал против одного из них – Хосе Луиса Клерка, высокого худощавого аргентинца, позже вошедшего в пятёрку лучших и ставшим одним из моим непримиримых соперников в Кубке Дэвиса. Я победил в том матче казалось бы легко 6-4, 6-4, но слава богу это были всего два сета, потому что солнце жарило так, что ещё один бы сет и я умер. После матча я минут двадцать стоял в душе, просто подставив голову под холодную воду.

Я был не в той форме, чтобы оказать в финале достойное сопротивление моему противнику по «US Open» Рикардо Йказа. И всё же мне посчастливилось увидеть победу лучшего в плане физподготовки Гильермо Виласа. Просто взглянув на него, я понял, что мне надо работать намного усерднее.

В декабре я одержал пару больших побед в Майами, победив в Кубке Саншайн Янника Ноа и Жилья Мореттона из Франции в последнем своём матче с Ларри Готтфридом, и выиграв «Orange Bowl», одержав победу над Элиотом Телшером в финальном матче. Даже несмотря на то, что тогда не было международного юниорского рейтинга все лучшие иностранные игроки приезжали на «Orange Bowl», так что я фактически стал лучшим юниором мира. Грядущие месяцы только подтвердили мой статус.

В январе я снова отправился в Южную Америку, в Каракас на Открытый чемпионат Венесуэлы среди юниоров, где ярчайшим воспоминанием для меня остались не игроки, которых я обыграл при относительно слабом наборе участников, а солдаты, просовывающие дула пулемётов в окна автомобиля перед поездкой в горы на матчи. В мире за пределами старых добрых Штатов происходило много всего, что я и представить себе не мог.

И затем в феврале я поехал в Оушн Сити, Мэрилэнд на турнир в закрытом помещении, входившим в состав тура «Билла Риордана/Джина Скотта». Риордан в то время был менеджером Джимми Коннора и он подобрал ряд турниров, не входивших в юрисдикцию АТР, которыми управлял Джин. Это там, на моё 18-летие, я зарубился с Илие Настасе, которому проиграл 5-7, 4-6.

У меня был бронхит, частая моя проблема пока лёгкие не окрепли. Физически и эмоционально я всё ещё был ребёнком. Но то, что я проиграл в упорной борьбе одному из величайших теннисистов снова навело на мысль, что возможно я могу играть с профи. Мой 19-й год более чем укрепил это чувство.

Все эти разъезды вселили в меня уверенность, но первая моя поездка в Бразилию на «Банановый кубок» в марте показала, что мне надо ещё учиться и учиться. Я прилетел в Сан Паулу и когда в аэропорту никто меня не встретил я буквально не мог найти никого кто бы

говорил по-английски. У меня было несколько телефонных номеров, куда я попытался позвонить, но на другом конце меня тоже не понимали. Если бы они говорили по-испански, а не по-португальски я бы может и наскрёб бы пару слов, а так этот язык был для меня сродни китайскому.

Ну я и уселся около выдачи багажа. И сидел. Наконец часа через полтора какой-то мужик увидел мои ракетки и спросил: “Теннис?”

“Да!”, – ответил я. Он знаками показал, чтобы я следовал за ним. Пока мы шли я думал: “Это ведь может быть кто угодно”. Но какие у меня в тот момент были варианты?

Он отвёз меня домой к молодому бразильскому теннисисту по имени Кассио Мотта, который был чем-то вроде пропускного пункта для участников соревнования. Теперь я по крайней мере знал, что меня не похитили. Но до самого места проведения турнира было два часа езды, до Сантоса, где играл в соккер Пеле.

Пока мы ехали, шёл проливной дождь и, клянусь богом, казалось, что наш водитель идёт со скоростью сто миль в час. Было страшно на такой скорости когда из-за дождя видимость была не больше пяти метров. Я сидел сзади, без пристяжного ремня. Затем внезапно справа от нас на быстрой полосе появился оранжевый конус «Осторожно» и затем ещё и ещё один и прямо перед нами появился сломанный автомобиль. Всё это произошло буквально за пару секунд.

Водитель резко свернул направо и мы начали скользить и как только мы резко повернули рядом с нами возник автобус, едущий с такой же скоростью как и мы. Мы вильнули, заскользили и врезались в автобус, но наш водитель даже не притормозил, он просто обогнал автобус. Когда мы выехали с хайвея, автобус догнал и подрезал нас, и при этом водитель автобуса попытался открыть свою дверь, чтобы преградить нам дорогу. Наш водитель заехал на обочину и “увильнул” от него.

Наконец мы и автобус остановились и два водителя стали орать друг на друга под дождём. Милое посвящение в бразильские реалии.

И вот ещё что. За несколько следующих дней, когда начались игры, я заметил, что южноамериканские игроки в свободное время постоянно ходят на пятый этаж. Сначала я не понимал что происходит; а затем всё прояснилось. Как бы мне так выразиться поделикатнее? Скажем так: там были женщины и деньги переходили из рук в руки. Вот уж действительно «Банановый кубок»! Но я никогда не ходил на пятый этаж и ему подобные заведения.

Кстати, я выиграл этот турнир, обыграв на пути несколько парней по имени Андрес Гомес и Ивана Лендла. Теперь никто не мог оспорить мой статус лучшего юниора в мире.

Тем временем я подал документы в университеты – «Стэнфорд» (*университет в Пало-Альто, Калифорния*), «USC» (*Южно-Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе*) и «UCLA» (*Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе*). Я отдавал предпочтение «Стэнфорду», потому что в «Стэнфорде» и «UCLA» были лучшие команды, но мне был больше по душе «USC» чем «UCLA». В то время в «USC» тренером был Джордж Толли и он казался не таким строгим как Глен Бассетт в «UCLA».

Я поехал в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть на университеты. Это был мой первый визит в этот город, который заодно был и родным городом Стейси и мы провели вместе пару чудесных деньков, когда она показывала мне достопримечательности в том числе университеты. В «UCLA» я спросил Глена Бассетта: “Как у вас здесь поставлено дело? Какой у вас тренерский стиль?”. И он ответил: “Мы много работаем, тренировки ежедневно по 5 часов”. Я сказал: “Большое спасибо”. С «UCLA» было покончено!

В апреле я играл во втором своём турнире, проводимом Риорданом/Скоттом, соревновании на грунтовых кортах в Вирджиния Бич,

где играли ещё и Борг и Коннорс – в то время они были второй и третьей ракетками мира. Я победил Чарли Пассарела, который был тогда 49-м и Боба Лутца, 30-го номера. Правда оба предпочитали более быстрые корты, но победа есть победа.

Перед полуфиналом против Настасе – опять! – я очень скромно (по крайней мере, мне так казалось) зашёл на корт где Вилас тренировался со своим менеджером, безумным бывшим румынским игроком Ионом Цириаком (игравшим и в Кубке Дэвиса) и спросил, могу ли я разогреться минут пять вместе с ними. Всё что мне нужно было перед матчем это эти самые пять минут. Но многие годы спустя и Вилас, и Цириак любили рассказывать историю о том, как нахальный молодой Макинрой, раздосадованный тем, что вообще увидел их на корте, потребовал, чтобы ему дали размяться с великим Виласом.

Возможно, где-то в глубине души я и робел перед Виласом в лучший для него год. Но даже если я и выглядел, как ребёнок, я был много большим чем рядовой фанат.

В этот раз я проиграл Настасе, но уже в трёх сетах.

В мае, после того как «Стэнфорд» принял меня учиться с осени в Теннисной ассоциации США (*USTA*) дали мне 500 долларов и билет на самолёт, пожелали удачи и я отправился играть юниорские «Роллан Гаррос» и «Уимблдон». Так как у меня вдобавок было несколько АТР очков я собирался попытаться сыграть в квалификации основного соревнования и планировал встретиться со Стэйси, которая собиралась выступить на «Ролан Гаррос» среди девушек.

Вскоре после того, как я вселился в отель для игроков «Софител» (*Sofitel*) до меня вдруг дошло: я не понимал, что стоимость проживания будет оплачиваться не Американской теннисной ассоциацией, а из моего собственного кармана! Пятьсот долларов казались огромной суммой денег... пока я не заселился. Я быстро прикинул. Игрокам надо было платить порядка тридцати долларов в день, и я собирался быть в Париже три дня квалификации и, вне зависимости, квалифицируюсь я или нет, четырнадцать дней до конца юниорского турнира. После этого две недели перед «Уимблдоном», затем две недели «Уимблдона»... пятьсот долларов на семь недель было как-то маловато!

Но прежде чем думать о деньгах, мне нужно было играть в теннис.

В голову мне крепко засела фраза, сказанная моим приятелем по Порт-Вашингтон Витасом Герулайтисом: “Вот что случится в твой первый приезд на «Ролан Гаррос» – ты будешь играть с каким-нибудь парнем из Европы, о котором ты первый раз слышишь, и он надерёт тебе задницу”.

Спасибо, Витас. И точно, в первом круге квалификации мне довелось играть с неким Робертом Мачаном из Венгрии – по крайней мере, так мне казалось. Прежде чем я успел опомниться, этот парень действительно драл мне задницу: 6-3, 2-0. И тут до меня дошло: я всё время играю под его бэкхенд. Это довольно распространено, когда ты встречаешься с незнакомым соперником. Из чистого отчаяния я стал играть ему на форхенд. И что бы вы думали? Мистер Мачан не мог удачно сыграть форхендом.

Самым большим откровением в области тенниса было то, что по мере продвижения вверх по лестнице рейтинга всё становилось гораздо интереснее.

Париж в 77-м был первым для меня турниром столь высокого уровня. И я никогда не видел, чтобы ребята так упирались. Никогда не забуду матч американца Нормана Холмса со своей французской версией во втором раунде квалификации. Было просто невероятно наблюдать, как они старались – доставали мячи и “ныряли” на корт пока их белоснежная форма с ног до головы не была покрыта красной глиной. Наверное, на этом матче была всего сотня зрителей, но это был один из лучших матчей всех времён из тех, что мне довелось

увидеть.

Норман Холмс победил, квалифицировался и со временем поднялся примерно на сотую строчку рейтинга. Он отнюдь не выглядел в тот вечер чемпионом, но это было не важно. Глядя на него я подумал: “Если этот парень может так упираться, то почему бы и мне не сделать что-то подобное”.

Неизвестно как далеко я пройду, если наберу хорошую скорость.

Я выиграл во втором круге квалификации. И всё-таки мне не давала покоя мысль, что нужно найти более дешёвый отель. Я был знаком с теннисисткой Люцией Романовой, одной из двух близнецов Романовых из Румынии, которая немного говорила по-французски и я попросил её помочь.

Благослови её господь, она вывернулась наизнанку и нашла мне гостиницу стоимостью около трёх долларов за ночь. Гостиница вполне соответствовало цене, но в комнате не было будильника и никто не говорил по-английски. И у меня не было походного будильника. “Можно чтобы меня разбудили?”, – спросил я человека при входе. Он ответил мне по-французски – послал наверное.

Я был в панике, потому что первые два моих матча были в пять часов пополудни, а последний матч в квалификации стоял по расписанию в 8:45 утра. Проведя всего несколько дней в Париже я всё ещё мучился от смены часовых поясов. Обычно спал до двенадцати или до часу дня и я надеялся, что клерк при входе всё-таки понял, что меня надо разбудить, но до конца не был уверен в этом. Я подумал: “Как же мне встать вовремя?”. Решение было простым – не спать совсем. Я не сомкнул глаз до утра.

Я вышел на игру совершенно невыспавшимся и каким-то образом (юность безусловно помогла) сумел одолеть своего противника, типичного испанского грунтовика. Я попал в основную сетку! Внезапно меня осенило: “За попадание в основную сетку я буду получать 60 долларов в день”. Я немедленно выписался из своей трёхдолларовой гостиницы и снова заселился в «Софитель».

Мне очень повезло со жребием в первом круге – Алвин Гагднер, австралийский середнячок – и я легко выиграл 6-4, 6-2 и 6-0. Это был уже совсем другой разговор. Я набрал ещё шесть рейтинговых очков АТР (одно за квалификацию и пять за победу в первом круге). Вот как я вышел на Фила Дента.

Дент был 27-летним австралийским “динозавром”, опытным участником Кубка Дэвиса и исключительно упорным соперником. Современным болельщикам он более известен как отец Тейлора Дента. У него была репутация теннисиста, сражающегося за каждый мяч даже в тех матчах, которые он безнадежно проигрывал. Он был истинным австралийским теннисистом: Гарри Хопман гонял своих игроков до седьмого пота, требуя от них высочайшего уровня физической и ментальной подготовки, безжалостно отсеивая тех, кто не удовлетворял этому высокому стандарту. Казалось, по крайней мере, мне, что Фил Дент прошёл это испытание.

С самого начала матча лайнсмэны (*судьи на линиях*) работали ниже всякой критики. Удары Дента, которые были “в поле” дюймов на шесть (15 см) линейные судили как “аут”. Каждый раз, когда это случалось, я предлагал Денту: “Я не могу принять это очко, предлагаю переиграть”. Я привык в юниорах самому судить удары по линиям на своей половине корта.

Однако же я заметил, что бы не происходило на его стороне корта, Дент не разу не попросил переигровку. Подтверждая свою репутацию, он был одним из самых упорных соперников, с которыми мне доводилось играть и после пяти сетов ожесточённой борьбы он победил. И когда мы подошли к сетке для прощального рукопожатия он обнял меня и сказал: “Сынок, теперь ты профессионал. Смотри за своими мячами и если тебе есть, что сказать – говори вышечнику”.

Многие считают, что в последующие годы я усвоил этот урок слишком хорошо.

Я встречался со Стэйси и в перерывах между матчами и тренировками у нас было время для того, чтобы видеться друг с другом. А на кортах я встретил своего приятеля по Порт-Вашингтон Питера Флеминга, который играл в основной сетке. Питер только что закончил «UCLA» и играл в туре, причём довольно хорошо. Мы виделись буквально пару раз до того, как он уехал учиться. Один из них пришёлся на «US Open-1974», когда он и Витас Герулайтис победили Тони Палафокса и меня в паре. И было приятно увидеть знакомое лицо в непривычной обстановке во время моей первой поездки за океан.

Юниоры начинали играть со второй недели, тогда и начались игры для меня и Стэйси.

Но, проиграв в одиночном разряде, она неожиданно сказала мне, что ей надо уехать в Калифорнию. Как она выразилась “по семейным обстоятельствам”. Решив, что это чувствительная тема, я не стал расспрашивать о деталях.

Тем временем мне повезло. Я наткнулся на Мэри Карильо, которую знал ещё по Дагластону, игравшую в основной сетке женского турнира. Она была на два года старше меня и жила буквально в паре кварталов от нашего дома на Нолвуд Авеню в Мэнор. Мне с трудом верится, что три теннисиста высочайшего класса – я, мой брат Патрик и Мэри – выросли по соседству. Её теннисная карьера развивалась так же как и моя: она научилась играть в «Дагластонском клубе», где мы время от времени тренировались вместе и уехала в «Теннисную академию Порт-Вашингтон», где, также как и я, она тренировалась под руководством Тони Палафокса и Гарри Хопмана.

К моменту окончания школы Мэри стала одной из лучших теннисисток страны и вместо того, чтобы идти учиться в университет она поступила на работу в новую академию мистера Хопмана во Флориде. Потом она решила попробовать выступать в женском профессиональном туре, и у неё был достаточно высокий номер в рейтинге. Уж куда выше моего.

И в тот день на «Ролан Гаррос» состоялся вот такой исторический разговор.

– Хочешь попробовать сыграть микст?

– Давай.

Так рождаются великие пары. Мэри и я тренировались вместе, но мы буквально никогда не играли на одной стороне корта. Но какая разница? В юности тебе кажется, что возможно всё.

Что важнее, сетка микста на Открытом чемпионате Франции была самой слабой из всех турниров этого уровня – в основном из-за небольших призовых. Когда лучшие игроки-мужчины заканчивали своё выступление на турнире они уезжали из Парижа в поисках более “зелёных” лужаек. С рейтингом Мэри и моей горсткой ATP очков нас допустили к участию.

Одновременно я начал выступать в юниорском разряде, где благодаря своим успехам зимой и ранней весной, считался сильным фаворитом. Это меня несколько не нервировало, даже наоборот. Уверенность в своих силах была на подъёме, и с каждым матчем я улучшал свою игру.

Тем временем Мэри решила, что если уж очутились в Париже и у нас есть свободное время, то неплохо бы вбить в меня немного культуры. В то время я не знал разницу между Матиссом и Микеланджело. Мэри, однако, знала и повела меня в «Jeu de Paume» – в ту пору это был ведущий музей импрессионизма. Мне хотелось бы сказать, что это было очень интересно, но я припоминаю, как говорил, глядя на одну из кувшинок Моне: “У моего младшего брата Патрика дома на двери холодильника есть вещи и получше”.

И всё-таки мои глаза стали понемногу приоткрываться и было очень здорово проникнуться духом Парижа, искусство и архитектура

были настолько величественные, что я чувствовал себя слегка пришибленным. Люди тоже были невыносимы, хоть мы в дальнейшем и полюбили друг друга. Я чувствовал себя как в фильме «Каникулы» – Чеве Чейз и Беверли Ди Анджело за ланчем в ресторане и он говорит: “Дорогая, не правда ли они очень милы?” и официант говорит (по-французски, с английскими субтитрами): “Тупая американская задница”. Вот именно так я себя и чувствовал.



Но не на теннисном корте. Ни один из моих матчей в юниорском разряде не был таким же трудным как пятисетовик против Дента, включая полуфинал против Ивана Лендла, который в то время был моим клиентом. И на удивление мы с Мэри тоже мчались на всех парах. Самым трудным у нас был трёхсетовик в полуфинале против Томаса Коха из Бразилии и Синтии Дюрнер из Австралии. В финале, который состоялся всего через час после моего победоносного юниорского финала против австралийца Рэя Келли, мы победили Флоренту Михай из Румынии и Ивана Молину из Бразилии в двух сетах.

Я не верил собственным глазам: в возрасте 18 лет – победитель турнира «Большого шлема».

И вот ещё что. В последний день «Ролан Гаррос» мне преподали ещё один жёсткий урок, о теннисе как шоу-бизнесе. Я играл свой юниорский финал перед аудиторией, состоявшей примерно из трёх зрителей – спасибо организаторам, поставившим его во время финала у мужчин, в котором Вилас уничтожил Брайана Готтфрида. Затем, после того как большинство парижан

покинуло «Ролан Гаррос», мы с Мэри выиграли свой финал перед похожим количеством зрителей.

Я всегда испытывал сложные чувства, играя перед зрителями, но знал, как это играть при пустых трибунах – паскудно. Но такое продолжалось недолго.

До «Уимблдона» оставалось две недели, и я отправился в Англию, потренировался неделю на траве, а затем играл квалификацию в Квинс Клуб (западный Лондон), самом важном “разогревочном” турнире перед «Уимблдоном». Моим соперником был Пат Дюпрэ из Стэнфорда.

Из-за дождя мы играли в зале, на деревянном покрытии. Сократив время перед ударом, я легко выиграл первый сет 6-1. Подумал: “Это довольно просто”.

Затем, внезапно, какая-то женщина с трибун начала кричать на меня, наезжать и всё такое прочее. Я подумал: “Что происходит?”. Оказалось, что это жена Дюпрэ. Она не давала мне проходу последние два сета и я проиграл следующие два сета 7-5, 7-6.

Оказалось, что она делала тоже самое и с другими игроками. Не хочу сказать, что это послужило причиной моего поражения, но я действительно был обескуражен. Вот ещё один урок: когда ты играешь против лучших игроков, могут произойти много неожиданностей. Надо научиться приспосабливаться. В тот раз я был совершенно выбит из колеи.

Недолгое участие в Открытом чемпионате Франции дало мне достаточно рейтинговых очков, чтобы попасть в квалификацию «Уимблдона», поэтому я подумал: “Какого чёрта!”. Поражение от Дюпрэ на самом деле мне даже помогло: если бы я пробился в основную сетку то не думаю, что у меня было бы время сыграть и там и в квалификации к «Уимблдону». Так что, спасибо, миссис Дюпрэ!

Лондон не был таким грандиозно пугающим как Париж – по крайней мере, язык был примерно такой же, как мой. И основа я нашёл себе экономичное жильё: обшарпанная квартирка на Ёрлс Корт, в которой жили четыре подающих надежды теннисиста за пару фунтов за

ночь. На самом деле этот выбор был скорее продиктован желанием сэкономить, чем вызван необходимостью – у меня всё ещё оставались деньги с тех пятисот долларов, да к тому же «Уимблдон» давал игрокам 60 долларов в день только лишь за участие в квалификации. Так что я мог шиковать!

Игры “квала” проходили в приятном, но ничем не примечательном «Клубе Рохэмптон», примерно в полчаса от «Уимблдона», чьи организаторы, по-видимому, решили держать простой народ на безопасном расстоянии от священных лужаек «Всеанглийского клуба лаун-тенниса».

Я, кстати, играл против некоторых довольно известных игроков в квалификации, но у них всех, похоже, была аллергия на траву. У меня же был небольшой опыт на этом покрытии. Я играл пару раз на Национальном чемпионате на травяных кортах в Тускалузе, штат Алабама. Корт «Рохэмптона» (*Roehampton*) были в ужасающем состоянии, но организаторы всё равно вас туда забрасывали.

Легко победив Кристофа Роджера-Васселина и нестабильного немца Ули Мартена в трёх упорных сетах, в третьем круге я играл против Жилия Мореттона, моего соперника в паном разряде на «Orange Bowl». Шёл сильный дождь, но по мнению организаторов это было “тони или плыви”. Я выплыл, победив в трёх уже привычных сетах и квалифицировался на «Уимблдон».

Я помню, как отпраздновал это событие пивом из деревянной бочки, которое было невероятно ужасно. У него был привкус дерева, и оно было тёплое. Я думал: “Как эти люди это пьют? Где мои «Ballantine's»? Кто вообще эти люди?” (*Баллантайнс –виски*).

Теперь, когда я попал в основную сетку я почувствовал, что заслужил комнату в настоящем отеле и поселился в «Канард Интернешнл» (*Conrad International*), который претендовал на изысканность и в нём даже была машина с кубиками льда, что в Лондоне по тем временам было в диковинку.

В комнате всё равно были соседи, но теперь это были игроки получше. Элиот Тельшер, мой соперник по финалу «Orange Bowl», который собирался поступать в «UCLA» и впоследствии вошёл в десятку лучших в мире и Роберт Вант Хоф, поступающий в USC, выигравший впоследствии через несколько лет национальный студенческий чемпионат и позже ставший тренером Линдси Дэвенпорт.

На «Уимблдоне» была строгая иерархия игроков – начиная со звёзд и заканчивая “квалифаями”, все общались со своими равными. Но когда я встретился с Джимом Делани – он был лет на 7-8 старше меня и был где-то в районе первой сотни в рейтинге при моём 233 месте – он был на удивление дружелюбен.

Джим окончил «Стэнфорд» пару лет назад и Дик Гоулд, главный теннисный тренер в «Стэнфорде», попросил его помогать мне во всём на «Уимблдоне». Я узнал об этом только несколько лет спустя и очень благодарен Дику. В то время Джим просто оказался на удивление приятным парнем, каковым он и на самом деле был.

Он показал мне Лондон. Для молодого игрока одним из самых важных моментов было знание, где добыть хорошую, дешёвую еду – что в Лондоне в те дни означало пицца и паста (не могу удержаться и не съязвить: специально для голодных американских прижимистых игроков в Лондоне распространилась некая американская сеть забегаловок, козырным продуктом которой является Биг Мак). Я отрывался. Город теперь стал мне нравиться гораздо больше – даже больше чем он мне нравится сейчас, хотя я и до сих пор люблю туда приезжать – потому что это был последний раз когда я мог быть там совершенно анонимно. Я был абсолютно не в теме. Там есть такой обычай: если ресторан переполнен, кто-нибудь, кого ты абсолютно не знаешь, может запросто подсесть за твой столик. Как-то вечером к нам подсел какой-то странный парень, и я спросил: “Ты кто такой?” (Боже мой, Мак, в каких крысиных норах ты питался?).

Делани помог мне ещё кое в чём важном. Так как он уже несколько лет играл в туре, он знал сильные и слабые стороны многих

игроков, с которыми мне нужно было играть в первых кругах. Он был для меня чем-то вроде бесплатного тренера.

Но мне всё равно нужно было играть в теннис.

Это было странно. Когда я поднимался в рейтинге в юниорах мне всё время казалось, что основной тур – это что особенное, что там играли лучшие из лучших. И вот я на «Уимблдоне», главном турнире, в первый раз, побеждаю в первом круге (Исмаил Эль Шафей), во втором (Колин Даудсвелл), в третьем (Карл Мейлер).

И затем в 1/8 я победил Сэнди Майера, чью игру Джим Делани хорошо знал по совместной учёбе в «Стэнфорде». Тогда-то я и стал верить, что смогу стать профессиональным теннисистом. Помню, как думал: “Или эти ребята гораздо хуже, чем я думал или я намного лучше”. Ту пропасть, которая, по моему убеждению, существовала между юниорами и профессионалами – элитой тенниса, я просто не замечал.

«Уимблдон», корт № 1. Ничто в мире не идёт с этим, ни в какое сравнение пока вы на самом деле не ступили на него, просто невозможно себе представить. Запах травы, электрифицирующая близость зрителей и сам вид этого места – насколько более интимного, чем может передать телевидение, яркость красок которые вы видите воочию – зелёно-фиолетовые цвета покрытий, трибун, эмблем, униформ; белые, розовые и пыльно-синие цвета гортензий.

28 июня 1977 года. Мне восемнадцать и я совершил практически невозможное: (по крайней мере, до Бориса Беккера) приехав на «Уимблдон» выступать в юниорском разряде прошёл три круга квалификации, чтобы получить место в основной сетке. И, попав туда, я – неизвестный никому любитель с пухлыми щеками, толстыми бёдрами и кучей батончиков «Сникерс» в сумке с ракетками, выпускник школы, пропустивший церемонию выпуска, чтобы попробовать свои возможности в Европе – выиграл четыре первых круга против лучших профессионалов и пробился в четвертьфинал величайшего теннисного соревнования в мире.

Вплоть до этого момента я был полной неизвестностью на «Уимблдоне», я играл в абсолютном забвении, что в «Рохэмптоне», что на второстепенных кортах «Всеанглийского клуба», на которых самая отвратная трава и, наверное, двенадцать зрителей (включая четверых спящих, в том числе всех линейных). Меня определили во второстепенную раздевалку со всеми теми, кто вылетит в первом-втором круге.

Корт № 1, однако, это было уже серьёзно. Теперь когда я прошёл безжалостную мясорубку семи кругов, Уимблдонские власти, всегда свысока посматривающие на тех, кто был, по их мнению, незначителен (что включало в себя практически каждого) наконец-то сообразовали сесть и заметить Джона Патрика Макинроя-младшего их Дагластона, Квинс. Я удостоился внимания – пока ещё не Центрального корта, нет, но и корт № 1 это вам не “хухры-мухры”. И я также удостоился самого опасного пока что соперника на турнире.

Его звали Фил Дент, и он имел против меня безупречную “личку” (*прим.ред.– Счёт личных встреч*).

Да, это был тот самый Фил Дент, который обыграл меня во втором круге «Ролан Гаррос» всего три недели назад (и прошёл до полуфинала, где уступил Брайану Готтфриду). Однако это был не второй круг «Ролан Гаррос», это был четвертьфинал «Уимблдона», совсем другой уровень. Ставки были несоизмеримо выше. Дент был первый сеянный игрок, с которым мне довелось сыграть на этом соревновании. И хотя он был посеян всего-навсего тринадцатым, всё равно он был посеян, а я был никто, а он намерен был защищать свой номер всеми силами тела и всем опытом мозга.

Как не странно, однако, я не сильно нервничал, несмотря на столь стремительный взлёт в “августейшее окружение”. Я был на волне успеха и уверенности в себе. Я знал, что могу играть с серьёзными соперниками и думал, что смогу победить Дента. Во-первых, наш матч

в Париже был достаточно равен. Во-вторых, с ранних лет одной из моих сильных сторон было умение понять игру противника, сыграв с ним хотя бы раз.

Я думал, что разгадал игру Дента. Легко выиграл первый сет (6-4), но во втором он упёрся и я проиграл тай-брейк. Я был жутко зол на себя и, по правде сказать, где-то в глубине души начал нервничать. Даже, когда играешь пятисетовик хочется захватить инициативу, и я никогда не был хорош в роли отыгрывающегося. Когда я начинаю отставать, меня начинают грызть сомнения.

Поэтому когда мы собирались поменяться сторонами после тай-брейка я засунул свою ракетку «Wilson Pro Staff» под ступню и стал гнуть её пока она не сломалась.

И вся эта большая, такая близкая, хорошо воспитанная английская публика недовольно загудела: “бу-у-у”. Что это за кучерявый выскочка, этот невоспитанный мальчишка, этот никто, чтобы тревожить обстановку корта №1?

Со мной такое случилось впервые и я подумал: “Странно”. И вместо того, чтобы подобрать ракетку я пнул её, когда шёл к своему стулу.

Гул стал ещё громче.

Англичанам такое поведение не понравилось, но признаться честно, в тот момент меня это только позабавило. Хоть на меня и производил должное впечатление «Уимблдон» и его богатая история, а в отличие от большинства молодых игроков тогда (и практически всех молодых игроков сейчас) я действительно уважал историю тенниса. Англия казалась мне странной, напыщенной и старомодной.

Когда я увидел этих сонных линейных, то подумал: “«Уимблдон» не должен быть таким”. Сам клуб и турнир были чудесными, но вся атмосфера была наполнена невероятной самозначимостью. Я негодовал по поводу того как организаторы пренебрежительно относились к менее значимым игрокам и как пресмыкались перед звёздами. Меня бесили все эти увёртки перед королевской семьёй и более мелкой знатью. Я вырос в Квинсе и ездил на метро. Как я мог воспринимать весь этот карнавал с “клубникой со сливками” серьёзно?

Мне надо добраться до вершины, думал я, тогда и со мной будут обращаться прилично.

В третьем сете было несколько странных решений лайнсменов не в мою пользу. И, с прощальными словами Дента на «Ролан Гаррос» всё ещё свежими в моей памяти, я начал жаловаться напрямую “высечнику” и как вы сами понимаете, не встретил должного понимания. Я, в свою очередь, стал немного заводиться (всё ещё немного в начале своей карьеры).

Теперь и публика стала заводиться. Хоть я был и неопытен, мне такая реакция зрителей казалась странной и довольно комичной. Оглядываясь назад, мне кажется, что моя добродушная весёлость во многом объяснялась тем, что я впервые играл перед таким большим числом зрителей. Должен сказать, что сейчас, после стольких лет, проведённых на «Уимблдоне», я стал дорожить страстью британцев к их великому национальному достоянию. Англичане в целом сдержаны, пока дело не доходит до их игр!

Из-за спорных решений линейных судей и стойкости Дента я несколько растерялся и вскоре проигрывал 2-1 по сетам и 0-2 в четвёртом. Ситуация становилась действительно критической, но я взял себя в руки и собрался с мыслями. Пока что на «Уимблдоне» всё складывалось для меня чудесно, и не должно же было всё закончиться здесь, против этого соперника!

Я вспомнил как на «Ролан Гаррос» всё было с точностью до наоборот. Я выигрывал 2-1 по сетам и вёл с брейком (*выигранный гейм на подаче соперника*) в четвёртом, когда Дент повернул вспять течение матча и выиграл его. Что же тогда произошло? Я стал думать о том, что это был мой первый турнир «Большого шлема», зажался и проиграл.

Аналогичная история могла произойти и сейчас с Дентом, рассудил я. Выйти в первый для себя полуфинал «Уимблдона» в возрасте двадцати семи лет должно было бы для него очень много значить. Он тоже может зажаться. Если я просто упрусь, то возможно смогу изменить течение матча.

Была и ещё одна причина, по которой я хотел выиграть. Я стоял на распутье. Проиграв, я всё ещё успевал заявиться на юниорский турнир, но при выигрыше и выходе в полуфинал основного соревнования у меня не хватало бы времени заявиться ещё и в юниорах. Таков был расклад. Проиграй я Денту, я проиграл бы в четвертьфинале «Уимблдона» – прекрасный результат для восемнадцатилетнего парня из квалификации. Но проиграй я в третьем круге юниоров – это был бы чувствительный удар по репутации.

Тем временем матч становился по-настоящему захватывающим. Зрители становились с каждой минутой всё громче. Их удивление во втором сете: "Кто это такой вообще?" сменилось своего рода осознанием: "Да этот парень на самом деле собирается выиграть!" Они болели против меня больше, чем когда бы то ни было, но в тот день, в тот матч, это было нормально.

И мне кажется, Дент стал нервничать. Внезапно я стал другим человеком, не тем с кем он играл всего три недели назад на «Ролан Гаррос». Что за монстра он создал своими руками? Внезапно этот “шпанёнок” маленький панк стал спорить с судьёй, пинать ракетку. К пятому сету напряжение заметно выросло.

Хватило одного брейка. Я выиграл последний сет 6-4 и, когда я подошёл к сетке для прощального рукопожатия, Дент отвёл глаза.

В восемнадцать лет я вышел в полуфинал «Уимблдона».

Это одновременно казалось и невероятным и самым естественным на свете.

Полуфиналы в том году выглядели следующим образом: Бьорн Борг против Витаса Герулайтиса и Джимми Коннорс против... меня. Меня! Помню, как заходил в «Глостер Отель», в те времена это был большой отель для игроков, и видел ставки, написанные мелом на доске (в Лондоне все играют): “Борг, 2-к-1; Коннорс, 3-к-1; Герулайтис, 7-к-1; Макинрой 250-к-1”. Ставка 250-к-1 меня не смущала. Сам факт, что я был в этой группе, был значительным событием.

Начиная с этого момента жизнь моя круто изменилась. (Начнём с того, что я больше никогда не играл в юниорских соревнованиях). Но были и не только положительные моменты. Внезапно я попал на принципиально новый уровень игры. Борг, Коннорс – они были для меня богами тенниса, я смотрел их по телевизору! Коннорс выиграл «Уимблдон» в 74-ом и играл в финале против Эша в 75-ом. Борг выиграл в 76-ом. Это были два чемпиона «Уимблдона». Серьёзные ребята.

Витас, четвёртая ракетка мира, тоже был не лыком шит. Позже в этом году он выиграет «Australian Open» (*прим.ред.– В 1977-1986гг проводился в декабре*).

Готовясь к матчу против Джимми Коннорса я осознавал разницу между ним и всеми другими профессионалами, с которыми я до этого играл. Это был по праву великий игрок. Я был на трибунах, когда он играл против Розуолла – который сам входил в плеяду великих – на траве в «Форест Хиллс» в 74-ом (место проведения «US Open» в то время). Коннорс выиграл 6-1, 6-0, 6-1. Он бил по мячу с невероятной силой стальной ракеткой «Wilson T2000» и очень хорошо играл на приёме. Я не хотел, чтобы меня уничтожили.

И его интенсивность тоже была невероятна. То, что я не знал его – никогда с ним раньше не играл, ни разу даже не перекинулся с ним единым словом – делало его ещё более пугающим.



Первая наша встреча (если это можно так назвать) в раздевалке перед полуфиналом ничуть не разрядила обстановку.

Как только вы попадаете в четвертьфинал «Уимблдона», вас переводят в основную раздевалку, рядом с Центральным кортом. Эта раздевалка предназначена для 80 лучших игроков. Это было серьезно. Я испытывал благоволение от одного факта пребывания там. Затем я пошёл и попытался поздороваться с Коннорсом.

Он не посмотрел на меня. Даже никак не отреагировал на моё присутствие. Весь эпизод был очень недолгим.

Подобно боксёру, как я полагаю, он чувствовал, что должен настроить себя на определённый уровень злости и ненависти ещё до того как мы вышли на корт. И запугивания. Я чувствовал себя запуганным. Мне было трудно даже поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Я подумал: “Может я недостоин просто находиться рядом с ним?”.

И в этот самый момент я решил, что не хочу выигрывать этот матч. Не хочу выигрывать, думал я, (не то чтобы я мог выиграть, даже если бы и хотел). Не смогу этого вынести. Он победил в предматчевой ментальной схватке.

Сама возможность перехода от статуса лучшего юниора в мире к всего лишь шагу от победы на «Уимблдоне» была для меня запредельной. Победы я Коннорса, мне надо было бы играть с Боргом или Витасом, но скорее всего с Боргом. Борг был на постере, висевшем на двери моей спальни (наряду с Фэрра Фосетт – известная американская актриса того времени).

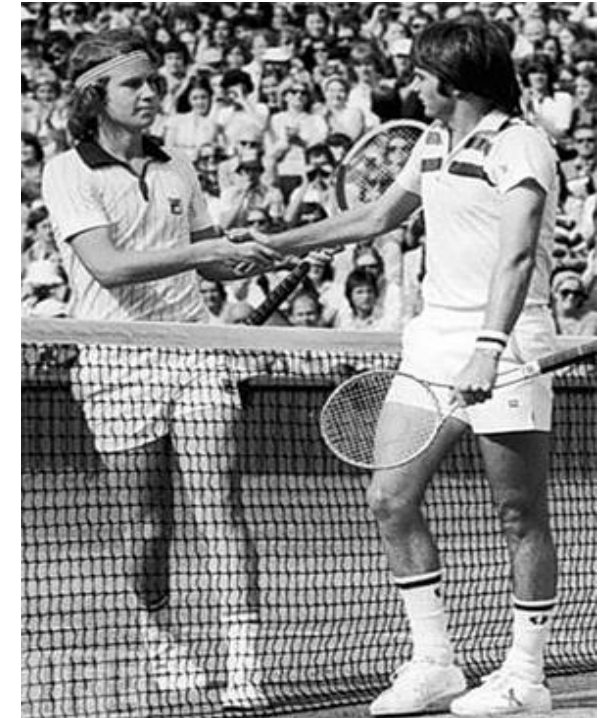
Я просто эмоционально не был способен победить ещё кого-нибудь из этих ребят.

В голове я распланировал себе карьеру. Я говорил отцу: “Не приставай ко мне с разговорами о первом месте в рейтинге пока мне не исполнится восемнадцать, тогда я смогу свыкнуться с этой мыслью”. Я только что совершил скачок, который почти что не мог пережить. Я всё ещё хотел учиться в университете и получить тот самый опыт. Победы я Коннорса, я бы, конечно, не пошёл учиться.

В голове я зашёл настолько далеко, насколько это было возможно – на данный момент. Просто попав в полуфинал, я улучшил свой рейтинг с 233 до 71 номера. Победы я в полуфинале и я был бы где-то в районе 50. Выиграй я весь турнир, и я был бы примерно 30-м – после двух соревнований. Это уж было слишком...

Перед этим матчем я нервничал больше, чем когда-либо в жизни.

Намного больше. Это был не корт №1 «Уимблдона», это был Центральный корт. Это была история, даже забывая о факте, что мой отец и Тони Палаfoxк вылетели ко мне после победы в четвертьфинале и сидели на трибуне. Тряслись ноги. Первый гейм был ужасным – мне трудно было подниматься, даже двигаться. Руки и ноги были слишком тяжёлыми. Первые два сета я был как будто замороженный и Коннорс легко их выиграл, 6-3, 6-3. Но я выиграл третий сет, 6-4 – и тут до меня дошло. Я начал понимать, что Джимми элементарно не



так уж хорошо играет. Не знаю, будет ли он когда-нибудь говорить об этом, признает ли этот факт, даже по прошествии стольких лет, но мне кажется, он испытывал давление, играя против восемнадцатилетнего пацана.

Я тоже потом испытывал подобные проблемы – трудно играть с тем, кто моложе тебя. Ты ничего не выигрываешь кроме победы в матче; им нечего терять. Совсем. Частью проблемы было то, что мой стиль был ему слегка неудобен: я не давал ему играть в привычном для него ритме и, в отличие от тех, кого он уничтожил, я был левшой. Но истина всё же в том, что он встал с утра не с той ноги.

И всё же, в итоге это было неважно – всё, что мне перепало это один сет. Я просто не был готов к победе над Джимми. Пока не был готов.

Глава 4

В то лето после моего первого «Уимблдона» я играл 12 из 13 недель, исключительно профессиональные турниры, хотя пока ещё оставался любителем. Включая поездку в Европу, это составляет внушительные 4 месяца игры. Для меня такое было в новинку. Я выступил очень прилично: не то, чтобы сносил всех подряд, но выиграл пару кругов на разных турнирах, причём против весьма сильных соперников, и к тому времени, когда поступил в университет, был уже 21 в рейтинге. На турнире в Бостоне, за неделю до «US Open», я проиграл в третьем сете Коннорсу 5-7 – и начал подозревать, что, может быть, всего-навсего может быть, его можно победить.

Одним из самых приятных моментов того лета было то, что я проводил много времени с Питером Флемингом. В Порт-Вашингтон, когда между занятиями теннисом мы играли двухчасовые шахматные партии, Питер был моим “старшим братом”, которого у меня никогда не было. Сейчас же, когда мне исполнилось 18, а ему 22 разница в возрасте казалась несущественной: наше сходство было гораздо более значительным. Мы оба были большими фанатами спорта, нам нравилась одинаковая музыка и одни и те же группы: Пинк Флойд, Форинер, Стоунс. Мы оба получили строгое мещанское воспитание и наши родители имели на нас большие виды. И – я помню это по Порт-Вашингтон – у нас было очень схожее чувство юмора. Он называл меня тогда “младший”, так он называет меня и по сей день. Теперь, после того, как я стал знаменит, это приобрело несколько иной оттенок, но и сейчас звучит ласково.

В то лето мы с Питером сыграли одни и те же 3 турнира, в Ньюпорте, Цинциннати и Бостоне; и в эти три недели проводили почти все вечера вместе, просто попивая пиво и разговаривая. В присутствии настоящего друга чувствуешь себя не так одиноко в туре. Идея совместного выступления в паре тогда ещё не возникала. Каждый из нас играл с другими партнёрами: я, среди прочих, выступал в паре с южно-африканцем Берни Миттоном, а Питер, кажется, довольно много играл с Джином Майером.

Попытка описать, как создаётся хорошая пара, похожа на попытку описать, как образуется хороший брак: есть много вещей, которые кажутся очевидными, но решающую роль играют неуловимые факторы. В обоих случаях важнейшую роль играет химия. В парной игре, если этой химии нет, ошибки, которые неизбежно делает партнёр (просто потому, что в теннисе ошибаются все, даже на высшем уровне) всё больше и больше действуют вам на нервы, и наоборот. Будучи партнёрами на теннисном корте, вы оба должны уметь справляться с напряжением.

Самым ярким моментом моего первого «US Open» стал матч третьего круга против четвёртого сеяного Эдди Диббса.

Во время первого гейма мы слышали шум на трибунах, а парой минут позже судья объявил, что застрелен зритель. Застрелен! Эдди вскочил и сказал: “Меня тут нет”. Я не сильно от него отставал. Мы подождали какое-то время в сторонке, и кто-то сказал нам между

прочим, что объявление было ошибочным, и зритель был просто в шоке. Мы снова вышли играть, и я победил в равном матче со счётом 6-4 в третьем сете, и позже выяснилось, что первое сообщение судьи было верным. Кто-то выстрелил снаружи стадиона, и пуля попала зрителю в ногу!

В 1/16 Мануэль Орантес, чемпион 1975 года и блестящий грунтовый игрок, обыграл меня в двух сетах. Откровенно говоря, он преподавал мне идеальный урок грунтового тенниса. Может быть, подумал я, твёрдые корты в Стенфорде подходят мне больше?

В паре мы с Берни Миттоном проиграли упорный матч второго круга. К тому времени Питер и Джин Майер решили, что несмотря на множество хороших результатов, химии между ними как-то недостаточно, так что, выяснив за лето, что у нас много общего, мы с Питером решили попробовать играть в паре вместе.

Блестящего старта не получилось. Наш первый совместный матч в сентябре в Лос-Анджелесе мы проиграли Марти Ризену и Роско Таннеру. Я был совершенно опустошённым. После матча Питер спросил меня: "Ты нормально себя чувствовал? Я непонятно почему был каким-то уставшим".

Я ответил: "Поразительно, что ты это тоже заметил. Я тоже чувствовал себя уставшим, но мне было неловко, что я так устал в парном матче". И тогда мы поняли, в чём же была проблема: лос-анджелесский смог.

Это может звучать как мелочь, но в парной игре именно такие мелочи помогают или ломают вас. Контакт не возникает на корте просто так – вам действительно бывает нужно быть откровенным друг с другом (или одеть противогаз!).

Следующая неделя в Сан-Франциско была несколько лучше, и мы получили ещё один урок. В полуфинальном матче против Фреда МакНейра и Шервуда Стюарта нас засудили на важнейшем очке последнего сета. Это был один из тех розыгрышей, которые могут решить судьбу матча. И когда это очко по ошибке засчитали против нас, мы с Питером подошли к судье и сказали, что мы оба не можем играть. Мы были так подавлены, что фактически это был конец матча – мы просто не могли продолжать, после этого игра не стоила и выеденного яйца.

Питер всегда был вспыльчивым, особенно когда играл одиночку, я же тогда только начинал позволять себе порой выходить из себя. Однако, как он сказал мне позже, в этот день Питер понял, что он не должен больше позволять себе такого, во всяком случае, не в паре. Нельзя, чтобы на корте одновременно находились два "вольных стрелка": один должен быть эмоциональным якорем. И в этот день Питер решил, что, похоже, таким якорем должен стать он.

В сентябре в Сан-Франциско произошёл ещё один поучительный эпизод: я играл с Клифом Ричи, одной из самых ярких личностей 60-70 годов, бывшим героем Кубка Дэвиса. Клиф действительно был прекрасным теннисистом и к тому же никогда не стеснялся в любое время, при любых обстоятельствах прямо высказать любому человеку своё мнение. Поскольку предыдущий матч затянулся, мы начали играть примерно в половине двенадцатого ночи, матч по ходу дела перешёл в третий сет, времени было примерно половина второго ночи, и на десятитысячных трибунах «Коу Пэлас» (*Cow Palace*) оставалось человек 50 зрителей.

Я не буду вам врать – во время матча я много скулил и стонал по поводу решений лайнсменов. Я знаю, что для вас это не сюрприз, но на самом деле, раньше я действительно не был таким, особенно в бытность юниором. Стало сказываться изматывающее напряжение того лета. Я думаю ещё, что ощущалась эмоциональная нагрузка от одиночных выступлений в профессиональном туре.

У профессионалов было принято оспаривать решения судей, а я начал понемногу осознавать открывающиеся возможности, но, если

честно, в тот вечер я, скорее всего, несколько перегнул палку. Клиф Ричи, несомненно, так и думал. После того, как я в очередной раз устроил разборки, он остановил игру, положил руки на бедра и обратился к пятидесяти человекам на трибунах.

“Я был профессиональным теннисистом в течение десяти лет, первым номером в Соединённых Штатах, и отказываюсь сидеть сложа руки и молча смотреть на то, что творит этот пацан”, – заявил он, а затем продолжил в течение пяти минут говорить о том, каким позором для тенниса я являюсь.

Я в конечном итоге выиграл матч, но мне было невероятно стыдно – и поделом. Я был полностью измотан и натянут как струна: мне нужно было пойти учиться и отдохнуть от тура. Я получил в тот вечер наглядный урок, но этот урок, когда наваливалась усталость, я в последующие годы периодически забывал.

Из Сан-Франциско было рукой подать до «Стэнфорда», моей следующей и последней остановки в туре летом 77-го года. Это была длинная и успешная гонка. Парадокс того лета, однако, был в том, что я играл достаточно, чтобы подготовиться к новым временам, но по ощущениям это был перебор. К тому времени, когда в конце сентября я добрался до «Стэнфорда», я уже видеть не мог теннисных кортов.

Всё-таки тренер Гоулд был великим человеком.

На первом заседании группы он сказал: “Я знаю, что некоторые из вас, ребята, играли много, просто возвращайтесь тогда, когда будете готовы”. И поэтому я не тренировался с 1 октября по 13 декабря и Дик, никогда не сказал об этом ни слова. Единственная причина, по которой я снова начал тренироваться в декабре, состояла в том, что мне надо было подготовиться к турниру на Багамах, который проводил мой друг Джин Скотт!

Я провёл в «Стэнфорде» всего один год, но поехать туда было одним из лучших решений в моей жизни. Это позволило мне побыть среди умных людей, и это заставило меня стать более ответственным. Я стал настоящим командным игроком, как раз таким, каким я всегда хотел быть: я должен был попытаться вписаться в команду, а не только быть звездой. В то же время, так как я был номером один в команде, я все время испытывал давление, считая себя обязанным выигрывать все свои матчи.

Однако атмосфера не могла быть более благоприятной. Мой близкий друг из «Порт-Вашингтон», Питер Реннерт, был там, были и другие члены команды: среди прочих, Джим-Ходжес, Билл Мэйз, Мэтт Митчелл, Джон Раст, и Перри Райт, отличные ребята. Билл, старше меня и игрок номер два, был в тот стэнфордский год моим партнёром в паре, и он стал моим другом.

Признаюсь честно – учёба никогда не была моей сильной стороной. Первой моей ошибкой стало то, что я последовал рекомендациям моего куратора и выбрал антропологию, экономику и математический анализ (м-да...). К середине первого семестра у меня с этими предметами уже начались проблемы.

Я подумал: “Надо узнать какие курсы берут спортсмены” и поспрашивал парочку футболистов и несколько ветеранов из университетской теннисной команды, так что во втором семестре дела пошли намного лучше. Я попытался серьёзно изучать курс «Парапсихология и Физические Явления», но не смог. На курсе «Сон, нарколепсия и политика» я получил высший бал, сыграв благотворительный выставочный теннисный матч. Самым памятным оказался курс по литературоведческой экспозиции. Учитель зашёл, посмотрел на нас минут пятнадцать, не произнес ни слова – мне казалось, что прошла вечность – и наконец произнёс: “Думаю, что вы хотите узнать какие требования предъявляются к этому курсу. Не будет ни контрольной в середине семестра, ни экзамена в конце, ни заданий по ходу семестра. Теперь мы готовы начать”.

Вот это было по мне!

Тем временем проводились ещё и оздоровительные мероприятия – ещё одна важная часть студенческой жизни. Были вечеринки и поездки. Среди них была поездка с моим новым другом Дагом Саймоном домой к его бабушке на Карбон Бич в Малибу – всего на три дома севернее того дома, который я куплю через семь лет. Дедушку Дага звали Нортон Саймон, он был большим коллекционером предметов искусства, и его дом был поистине великолепен – полон картин Пикассо и Матисса среди прочих; впечатлял и вид на Тихий океан. Это было моё второе знакомство с большим искусством, и первое с Малибу, и оба начали меня потихоньку цеплять. Никогда не забуду свою первую поездку с теннисной сборной Стэнфорда в Мэдисон, штат Висконсин в феврале 78-го. На эту поездку пришёлся день рождения Билла Мейза и мы дружной толпой поехали в бар в поисках Билла, чтобы всем вместе отпраздновать. Это было как сцена из фильма – мы подъехали и внезапно из бара вышвырнули Билла за то, что он плеснул пиво в лицо местному вышибале и все в баре его преследовали. Мы закричали: “Эй, Вилли!” и он нырнул в автомобиль.

Мы гуляли допоздна. В общежитии где мы разместились были санки и отличная горка прямо рядом и большая гулянка. Мы пили и ещё кое-чем занимались, и снаружи и внутри, и не особенно тихо! Наконец, пришёл Дик Гоулд – было наверное часа три или четыре ночи, а нашим матч был назначен на 11 утра – и сказал: “Эй, ребята, нельзя ли потише?”. И ушёл. И на этом всё.

Мог ли Дик не заметить, что наша комната была – скажем так – в пикантном состоянии? Может он заметил, может и нет. Помню только, что я думал: “Да ради такого тренера я буду землю грызть”.

Это был как раз мой тип тренера.

Мы победили в том матче в «Мэдисоне», как и во всех других встречах в тот победный год в Стэнфорде.

Самым интересным получился выездной матч в апреле, против очень сильной команды «UCLA». Трибуны были забиты до отказа, люди буквально висели на деревьях, откуда был хороший обзор.

Все поединки в том матче, включая мою победу над Элиотом Телтшером (после того как я отыграл матч-бол), были хорошими по качеству игры и упорными. Это было прекрасное соревнование, я радовался, что играю в команде, и это было ещё одно подтверждение правильности решения провести год в университете.

Команда-то всегда побеждала, но “Мистер первая ракетка” нет: я проиграл два одиночных матча, один из них, постыдное поражение от Эдди Эдвардса из университета Пеппердайн, который меня полностью переиграл в присутствии своих зрителей. Тренер Гоулд позвал меня в последнюю минуту. В другом я проиграл с высокой температурой Ларри Готтфриду, который теперь учился в Тринити, но – оправдания, оправдания! На самом деле груз ожиданий от моего статуса первой ракетки очень пригодился при подготовке к переходу в профессионалы.

Вплоть до «Уимблдона-77» я не чувствовал в себе достаточно сил для игры в стиле “подача – выход к сетке”. Я вырос (возможно просто стал стоять ровнее) и вес и сила ног стали играть на меня. Навылет я подавал немного, но подача была “по месту”, так что я мог закончить розыгрыш одним ударом с лёта, или двумя-тремя – сколько понадобится.

Тогда – на «Уимблдоне» 1977 года – впервые всё это заработало вместе. Мой стиль игры был очень эффективен – короткий замах,



без лишних затрат энергии, не полагаясь на случай. Я верил, что моя быстрота, чувство мяча и координация были лучше чем у любого игрока на задней линии. Соответственно, играя в своём стиле, я мог их побеждать.

Моя игра “подача – выход к сетке” ещё больше развилась в «Стэнфорде», потому что впервые в жизни, я играл только на харде. Внезапно я увидел, что стиль “подача – выход к сетке” – самый подходящий. Мало кто может припомнить, каким был грунтовый теннис середины 70-х. Помните Виласа во время его невероятной серии в 77-м когда он играл все эти нудные, бесконечные розыгрыши? Я думал, что это было не особенно интересно. Как только я обнаружил в себе способность выходить к сетке и завершать такие розыгрыши, я стал думать: “Грунтовый теннис больше подходит для птиц – существует лучший способ добывать себе пропитание”.

И то, что я хорошо играл с лёта, часто было ни к чему на грунте. «Уимблдон» – другое дело. Борг был не особенно хорош в игре с лёта, но всё же выиграл «Уимблдон» пять раз подряд. На траве неудачный удар ободом или краем ракетки может обернуться удивительно эффективным укороченным ударом с лёта, так что моя теория теперь гласила: “Выходи ближе к сетке!”

Но я действительно мог играть с лёта, что помогало мне на «Уимблдоне» и на быстром харде Стэнфорда. Стабильный, крепкий удар с лёта на харде даже более важен чем на траве. Но проблема заключалась в том, что этот самый хард не совсем подходил моему сложению. Уже на первом году учёбы в университете я почувствовал боль в спине. Точнее в пояснице. Возможно причиной тому было то, что я недостаточно много времени уделял растяжкам, Возможно сказывалось и эмоциональное напряжение – чаще всего последнее оно отзывалось болью именно в спине. Я понимал, что сам себя загоняю, потому что ещё до окончания учёбы собирался перейти в профессионалы (я сыграл, будучи ещё любителем, в том году на четырёх профессиональных турнирах и поднялся в рейтинге с 21 на 18 место). И мне казалось, что я должен, чтобы переход прошёл на позитивной ноте, выиграть Национальный студенческий чемпионат в Афинах, штат Джорджия, в мае.

Победа в том турнире много для меня значила. Насколько я знал, мало, кто плохо выступал в больших матчах в юниорах и затем вдруг делал блестящую профессиональную карьеру. Элиот Телтшер был исключением – он проиграл во втором круге студенческого чемпионата, а затем вошёл в первую десятку в профессионалах – но я для себя такого не хотел. Я был первым в студенческом рейтинге и наша команда была непобедима. Я хотел выиграть и уйти на коне. Любой другой результат был бы просто смехотворным.

На этом соревновании я провёл много матчей. Турнир продолжался девять дней: сначала четыре дня командных соревнований, затем пять дней личных. За первые четыре дня я сыграл четыре одиночных и столько же парных матчей, а потом в последующие пять дней шесть одиночек и ещё четыре матча в паре.

В полуфинале личного турнира, который я играл против своего друга и партнёра по паре Билла Мэйза, меня одолевали смешанные чувства и эмоции, в чём-то схожие с теми, которые омрачили дружбу между Питером Флемингом и мною. Я очень хотел выиграть и вышел на матч в бескомпромиссном (“пленных не брать!”, “победа любой ценой!”) настроении. В том матче было несколько спорных судейских решений не в мою пользу и я смотрел на Билла тем самым взглядом, который так хорошо известен игрокам, типа “и ты спокойно согласишься с этим очком в твою пользу?”. Потом я был страшно зол на себя – чувствовал, что нанёс урон нашей дружбе. Но не мог скрыть своей радости от победы.

Никогда не забуду сцены перед финальным матчем. Мой соперник, Джон Садри из государственного университета штата Северной Каролины (не особенно теннисного места), вышел на корт, одетый в синий свитер, белые теннисные туфли и гигантского размера шляпу! Южане зашлись от восторга.

Болельщики – жители Афин и специально привезённая группа поддержки из Северной Каролины – за редким исключением поддерживали Садри, за меня были только тренер Гоулд и Питер Реннерт. Но это было неважно. Буйство на трибунах только меня раззадорило. Я был настроен не проиграть в финале.

Хорошо, что у меня был такой настрой. Садри подавал как никто другой и матч был настолько упорный насколько это возможно: 7-6, 7-6, 5-7, 7-6. Когда я выиграл последнее очко, то мне показалось, что я могу летать.

Единственным негативным моментом в том финале – частично из-за того, что я провёл много матчей, и частично из-за накопившегося стресса – было то, что мне пришлось обратиться за помощью массажиста, опять же из-за спины. Он велел мне лечь плашмя и подтянул мне колени к груди. Когда прошла эйфория от победы, у меня сильно болела спина.

Потом говорили, что другой полуфинал, Борг против Герулайтиса, был одним из величайших матчей всех времён (Борг победил в пяти равных сетах и потом выиграл свой второй Уимблдонский трофей). Я этого не видел. Пришлось играть четвертьфинал в миксте ровно в то время, на внешнем корте, со зрительской аудиторией примерно в четыре человека. Всё что я мог, так это только слышать рёв трибун на Центральном корте.

Мы с Мэри играли против Мартины Навратиловой и Денниса Ральстона.

На тот момент мы были непобедимы: победа на «Ролан Гаррос» и четвертьфинал «Уимблдона». Но когда дело дошло до счёта 8-8 в третьем сете, Мэри у сетки и я на приёме и Навратилова на подаче, я допустил ошибку, попытавшись “свечкой” перекинуть Ральстона. “Свечка” вышла плохой и Ральстон буквально пригвоздил Мэри к корту. Я кипел от возмущения: неписанным правилом в миксте было то, что мужики не лупят со всей дури в женщин. В этом совершенно не было необходимости. По сей день я не могу простить Ральстона, потому что уверен, что он поступил так специально и мог бы сыграть куда угодно ещё.

Мэри полностью потеряла самообладание. Когда мы менялись сторонами при счёте 9-8 я спросил: “Мэри, с тобой всё в порядке?”. Она ответила: “Да, всё в порядке” и по её щекам текли слёзы. Я хотел убить того парня. И мы проиграли. Мэри была в таком шоке, что с трудом могла подавать в следующем гейме и это был конец. Я испытывал отвращение от мысли, что Ральстон сделал такое. Это было начало конца моих выступлений в миксте. Спасибо, Деннис!

Мой друг Даг Сапуто встретил меня, когда я вернулся с «Уимблдона». Мы поехали ко мне домой, украли пиво из холодильника, пошли в мою комнату и слушали там Джоан Джетт... Мы делали это до того много раз, но теперь всё было совершенно по-другому. Может Даг стал другим, может я – не знаю.

Это было странное чувство – поначалу после возвращения я себя чувствовал точно так же как и раньше. Я мог поиграть со своими друзьями в баскетбол перед домом или в пинг-понг в гараже, потусоваться с ними на кухне у родителей, закусывая претцелями «Мистер Солти» и запивая их молоком. Но с момента возвращения люди в моём окружении не давали мне себя чувствовать по-старому (или мне так казалось). Внезапно я стал кем-то, а они всё ещё были никем, каким и я был раньше. Какой-то части меня нравилось быть неизвестным, но другая часть очень хотела быть знаменитостью. Теперь не было пути назад.

Мои друзья не знали, что с этим делать, и я тоже не знал.

Я не мог дождаться, чтобы позвонить Стэйси. Я только что пережил один из величайших моментов в жизни и мне хотелось поделиться им с ней. Я позвонил и выпалил: “Стэйси, я вышел в полуфинал «Уимблдона»...”, а она ответила: “Мой отец умер несколько дней назад”.

Я онемел. Она не говорила мне как сильно он был болен – может быть надеялась, что её папа как-нибудь выкарабкается. Теперь я понял, почему ей пришлось так рано уехать из Парижа. Я чувствовал себя ужасно – мне было невероятно хорошо, а в её жизни была такая беда. В такой момент невозможно ничем поделиться. Можно только сказать: “Мне очень жаль”. Такое моментально расставляет всё по местам.

Я перешёл в профессионалы на турнире в Квинс Клуб в следующем месяце, июне 1978 года. По иронии судьбы в своём первом матче в новом статусе я играл против Питера Флеминга. Я почти проиграл его, но потом всё же сумел выиграть в трёх упорных сетах. Питер был великодушен, когда по окончании матча мы пожали друг другу руку у сетки – ведь мы были друзьями. Я добрался до финала, в котором проиграл Тони Роше – думаю, это был последний победный турнир великого австралийца на закате его карьеры.

Потом я проиграл в первом круге «Уимблдона» – вот так-то. Я дошёл до полуфинала в 77-м и вылетел в первом же круге в 78-м. Думаю, что это, безусловно, было связано со спиной, хотя, надо отдать должное Эрику Ван Диллену – он провёл отличный матч. (Видите, я это признал) Я носил специальный пояс, который грел спину – я надевал его и мне было слишком жарко, снимал – и было слишком холодно. Однако мы с Питером вышли в финал в паре (где проиграли Бобу Хьюитту и Фрю Макмиллану), так что не всё на «Уимблдоне» было так уж плохо.

И всё же это был знак. Начиная с начала лета я как-то обходился, ничего особо не предпринимая. Но, по правде сказать, результаты были посредственные. Я с трудом выходил даже в четвертьфиналы, не обыгрывая ведущих игроков, проигрывая игрокам уровня Харольда Соломона и Эдди Дибса на грунте. (Ничего обидного не хочу сказать в адрес Харольда и Эдди – с ними было трудно играть на земле. Они были известны под прозвищем Близнецы Бейгл, потому что оба были невысокие, еврейской внешности и оба из Майами, хотя Эдди и был родом из Ливана). Короче, я выигрывал матчи, но не турниры, укрепляясь на 15 месте рейтинга, но не более того. Мне казалось, что я слегка притормаживаю с выходом на большую сцену.

Я знал, что способен на большее.

В соответствии со своим рейтингом я был посеян под 15 номером на «US Open-1978». Поясница всё ещё давала о себе знать? и этому была своя причина – по сей день не понимаю почему – я решил подавать стоя к корту боком. Тут же почувствовал разницу. Это меня раскрепостило и сняло боль. По правде сказать, сам не знаю почему, но я и не хотел знать. Просто думал, что сейчас ощущение правильное.

И вот, что ещё я заметил. Не только проблемы со спиной стали существенно лучше, но и соперникам стало труднее «читать» мою подачу. Из-за того, что я тогда был молод и гибок, вес тела выносил меня в корт (и сейчас на подаче я порой делаю тоже самое – подпрыгиваю, бью, и, пританцовывая, вхожу в корт. Тогда же я буквально влетал). Неожиданно я стал оказываться у сетки быстрее, чем раньше, играя с лёта значительно чаще.

Подачей боком я убил сразу двух зайцев. Все недоумевали: “Что он там делает?”, потому что никто больше так не подавал.

Я стал себя чувствовать значительно лучше и, что важно, мои результаты стали тоже улучшаться.

Надо отдать должное Тони Палаfoxу – он полностью принял новый стиль подачи. Тони всегда отличался вдумчивым и любознательным подходом к теннису и поддерживал меня абсолютно во всём. Ни разу он не попытался отговорить меня от перемены стиля – напротив, он понял новую подачу сам и помог мне её улучшить!

Он стоял к корту боком и когда я его спрашивал: “Почему подача в левый квадрат недостаточно широка?” Тони думал несколько

секунд, а потом отвечал: “Для такой выбивающей подачи ты должен сделать такое же движение кистью руки как будто бросаешь нож”.

Я записал этот совет на карточке. С самого начала карьеры и по сей день, я записывал подобные советы: “Не опускай голову во время подачи”, “Не торопись раскрываться при выполнении бэкхенда”. Я держал эти карточки в теннисной сумке. Во время пауз в матче я концентрировался, глядя на эти карточки. И когда, в течение моей карьеры, что-то не клеилось в моей игре, я звонил Тони, и он всегда объяснял, что я должен делать по-другому, спокойно, как и Бьорн, в то время как я сходил с ума.

Я поменял подачу на ранней стадии чемпионата и это немедленно принесло свои плоды. В итоге в полуфинале я проиграл Коннорсу – Джимми всё-таки оставался Джимми, я так и не мог его обыграть и в тот день он уверенно меня обыграл. Уже в следующий вечер я отправился в Чили играть свой первый в жизни матч Кубка Дэвиса.

Тони Траберт, капитан команды, позвонил мне за пару недель до этого и поинтересовался как я отношусь к тому, чтобы сыграть в парном разряде с Брайаном Готтфридом.

Я не колебался ни секунды и вот почему. Парадоксально, но в то время как этот период был расцветом для тенниса, интерес в Соединённых Штатах к Кубку Дэвиса был напротив на спаде – мы последний раз играли в финале в 1973 году и проиграли Австралии. Во многом отсутствие успехов объяснялось безразличием Джимми Коннора к Кубку. Мне кажется, что он как и многие игроки – выходцы из рабочего класса, выбрался на свет из неизвестности и не хотел подставляться если ему это не сулило прямой выгоды. Он никогда особенно не распространялся на эту тему, но мне казалось, что там, где платили мало, Джимми было неинтересно. И за 2000 долларов в неделю в одиночке (деньги шли и до сих пор идут из выручки за «US Open») ему было неинтересно напрягаться в Кубке Дэвиса.



Джимми был одним из самых вопиющих примеров такого отношения. Были и другие известные игроки, придерживающиеся сходных взглядов. Деньги, крутившиеся в профессиональном теннисе, были слишком велики, чтобы рисковать своим временем и энергией (или травмами) играя, в по сути, любительском соревновании, пережитке старых добрых (или не очень) времён в теннисе.

Но у меня в семье так не считали. Родители под влиянием Гарри Хопмана всегда говорили о том, какая это большая честь выступать за честь своей страны. Мне кажется, что для них это было более важно, чем «Уимблдон» или «US Open».

Они взяли с меня обещание, что если мне предложат играть, то я соглашусь, так что когда Тони позвонил, а у меня нет никаких иллюзий, что мне он позвонил после отказа ведущих игроков, я спросил: “Куда приходиться?”

Оказалось, что в Сантьяго. и я полетел туда, чтобы присоединиться к небольшой команде Траберта, включавшей в себя Харольда Соломона, Брайана Готтфрида, Ларри Готтфрида, вашего покорного слугу, спарринг-партнёра Вана Виницки, отличного

массажиста, который был ещё и по совместительству прекрасным командным доктором Билла Норриса, доктора Омара Фаррида и Джо Каррико, бывшего в то время президентом Теннисной ассоциации США. Это была небольшая группа в неблагоприятные для Кубка годы. В наши дни с командой США ездит не меньше двадцати человек. И мы были молоды: трём из пяти (Ван, Ларри и я) было всего по девятнадцать лет!

Матч не обещал быть лёгкой прогулкой. Команда Чили два года назад играла в финале, в её составе был игрок первой двадцатки Ганс Гильдмайстер, и у них был серьёзный шанс на победу на домашних кортах. Южноамериканцы начали достаточно сильно и на момент нашего с Брайаном выхода на ключевой парный матч против Патрика Корнехо и Белуса Праху счёт был 1-1.

Мы с Брайаном почти не тренировались вместе. Перед матчем я сказал ему примерно следующее: “Ты будешь играть слева, а я справа”. Я почти никогда до этого не играл справа в паре. Отчасти из-за того, что когда я играл форхендом влево на приёме это уменьшало эффективность подачи на границу корта на этой стороне.

На бумаге мы были явными фаворитами против Корнехо и Праху, но в Кубке Дэвиса поддержка зрителей может сыграть решающую роль. Так и получилось в этом матче. Мы должны были победить в трёх сетах, но вместо этого пришлось сыграть все четыре. И всё же мы с Брайаном ушли с корта победителями, внося свой вклад в итоговую победу США со счётом 4-1.

В 19 лет и 7 месяцев я стал одним из самых молодых американцев, выступавших на Кубке Дэвиса и после нашей командной победы впервые за долгое время я почувствовал интерес к себе со стороны прессы. Я был очень горд результатами той поездки, почти так же горд как папа с мамой.

Должен ещё заметить, что на той неделе, посередине ночи, в Сантьяго было ощутимое землетрясение. Я проспал и не заметил. До того как я стал отцом на сон жаловаться не приходилось!

И затем, не знаю, как сказать по-другому, как будто произошёл взрыв. Внезапно я как будто бы нащупал свой ритм. Я победил в двух следующих турнирах по возвращению из Чили: в Хартфорде (в финале я победил Йохана Крика) и Сан-Франциско (победил Дика Стоктона, несмотря на то что в предыдущую ночь попал в пугающую автокатастрофу; когда директор турнира Барри Маккей узнал, что я попал в аварию, и что машина была полностью разбита, он спросил: “Но ты ведь будешь играть в финале, правда?”).

Я потом ещё выиграю в том сезоне четыре турнира в помещении. И всё же я пока не обыгрывал никакого из гигантов игры. И затем наступил черёд Стокгольма.

Впервые я увидел Борга когда был бол-боем на матче с его участием.

Это было на «Форест Хиллс», «US Open» 71-го или 72-го года. Ему тогда было пятнадцать или шестнадцать, мне двенадцать или тринадцать. Мне казалось, что он выглядит невероятно хорошо – длинные волосы, бандана, растительность на лице от того, что он перестал брился пару недель.

И форма «Fila» – обтягивающая тенниска и короткие шорты... Я всё это обожал! Тогда я был готов променять всё на свете лишь бы добыть полосатую рубашку «Fila», куртку – это было круто (кстати, как-то я обменял половину содержимого моего чемодана на куртка «Fila» – и она почти подошла!).

Я помню Виласа буквально выпирающего из своей формы... и Настасе. Они выглядели потрясающе. Мне кажется, качество теннисной формы в те дни было намного лучше. Мне кажется эти современные мешковатые тенниски и обувь просто ужасны и кроссовки, которые напоминают ракеты... лучше не заводится.

Но самое сильное впечатление на меня произвёл Борг. Мне он казался волшебным, как бог викингов вдруг непонятно как очутившийся на теннисном корте.

Вы видели интервью с ним. Он мало, что говорил – и на корте и вне его – но ему это и не было надо. То, как он выглядел – длинные,

загорелые ноги, широкие плечи – и то, как он играл, какие испускал флюиды – всего этого было более чем достаточно. Ещё до того как он в возрасте всего лишь пятнадцати лет победил на «Уимблдоне» вокруг него крутились сотни девушек: теннисные “группиз” как у «Битлз» и «Стоунз». Такого в теннисе не было ни до него ни после.

Некоторые сравнивают Сампраса с Боргом. По моему убеждению, так делать нельзя. Даже несмотря на то, что Пит – один из величайших игроков, может и самый великий игрок, всех времён, Борг одним присутствием привносил многое в игру. И его история тоже была невероятна: кто мог бы представить, что такой игрок появится в Швеции, стране с населением в восемь миллионов человек, с субарктическим климатом?

Он был лучшим атлетом из всех кого я когда-либо видел на теннисном корте – думаю, что никто не осознавал насколько хорошим атлетом он был. И на самом деле ему нужно было таким быть, потому что его игра заключалась в хаотичном бегании взад-вперёд далеко за задней линией, нанося удары пока не появлялся удобный угол или же соперник не промахивался.

Этот стиль “из стороны в сторону” был совершенно чужд моему “вперёд-вперёд-вперёд”, но Борг был настолько быстр, что всюду успевал. Даже сейчас, в 45 лет, он быстрее всех игроков, за редким исключением!

Наш первый матч – в полуфинале «Stockholm Open» в 78-ом году – был в идеальных для меня условиях, потому что проходил на быстрой плитке – да, да, плитке! – в закрытом помещении, что не очень подходило его стилю игры, особенно против меня. Я думаю, что он вдобавок испытывал дополнительное давление, играя против меня в своём родном городе, перед шведской публикой, которые полюбили игру именно из-за него.

На самом деле тот матч я выиграл довольно легко. Но что бы ни происходило, у Бьорна было замечательное качество – он никогда не выходил из себя. Мне кажется, на него вдобавок ещё и положительно влиял его тренер, Леннарт Бергелин, – замечательный человек. Бывало он заходил в здание аэропорта, таща с собой пятнадцать ракеток Борга и потя, но с широкой улыбкой на лице. У него был такой позитивный склад характера и он по-настоящему любил Бьорна (одно время я всерьёз рассматривал возможность совместной работы с Леннартом – оглядываясь назад, я жалею, о том, что не сложилось – но я так и не пошёл на это, боясь что Бьорну это не понравится).

Выигрыш в Стокгольме был для меня большой победой – я стал первым игроком, который обыграл Борга, будучи моложе его – но моё мнение о Бьорне осталось столь же высоким. Я просто почувствовал, что я встал в один ряд с лучшими игроками – и это была официальная коронация.

Помню как в тот вечер, обыграв Борга, я отправился на одну из тех умопопрамачительных дискотек, которые тогда бывали в Стокгольме. Всюду, куда глаз не кинь, были красивые девушки. В четыре или пять утра до меня вдруг дошло, что даже если я и достиг пока что вершины моей карьеры, мне надо сыграть ещё один матч.

Я запаниковал. Подумал: “Нельзя обыграть Борга и проиграть Тиму Галликсону!”. Хорошо, что в Швеции матчи не начинались раньше пяти вечера, так что я решил (я был молод!), что мне надо просто выйти и разобраться с ним за час, пока не дала о себе знать усталость. И действительно мне понадобился именно час. Я победил 6-2, 6-2.

Я закончил год на подъёме, четвёртым в мире, и вернулся сыграть финал Кубка Дэвиса против Англии в Ранчо Мираж, Калифорния. На этот раз я играл в одиночке и проиграл только десять геймов в шести сетах против Бастера Моттрама и Джона Ллойда. Я был счастлив, что помог США одержать победу в матче со счётом 4-1 и завоевать Кубок впервые с 1972 года.

Там меня опять спросили, не о победе в Кубке Дэвиса, а об отсутствии Джимми Коннора и нашем зарождающемся соперничестве.

Мой ответ, ставший одной из самых известных цитат, появился на обложке журнала «New-York Times» через пару недель: “Я пойду за ним на край земли”.

Я не шутил, но мне пришлось идти так далеко. В январе 1979 года на «Мастерсе» в «Мэдисон Сквер Гарденс» (*прим.ред.*– «*Madison Square Garden*» – универсальный спортивный комплекс) я впервые обыграл Коннорса, хоть он и не закончил матч. Я был впереди 7-5, 3-0, когда он снялся, сославшись на кровотокающую мозоль на ноге.

У него действительно был нарыв, но я всё равно чувствовал себя одураченным: понимал, что он просто не хотел дать мне ощущение, что я его обыграл (И ещё должен заметить, что хоть Джимми и сказал, что доктор велел ему взять перерыв на две недели, он сыграл в Филадельфии на следующей неделе – и выиграл!)

Уверен, что Джимми не нравился тот факт, что я его догоняю. Оглядываясь назад, я не могу его винить. Победы над ним значили для меня очень много, и в те дни «Мастерс» был очень значительным турниром: только восемь лучших одиночников мира + четыре лучших пары имели право на нём играть. Публика в «Гарден» была потрясающая – ощущалась атмосфера боксёрского матча за чемпионский пояс. Для меня побить Коннорса перед зрителями из своего родного города, в «Мэдисон Сквер Гарден», очень многое значило. По пути с корта я победно вскинул руки вверх, и зрители буквально взорвались от восторга.

В финале встретились 19-летний подающий надежды Макинрой и опытный 35-летний ветеран Артур Эш.

Так как «Мастерсы» проводились по круговой системе, я уже раз играл с Артуром, разгромив его 6-3, 6-1 в первом круге. Однако, к финалу он подготовился, а я, если честно признаться, был излишне самоуверен после того матча первого круга. Артур вышел на матч очень целеустремлённым и начал всячески сбивать темп резаными ударами, именно так он обыграл в 1975 году Коннорса в финале «Уимблдона». Медленный темп не выбил меня из колеи так же как Джимми, но расклад был уже другой. После того как мы выиграли по сету Артур повёл в третьем 4-1. Мне удалось сравнять счёт 4-4, но он взял свою подачу и повёл 5-4 и тут у него наладился приём моей подачи.

Что бы я ни делал, у него был ответ. Счёт стал 15-30, а затем 15-40 – и у него был двойной матч-пойнт. Мне удалось прижать его на бэкхенде, и он послал матч в сетку – 30-40, всё ещё матч-пойнт. И тут я вспомнил образ Тони Палафокса, кидающего нож, и подал широкую, выбивающую подачу на бэкхенд Артура. Артур прыгнул на неё и молнией выдал неберущийся приём...

И затем лайнсман, зафиксировал, что моя подача была в ауте. Артур опустил плечи – для него это было эквивалентом десятиминутной тирады. Он подошёл к судье на вышке и спросил, уверен ли тот, что был аут. “Высечник” кивнул. Я знаю, что Артур был не согласен с этим решением до конца своей жизни, но судья на вышке подтвердил его правильность. На моей второй подаче он пошёл на виннер форхендом, но промахнулся по длине. Ровно. Я удержал подачу и выиграл третий сет со счётом 7-5 и это был мой первый большой титул.

К тому же мы с Питером Флемингом выиграли в парном разряде, победив легендарную пару Стэна Смита и Боба Лутца.

Это был один из тех исторических моментов, значимость которых становится ясна только со временем. За очень короткий промежуток времени произошла ни больше, ни меньше как смена караула.

Я вышел на большую сцену во взрывоопасный период в профессиональном теннисе. Открытая Эра привлекла в игру сильные личности и личности привлекали внимание прессы, что в свою очередь привлекало ещё большие деньги. Там, где встречаются деньги и известность, зарождаются волнующие эмоции, но отнюдь не хорошее поведение. Хорошие манеры правят в более стабильных системах.

Я был захвачен нарастающим ажиотажем в профессиональном теннисе, в чём-то я сам был олицетворением этого ажиотажа, и да, моё поведение оставляло желать лучшего. Эту тему можно обсуждать долго. Поначалу, однако, всё зачастую было просто: неделю за неделей я достигал новых высот и когда вы так быстро поднимаетесь, да ещё и в таком юном возрасте, кислород не всегда доходит до мозга.

В то же время, должен сказать, у меня была ещё и своя идея. Я думал, что в теннисе и так слишком много манер.

Для меня “манеры” означали спящих лайнсмэн на «Уимблдоне» и пресмыкание перед богатыми с доставшимися по наследству титулам, которые не платят налоги.

Манеры означали теннисные клубы, которые требовали, чтобы вы одевались во всё белое и членство в которых слишком дорого стоило и которые не допускали в свои ряды чёрных и евреев и бог знает ещё кого. Манеры означали тишину на теннисных матчах, где всякого рода возбуждение не приветствовалось.

На первом моём матче Кубка Дэвиса в Чили я видел на трибунах зрителей, которые бы пришли к месту на матче Кубка Мира по соккеру.

Там было ритмичное скандирование, свободное выражение эмоций: если толпе не нравилось происходящее, то они бросали монеты и спинки от сидений. Я думал, что это шаг в правильном направлении.

Никто в Южной Америке, казалось, не считает теннис спортом для неженков.

Почему бы Северной Америке (и Англии) не пойти по тому же пути? Почему игра не может быть доступна рядовому человеку? Почему такого же отношения – и интереса – как бейсбол, баскетбол или футбол не получает теннис?

В конце 70-х казалось, что мы на верном пути. Личности, доминировавшие в теннисе не вписывались в рамки загородных клубов. Был Коннорс, которого научила играть его мама; Борг, просто невероятно, человек с харизмой рок-звезды, выходец из маленькой скандинавской страны; Вилас, носивший наручники военнопленных и писавший стихи; Герулайтис, шумный тип с внешностью рок-звезды и говоривший с нью-йоркским акцентом.

В то же время в начале 1979 года в теннис играло не так уж и много городских ребят. Главные турниры получали хорошие телерейтинги, но не такие как футбол или бейсбол. Считайте меня самонадеянным эгоистом (и вы будете не первыми!), но мне казалось, что я могу что-то изменить.

Отец всегда говорил мне: “Слушай, не надо орать – ты будешь тогда играть лучше. Просто играй, и ты победишь”.

Я никогда в этом полностью не был убеждён, а то бы, наверное, больше работал бы над собой. И, надо признаться, часто я мысленно отвечал отцу: “Ага. Откуда ты знаешь? Это ведь не ты играешь”.

Но всё же он, наверное, был прав – я, вероятно, выступал бы лучше если бы не терял самообладания. Если бы.

Часто забывают, какой воистину паршивый уровень судейства был в профессиональном теннисе в начале моей карьеры. Вот почему, слова родителей всё ещё звучат у меня в ушах – всегда говори правду, чего бы это ни стоило, я чувствовал, что (не смейтесь) я должен как-то это исправить. И вот ещё что. Важно разделять мою карьеру на два чётко выраженных периода: первые несколько лет я не употреблял ругательства в разговорах с судьёй на вышке или лайнсмэнами. Я много чего наговорил, но мне хотелось бы думать, что всё это было цензурно. Я избегал грязных слов.

Затем, в какой-то момент я перешёл эту линию. На это были причины – причины, а не оправдания – и я поговорю о них попозже. Но вот в чём суть: как только я начал перегибать, меня надо было дисквалифицировать.

На самом деле меня дисквалифицировали только дважды за всю карьеру – и один из них за то, что я опоздал на парный матч.

Я не пытаюсь свалить на кого-то другого всю вину, но по дороге на вершину я заметил, что чем лучше я играл и чем больше денег получал (к тому же больше денег получали от продажи билетов и прав на телетрансляции и организаторы турниров), тем больше линейные судьи, судьи на вышке, главные судьи и сами организаторы турниров мирились с моим поведением. Чем больше доходы профессионального тенниса зависели от меня, тем больше когда я выходил на корт всё, казалось бы, было у меня под контролем.

Не считая тех моментов, когда всё выходило из под контроля.

Всегда считалось, что я могу улучшить свою игру, если рассержусь. До определённой степени это так. Иногда когда я был зол я мог подавать навывлет. Иногда, наоборот, это сбивало меня с ритма как любого другого. Часто это меня ломало.

Я слышал, что считалось, что я это делал умышленно, то есть я срывался, чтобы сбить соперника с ритма. Это неправда. Я всегда считал, что если ты не можешь пережить мои вспышки, то тебе нечего делать в этой профессии. Во-первых, останавливая матч, я в основном вредил самому себе. Во-вторых, если моё несогласие с решением судьи настолько долго насколько это позволял “вышечник”, сбивало соперника с ритма, я просто думал примерно так: “Что ж поделаешь. Это не розыгрыши очков. Если тебя напрягают мои споры, то ты позволяешь воздействовать на себя психологически. Часть твоей работы состоит в том, чтобы такого не допускать”.

Некоторые игроки в туре решили, что я просто не в своём уме – они как-то странно на меня смотрели и по этим взглядам я понимал, что они обо мне думают. Других это, напротив, раздражало. Как-то, играя пару, я стал задирать Хэнка Файстера и Виктора Амайю и Файстер сказал: “После матча я с тобой разберусь”. Дело в том, что рост Файстера 190 см, а Виктора Амайю – под два метра! Я понял, что выбрал неподходящих объектов для своих словесных упражнений.

Но обычно в теннисе всё же преобладает здравый смысл. Редко когда можно услышать о настоящей драке на корте или в раздевалке. Пару раз я видел разного рода тычки и толчки, но не могу припомнить ни одну настоящую кулачную драку. Это не хоккей, где такое в порядке вещей.

В теннисе основная опасность исходит от болельщиков.

Возможно вы и не помните Боба Хьюитта, парного игрока из Южной Африки, но – до начала моей карьеры – он был известен как теннисист с самым плохим характером. Он к тому же длительное время был одним из лучших парных игроков мира.

После того как Хьюитт и Фрю Макмиллан победили нас с Питером Флемингом в финале «Уимблдона-1978» мы с Питером пару недель не встречались. Он как раз познакомился и влюбился в Дженнифер Хадсон, английскую девушку, на которой он в итоге и женился. В результате я играл с разными партнёрами и, когда Макмиллан решил недельку отдохнуть, Хьюитт пригласил меня сыграть с ним на турнире в Бостоне, в «Лонгвуд Крикет Клуб» (*Longwood Cricket Club*).

В четвертьфинале мы играли против Виктора Печчи и Балаша Тарочи и Хьюитт был в своей лучшей – или, наверное, мне следует сказать, худшей – форме. Он срывался после каждого судейского решения, орал на всех подряд, и я не мог вставить не единого слова, даже если бы и хотел. Я всё больше и больше заводился – в то время Хьюитт был первым в мире парным игроком, а я только начинающим юнцом, поэтому я хотел себя показать. Я начал ломаться.

Мы проиграли тот матч 7-9 в третьем сете и после матча, какая то женщина продолжала медленно хлопать. Всё хлопает и хлопает. Это мне действовало на нервы. Но она не прекращала хлопать, казалось, часами.

На протяжении всего матча пока Хьюитт психовал, я просто стоял и смотрел. Но теперь я не выдержал. Я подошёл к этой женщине, плюнул ей под ноги и сказал ей предельно ясно, что я думаю по поводу её действий. Она ответила, что я не имею права так с ней разговаривать. И потом её муж – мужчина средних лет (вероятно того же возраста, что и я сейчас) – встал на защиту жены.

Он подло ударил меня в живот. Я был так взвинчен, что едва почувствовал удар. Схватил его за шею и готов был уже повалить на пол! Вокруг стала собираться толпа и мне советовали остановиться. И я колебался – до меня вдруг дошло, что если я ударю этого типа, то меня дисквалифицируют.

Наш матч был на внешнем корте. Телевизионщики снимали одиночный матч на главном корте и, заслышав шум, поспешили сюда и стали интервьюировать Хьюитта. И первое, что он сказал было: “Макинрой подрался, а я тут не при чём”. Ага, если бы! И, конечно же, мои родители смотрели эту трансляцию.

Они позвонили: “Джон, с тобой всё в порядке?”. Я сказал: “Со мной всё нормально; какой-то старый козёл меня ударил”. Конечно же мне пришлось выкручиваться из этой ситуации и – видимо из-за того, что я кроме того плевка ничего не сделал – я сошёл с крючка. Но это было очень неприятно.

Так что, возможно, Хьюитт передал мне эстафету.

В этой шутке есть доля шутки.

Коннорс всегда умел включать и отключать своё раздражение, что меня поражало. У меня злость шла по нарастающей.

Тысячу раз в напряжённых ситуациях я готов был отшутиться и вместо этого срывался.

Потом думал: “Ну и зачем я это сделал?”. По сей день мне это непонятно. Чем-то это объясняется страхом, что я могу потерять преимущество если начну шутить. Но это вовсе не факт и Коннорс был живым доказательством того, что можно разрядить ситуацию с помощью юмора.

Меня воспитали так, что я должен быть очень серьёзен, полностью сконцентрирован. Шутить в ответственном теннисном матче означало бы принижать его значимость. Это показывало бы, что я не боролся, не был настоящим спортсменом. Походило бы на профессиональный рестлинг (*прим.ред.– Постановочные бои без правил с элементами шоу*).

Я этому сильно завидовал. Самым большим разочарованием для меня – даже большим чем поражение в 84-ом на «Ролан Гаррос» – было то, что я никогда не мог подставить другую щёку или вернуть меткое словечко, чтобы разрядить обстановку. Мне надо было бы получать больше удовольствия от того, чем я занимался. В конечном итоге, думаю, дело было в том, что я не так уж и любил соревновательный теннис. Я слишком боялся проиграть.

Выйти в финал «Уимблдона», чтобы сразиться там с Бьорном Боргом – это потрясающе. Это бесценно. Но путь к финалу никогда не был приятен. Первый круг, второй круг, играть с теми, кого ты должен обыгрывать. Давление ожиданий – в том числе и собственных – было гигантским.

Возможно, поэтому у меня никогда не было тренировок с Боргом – на корте или вне его (*прим.ред.– Борг старше на 3 года*). Он думал, что я слегка чокнутый, но его это вроде бы не напрягало. Мне казалось, что он даже в чём-то себе изменяет, чтобы показать мне своё

уважение.

Когда мы играли во второй или третий раз, вначале 1979 года в Новом Орлеане, счёт был по пяти в третьем сете, и когда я стал заводиться и съезжать с катушек, Бьорн знаком подозвал меня к сетке. Я подумал: “О, Боже, что он собирается сделать? Сказать мне, что я последний подонок?”. А он обнял меня за плечи и сказал: “Всё нормально. Просто расслабься”. И это при счёте 5-5 в третьем сете! Но его вся эта ситуация просто забавляла. “Всё нормально”, – сказал он. “Это отличный матч”.

И я почувствовал себя кем-то значимым. Он не считал, что я делаю что-то, чтобы вывести его из себя. Это была моя личная дурь.

К тому же – и возможно это было самое главное – он всё ещё был первой ракеткой.

Глава 5

Первое, что встаёт у меня перед глазами, когда я вспоминаю Витаса, – это его волосы, длинные и светлые – в точности, как у Борга, только Витас никогда не носил бандану.

Он явно подражал Боргу, но никогда не казался мне хуже из-за этого, потому что, во-первых, он отлично выглядел и при этом мог бы легко отказаться от своей причёски, а во-вторых, индивидуальность Витаса далеко не ограничивалась внешностью. Странно – его то и дело путали с Боргом, но он как будто этого не замечал. Это точно не мешало ему в жизни.

Я узнал о Витасе вскоре после того, как стал играть в «Порт-Вашингтоне». Я был в комнате отдыха и глазел вниз на корты, где он бегал своими кроличьими шагами. Гарри Хопман всегда восхищался работоспособностью Витаса, и не зря: он все время тренировался и мог бегать целый день.

В «Порт-Вашингтоне» было много сильных игроков, но по напористости, таланту и харизме Витас определённо был звездой. Даже вначале, когда часто шутили: “Витас Герулайтис – что это, название болезни?”, – казалось, что он станет невероятно знаменитым.

Я обожал его, как ненормальный, но когда мне было четырнадцать или пятнадцать, он не замечал меня – да и с какой стати? Он уже был “Бродвейский Витас”, который выходил в свет с такими, как Шерил Тигс! Зачем ему было обращать внимание на пятнадцатилетнего надоеду? Он отмахивался от меня, что, понятно, делало его ещё более притягательным.

Ещё когда он был юниором, о нем ходили слухи: он был с такой-то женщиной, играл на турнире под воздействием такого-то наркотика. Я удивлялся, как он, черт возьми, умудряется всюду успевать? Однако было незаметно, что на корте это как-то влияло на него. Энергии в нём было невероятно много.

В первый раз я попал в поле зрения Витаса, когда мне было семнадцать лет, и мы играли благотворительный матч в «Фелт Форуме» (*Felt Forum*), «Мэдисон Сквер Гарден». Помогал в организации матча Ричард Вайсман. Я тогда первый раз повстречался с Ричардом, который потом занял важное место в моей жизни. Это была обычная встреча новичка с супер-звездой. В тот вечер неожиданности не произошло – супер-звезда выиграл, но теперь Витас хотя бы разговаривал со мной.

Следующие два года, в начале своей карьеры, я с неослабевающим восхищением наблюдал, как он поднимался до третьего номера в мире.

В своих теннисных возможностях я почти не сомневался, но в жизни мы с Витасом находились в разных мирах. У него было поместье в Кингс-Пойнт, и он вёл гламурную жизнь на Манхэттене; я возвращался из поездок с сумками, полными грязной одежды, отдавал её

стирать матери, затем отправлялся в свою старую комнату в Дагластоне. Витас водил кремово-жёлтый роллс-ройс, так шедший его волосам, с регистрационным номером «VITAS G».

Я все ещё ездил на старом добром ярко-оранжевом «Ford Pinto». Иногда вечером мы с моим старым другом Дагом Сапуто садились в «Pinto» или в синий «Mercury Comet» (*меркурий-комета*) Дага и сопровождали «Rolls-Royce» (*роллс-ройс*) Витаса в город, в «Студию 54», «Ксенон» или «Хартбрейк» – куда бы он ни направлялся. Мы обещали родителям вернуться домой к половине второго.

Для нас с Дагом это было вроде экскурсии. Там было лучшее диско, невероятная сцена – оглушительная музыка и сверкающие огни; дизайнерские джинсы и дизайнерские наркотики. (Та музыка – она была ужасна! Когда «Би Джиз», Глория Гейнор, Донна Саммер грохотали у меня в ушах, я с тосковал по своим любимым «Блэк Саббат», «Лед Зеппелин» и «Стоунз»). Повсюду были суперзвезды, а странный человек в белом парике, Энди Уорхол, фотографировал всех подряд. Я помню его рукопожатие – его ладонь была, как дохлая рыба. Он вечно крутился где-то рядом и в какой-то момент – даже на вечеринках – доставал свой фотоаппарат. Для меня это было невыносимым вторжением в частную жизнь.

Но Витас всё это обожал. Он был в центре всего, красивые женщины увивались за ним. Он был забавным, он был очаровательным, он был душой компании, он не мог спокойно посидеть ни минуты, он мог болтать с кем угодно о чем угодно; от него исходили волны невероятного позитива. В то же время, узнать Витаса по-настоящему было чрезвычайно сложно. Женщины сходили по нему с ума, и он всегда был слегка холоден с ними, что разжигало их ещё больше.

У меня с женщинами всё складывалось по-другому. Как я уже говорил, я с трудом завязывал знакомство с девушками. Моя застенчивость неверно истолковывалась, так всегда бывает. В теннисном мире я всё более и более был уверен в себе, и это часто казалось наглостью. Наглость абсолютно необходима для выживания теннисиста, но, вот ведь штука, за пределами корта она может ударить по тебе бумерангом. Она также может произвести неверное впечатление – в том числе и на женщин. Итак, моя застенчивость и моя дерзость мешали другим разглядеть мою истинную сущность. Мои постоянные девушки хорошо знали меня (на самом деле их было немного, и никогда не было двух одновременно). Но иногда мне хотелось и менее серьёзных отношений.

В начале 1979-го кое-что изменилось. Я выиграл «Мастерс», я стал четвертым в мире, сразу после Витаса (впереди него были Борг и Коннорс, два теннисиста, которых он никогда не догнал). Я больше не был пятнышком на горизонте Витаса, я стал преследующей его ракетой.

Женщины стали смотреть на меня по-другому, и, признаюсь, я ничуть не возражал. Когда-то, отправляясь на Юниорский Кубок Дэвиса, я тащил с собой шесть ракеток и надеялся, что на меня из-за этого обратят внимание – сейчас все изменилось. Неожиданно я оказался на телевидении, в газетах и в журналах. Впервые в жизни я начал зарабатывать реальные деньги; первое, что я сделал со своими призовыми и с деньгами от рекламного контракта, который мой отец заключил с Сержио Таккини летом 1978 года, когда я вот-вот должен был перейти в профессионалы. Это позволило поменять оранжевый «Pinto» на щегольской синий кабриолет фирмы «Mercedes».

Теперь уж я не буду выглядеть как придурок, следуя за Витасом в «Ксенон».

На самом деле, мне всё меньше и меньше хотелось следовать за Витасом, во всех смыслах этого слова.

Мне всё труднее жилось дома. Мне было двадцать лет, я становился финансово независимым – самое время выпорхнуть из гнезда. В середине 1979 года я купил свою первую квартиру в Верхнем Ист-Сайде.

Она стоила 350 тысяч долларов – большая сумма по тем временам. Я был весьма доволен собой! Теперь, возвращаясь с турниров,

я вёл жизнь обеспеченного молодого человека. Я был манхэттенский холостяк, околачивался с друзьями по ресторанам – «Джорж Мартинс», «Орин-энд-Арецкис», «Херлихис». В те дни Верхний Ист-Сайд был полон жизни. Кругом множество женщин, половина из них – модели (по крайней мере, так они говорили); большинство немного старше меня, и им нравилось, что мне всего двадцать. Моя застенчивость начала исчезать.

Я был центром нашей маленькой группы: Даг Сапуто, Питер Реннерт, Питер Флеминг, ещё один теннисист из Джерси по имени Фриц Бюнинг. В каком-то смысле мы были командой, я всегда хотел быть частью команды. В то же время я, несомненно, был звездой – это было приятно, но в то же время трудно.

На деле мы были просто детьми. Мы воображали себя рок-н-рольщиками, бунтовщиками. Мы везде носили футболки и джинсовые куртки – даже в модных ресторанах – и (я содрогаюсь, вспоминая это) вели себя, как идиоты. Я играл следующую роль: я чужой здесь, дитя Квинса. Мятежник. Когда я начал играть на Открытом чемпионате США и на «Мастерсе», мне было веселее общаться с парковщиками и бол-боями, чем с важными шишками на трибунах.

Но скоро моё общение стало намного интереснее.

Я стал всё чаще сталкиваться с Ричардом Вайсманом, тем самым, что организовывал первый благотворительный матч между мной и Витасом.

Ричард (тогда ему было под сорок) был весьма интересный человек. У него всегда была ложа на «Уимблдоне», лучшие места на Индиан Уэллс и Открытом чемпионате США. Он коллекционировал картины и давал у себя изумительные вечеринки (Плаза, угол 49-ой и Первой).

Но что Ричард действительно коллекционировал, так это людей, и так как я был свежее испечённой знаменитостью, то стал частью его коллекции. Казалось, Ричард знал в Нью-Йорке всех, кто хоть что-нибудь значил. Он был современным Гэтсби, человеком, который знал Стива Рубеля и Питера Бэрда, Шерил Тигс и Уорхола, который мог заставить каждого из этих людей бросить все и явиться к нему по первому зову. Он позвонил мне и сказал:

– Слушай, в субботу у меня приём, будут Мик Джаггер, губернатор Нью-Йорка, Жаклин Биссет и Джеки Стюарт, гонщик, – он перечислил семь или восемь абсолютно не связанных друг с другом людей.

Кладя трубку, я сказал:

– Не может быть, чтобы все эти люди пришли на вечеринку.

И они были там – все до одного.

Коллекция картин Ричарда была невероятна.

Вначале я считал, что часть картин просто смешна, особенно Рой Лихтенштейн, который был не в моем вкусе, но я был впечатлён, когда Ричард продал картины за огромную сумму. Когда я лучше стал разбираться в искусстве, я оценил эстетическую и денежную ценность этой коллекции.

Само собой, Витас принадлежал кругу Ричарда, и когда я тоже стал туда вхож, то поначалу ощущал себя бледной тенью Витаса: я был все ещё неловок в общении, слегка ошеломлён окружением. Мне нравилось там бывать, но я знал, что постоянным гостям Ричарда мои манеры, вероятно, покажутся неуклюжими. Я предпочитал тихо стоять в углу, просто наблюдая оттуда за происходящим. Потом я

слышал: “Он необщителен”, “Он застенчив”, “Он неразговорчив”.

На этих вечеринках я встречал выдающихся людей. Если ты видишь много знаменитостей, то, наконец, ты почти привыкаешь к этому. Почти. Я всегда был достаточно горд, чтобы не восклицать с придыханием: “Боже! Я видел того-то и того-то!”, но иногда просто не мог удержаться.

Наконец, я решил, что лучше всего будет выказывать уважение этим людям, но не превращаться в некое подобие, так скажем, фаната. Я старался не производить впечатления, будто мне от них что-то нужно. Я бы не хотел на себе испытать то, что я испытывал (и до сих пор испытываю) к тем людям, которые навязываются мне или просят автограф – выпучив глаза от обожания. Я всегда старался относиться к любому, знаменит он или нет, просто как к человеку; а ведь любая знаменитость – это человек в гораздо большей степени, чем думает большинство людей.

1979 год был восхитительным для меня годом. Я выиграл 27 турниров – признаю, что 16 из них в паре. Совсем недавно я был просто парень из Дагластона, а теперь вошёл в исключительную и невероятно известную группу пяти лучших теннисистов мира: Борг, Коннорс, Герулайтис, Макинрой и Вилас.

Важно понять крутизну склона, ведущего к теннисной вершине. Артур Эш однажды сказал, что между десятой и пятой ракеткой такое же различие, как между сотой и десятой. Подняться от пятого номера к четвёртому, говорил он, все равно, что от десятого к пятому. А расстояние от третьего номера до вершины вообще невообразимо.

Я с ним согласен. Каждая вершина, как пик Эвереста, – неизведанная территория; её нельзя понять, пока не попадёшь туда.

Всё происходящее казалось реальным и нереальным одновременно. Позади был трудный путь: переезды, тренировки, матчи. Теперь – камеры, фанаты, вечеринки, деньги. Девушки. Вечеринки...

Ощущение нереальности усиливало то, что я был практически на равной ноге и в одной тусовке с Бьорном и Витасом.

Коннорс всегда стоял особняком, а Гильермо Вилас был чрезвычайно дисциплинирован (и у него был Ион Тириак, следивший за его поведением). А Борг и Герулайтис довели, можно сказать, до совершенства искусство наслаждаться плодами тенниса.

Они вместе ездили, вместе тренировались – а затем вместе развлекались. В первый раз я вышел с ними в свет весной 1979 года, на выставочном турнире в Милане. Я отметил это событие, что-то выпив (до сих пор не знаю, что именно), и следующее, что я помню – Витас и Бьорн, доставляющие меня в отель. Меня тошнило, но я был счастлив: я прошёл инициацию. Теперь я в тусовке.

“Бродвейские” Витас и Бьорн! Они мне казались похожими на ушедших в отставку политиков – было восхитительно водить компанию с лучшими теннисистами мира! И всё, что мне для этого было нужно – просто пойти с ними куда-нибудь. Я гордился (и горжусь) своей энергией и даже гиперактивностью, но до энергичности этих парней мне было далеко. Они постоянно доводили меня до изнеможения. Если честно, я часто чувствовал себя просто задницей, когда в разгар вечеринки говорил:



– Я пойду спать.

Забавно – Витас подражал Боргу, но были сферы, где Борг отнюдь не был лидером. Бьорн позволял Витасу говорить за них обоих, тот устраивал все дела: клубы, женщины – всё, что угодно. Всё, кроме графика тренировок – здесь Витас уступал своё место Леннарту Берглину.

Вне корта Бьорн пропускал Витаса вперёд и даже не всегда мог идти за ним до конца. Витас имел фантастическую способность быстро восстанавливаться после любого загула и перезаряжаться, а Бьорн – вне корта, по крайней мере – был более похож на простого смертного. Перед Миланской выставкой они неделю или две были в Южной Америке из-за идиотского турнирного графика и, я уверен, поздно ложились и не высыпались. Когда Борг приехал в Милан, он не вставал с кровати, хотя имел железное здоровье. Поездка свалила его с ног. А Витас хоть как-то, да мог играть.

С другой стороны, Витас никогда не побеждал Бьорна в затяжном матче. Он был близок к этому – может, наиболее близок – в великом полуфинальном матче на «Уимблдоне-1977» (мой первый «Уимблдон»). Борг выиграл – точно так же, впрочем, как он выиграл почти все из двадцати сыгранных между ними матчей.

Думаю, Витас смирился с этим – с тем, что Борг потрясающе велик, а сам он близок к величию. Думаю, если кто-то и нанёс ему болезненное поражение, так это был я.

В том году Тим Галликсон выбил меня в четвёртом раунде «Уимблдона» 6-4, 6-2, 6-4.

Тим, мир его праху, играл в тот день блестяще и, вероятно, жаждал реванша, так как в предыдущем раунде я победил его брата-близнеца Тома на этом же корте.

После матча у меня было чувство, что моя карьера не удалась. Я ничего не имел против Тима, но думаю, я стал жертвой ожиданий, которые преследовали меня после моего потрясающего выступления на «Уимблдоне-1977». (Эти ожидания исходили от меня самого. Я слишком много требовал от себя в том году, и поэтому искал разрядки на корте: я швырял свою ракетку, топал ногами, выпускал пар на первого попавшегося линейного судью. Британские таблоиды окрестили меня новым прозвищем: “Super Brat”) (*чрезвычайно испорченный ребёнок*).

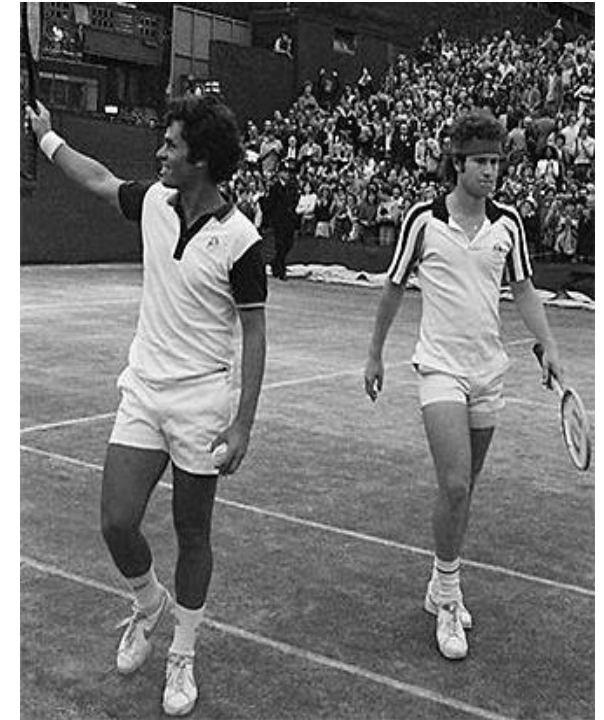
Теперь, когда я выиграл «Мастерс» и стал четвертым в мире, естественное продолжение – воображаемое продолжение – это вернуться на священный газон и одержать верх над Боргом.

Не сейчас.

Бьорн, конечно, опять выиграл, победив Роско Таннера (лучшая подача в туре на тот момент), и взял четвёртый из своих пяти титулов подряд. Он казался непобедимым.

Одна из причин, почему я любил играть пару, заключалась в том, что это помогало мне оправиться от нелёгких поражений в одиночке. Когда в том году мы с Питером Флемингом победили Брайана Готфрида и Рауля Рамиреса и выиграли наш первый «Уимблдон», моя боль от проигрыша Галликсону значительно уменьшилась.

К тому же было ощущение, что мы вносим свежую струю в парный турнир – он стал хиреть, так как топ-игроки (Борг, Коннорс,



Герулайтис и Вилас) воротили от него нос. Пара отнимает время, требует навыков, отличных от игры в одиночке, и плохо оплачивается – вот три причины, по которой парный турнир в наше время (к сожалению) всё более уходит в тень.

Во втором раунде «US Open-1979» я встретился с Илие Настасе, который выиграл его в 1972 году. “Нэсти” (*прим.ред– Прозвище Настасе: “Nasty” – отвратительный, злобный*) было 33 года, его лучшее время было позади, но возраст не сделал его спокойнее, пожалуй, он был ещё более невменяемый, чем обычно. И нью-йоркская публика всегда его подогревала.

Наш вечерний матч собрал огромную толпу болельщиков, которые жаждали увидеть встречу “Super Brat” (*чрезвычайно испорченного ребёнка, анг*) и повзрослевшего “Enfant Terrible” (*ужасного ребёнка, фр*). Судьей на вышке был Фрэнк Хэммонд. Фрэнк – тучный, лысый, с чёрными усами, глубоким голосом и деловыми манерами – был одним из немногих тогдашних судей, которые мне нравились. Я считал, что он умел ладить с игроками. Он знал всех по именам, он общался с тобой, как с личностью. Он мог сказать:

– Послушай, Джон, ты ходишь по краю. Я оштрафую тебя, если ты не возьмёшь себя в руки.

Я чувствовал, что он пытается направить меня в нужное русло, и показывал свой лучший теннис.

Фрэнк славился умением контролировать публику и игроков, но тем вечером у него не было шансов. На трибунах было полно выпивки, а “Нэсти” показывал своё наихудшее поведение: срывался, спорил, проклинал руководство (когда налетел на контейнер с водой рядом с кортом) и всё время пытался заставить меня сойти с рельсов. Примечательно, что, вопреки обыкновению, я держался. Всё началось в середине третьего сета: Фрэнк потерял хладнокровие, накричал на “Нэсти” и лишил его очка. Публика громогласно осудила Фрэнка.

Я был оглушён, но затем, имея всего один сет в запасе и отставая в партии с брейком, собрался и выиграл третий сет со счётом 6-3. В четвёртом сете, когда я подавал при счёте 2-1, 15-0, “Нэсти” заспорил о попадании предыдущего мяча в линию. Он сел на место линейного арбитра и отказался играть.



Фрэнк буквально умолял его продолжить игру, но “Нэсти” не поднимался со стула. Я был взбешён: “Нэсти”, очевидно, понимал, что проигрывает, и просто старался доставить всем как можно больше неприятностей.

– Штрафной гейм Настасе, – объявил Фрэнк. – Счёт 3-1 в пользу Макинроя.

“Нэсти” встал со стула, уперев руки в бока, и начал выкрикивать такие грязные оскорбления в адрес Фрэнка, что тот, после небольшой перепалки, удалил его с корта. Тогда толпа потеряла все тормоза, на корт полетели бумажные стаканчики и пивные банки.

На корт вышел Майк Бланшар, рефери турнира, и переговорил со мной и с “Нэсти”.

Полагая, что я всё равно выиграю матч, и желая избежать беспорядков, я согласился продолжить игру – несмотря на воспоминание о разгромном поражении от Зана Герри в квалификации на «US Open-1976». Я знал, что смогу быстро завершить этот матч. Бланшар объявил публике, что если она не успокоится, матч не будет продолжен.

Как только Фрэнк попытался возобновить игру, толпа начала скандировать:

– Два - один, два - один! – счёт перед тем, как “Нэсти” лишили гейма.

Скандирование становилось всё громче и громче. Я никогда ранее не видел на теннисном матче ничего подобного этому аду, не видел и потом, даже буйство на матчах Кубка Дэвиса в Южной Америке не выдерживает никакого сравнения. Директор турнира Билл Талберт принял решение удалить Фрэнка с матча и заменить его Бланшаром. Я безумно сочувствовал Фрэнку, когда тот слезал с вышки и уходил с корта, осыпаемый мусором. Он потерял всякое доверие. Как я потом узнал, этот матч фактически разрушил его карьеру. Когда АТР (*Ассоциация теннисистов-профессионалов*) выбирала группу штатных судей, то не включила в неё Фрэнка.

Когда Фрэнк покинул корт, “Нэсти” растерял весь свой пыл, и я с лёгкостью доиграл матч. Даже публика уже казалась обессиленной. Всё было закончено полпервого ночи. Я был порядком удивлён, когда после матча Настасе подошёл ко мне и сказал:

– Эй, пойдём, поужинаем.

Это был ещё один урок: всегда разделяй жизнь и бизнес.

– Конечно, – ответил я.

С другой стороны сетки Витас триумфально продвигался к финалу.

Он победил Клерка в 1/8 финала, Крика в четвертьфинале, а в полуфинале – Таннера, который в предыдущем раунде взял реванш у Борга за проигрыш на «Уимблдоне» (забавно, что Витас спокойно мог побеждать парней, победивших Борга, но, тем не менее, сам не мог одержать над Боргом верх. В теннисе так сплошь и рядом).

Но в финале Витас встретился со мной.

Я завершал сезон, в котором одержал три большие победы над Коннорсом: на «Мастерсе», в Далласе (где я взял кубок, победив в финале Борга) и на этом чемпионате – в полуфинале, в трёх сетах. Что тут сказать – моё время пришло. Мне было неловко, что я должен играть с моим товарищем Витасом в таком важном матче – но не настолько неловко, чтобы проиграть.

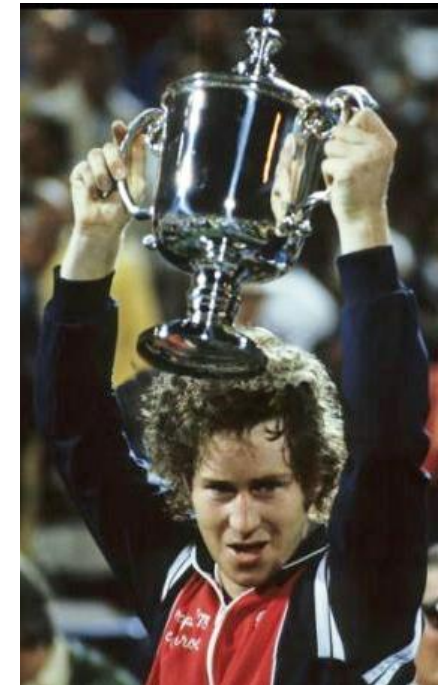
В конце концов, это даже не был равный матч – я выиграл в трёх сетах: 7-5, 6-3, 6-3.

Думаю, Витас чувствовал себя ещё более неловко. Публика освистывала нас: она была недовольна, что в финале не играли Коннорс и Борг. Тогда именно они были настоящими звёздами – а вместо них были мы, два каких-то парня из Квинса! Но сам я думал, что это похоже на чудо: два парня из Квинса в финале «US Open»! Я был убеждён, что такое больше никогда не повторится (я и теперь в этом убеждён).

На протяжении двух лет я искал подходы, чтобы войти в компанию Витаса. Я хотел научиться общаться с ним вне корта. Я старался стать его другом. Я смотрел на него снизу вверх. А теперь он отвернулся от меня, и моя победа потускнела. Я что-то украл у него. Он был официальным четвертым номером в мире, но теперь он был не на вершине. Теперь там были Борг, Коннорс и я.

Наши отношения никогда не стали прежними.

Странная штука – дружба в мужском теннисном туре. С одной стороны, парни стремятся оставлять



соперничество на корте – вы можете биться до смерти, но стоит вам пожать друг другу руки, как вы способны вместе отправиться развлекаться.

Тем не менее, где-то глубоко кроется убеждение: в туре человек человеку – волк. Вы можете быть дружелюбны вне корта, но раз вы делите один и тот же доллар, то всегда чувствуете: нельзя терять бдительность. Это скрыто за семью замками, но реальность такова: каждый сам по себе.

В любом спорте у вас есть и враги, и друзья. Я не выносил некоторых игроков, и для меня не будет сюрпризом узнать, что я вызывал такие же сильные чувства у других. Пару раз мне отказались пожать руку. Однажды Винс Ван Паттен протянул мне руку и в последний момент отёрнул её.

Тем не менее, иногда проще иметь врагов, чем друзей – особенно, если твои друзья – профессиональные теннисисты, а сам ты стремишься стать номером один в мире. На вершине ты одинок – это клише. Но если это клише, то ещё не значит, что это не так.



Моими лучшими друзьями детства были два Питера – Реннерт и Флеминг, и дружба с каждым из них в итоге была подпорчена. Думаю, не последнюю роль сыграло то, что у них появилось ощущение, будто они всегда находятся в моей тени.

Моя дружба с Питером Флемингом – это одна из самых запутанных страниц моей жизни. С самого начала между нами была необычайно крепкая связь. Мы десять лет играли пару и вдвоём добились значительных исторических успехов: 4 раза выиграли «Уимблдон», 3 раза – «US Open», победили в 14-ти из 15-ти матчей на Кубке Дэвиса, были победителями в 7-ми финалах «Мастерса» подряд.

Как одиночный игрок Питер был весьма одарён – в 1980 году он стал восьмой ракеткой мира. Но он всегда признавал моё превосходство самым великодушным образом. Казалось, зависть была ему неведома. Мы были прекрасной командой из-за наших соответствующих (и дополняющих друг друга) талантов и из-за непередаваемого родства душ.

Однако, Питер часто повторял одну фразу, которая, придётся признать, не давала ему покоя. Когда его спрашивали, кто лучшая пара в истории, он отвечал:

– Джон Макинрой и кто угодно.

Думаю, нужно объяснить, как появился этот ответ. Это произошло на кубке Дэвиса в финале против Франции 1982-го года, в Гренобле, после того, как мы с Питером победили Янника Ноа и Анри Леконта, что привело к победе Соединённых Штатов со счётом 4-1.

В 1980 году Питер получил травму стопы, и на пару лет его игровая уверенность, как и его рейтинг, резко упали, но неожиданно он снова заиграл на удивление хорошо. Мы отправились на Кубок, планируя разгромить Янника и Анри.

Вместо этого его нога опять разболелась: я играл довольно хорошо, а он вообще выпал из игры; мы победили в неопишемом матче со счётом 6-2, 6-3, 9-7.

Предполагалось, что Питер триумфально возвратится на былые позиции, а вместо этого матч выглядел со стороны так, будто я тащу

Питера на своих плечах – именно так эту встречу, совершенно несправедливо, и комментировали. На послематчевой конференции Питер сидел как пришибленный, тогда и прозвучали этот вопрос и ответ.

Когда он во второй раз ответил точно так же, я повернулся к нему и сказал:

– Что ты говоришь? Это же неправда.

Я сказал это от всего сердца – я был поражён, настолько несправедливы были эти слова.

Я знаю, ему было нелегко оттого, что его имя упоминалось всегда только в связи с моим. Его талант позволил бы ему быть в топ-5 или даже выше, обладай он необходимой для чемпиона безжалостностью. Однако, как раз этого у Питера и не было, и поэтому он с трудом прокладывал себе дорогу. Другими словами, он был слишком великодушен, чтобы подняться на самую вершину.

В то же время, мне наша дружба тоже далась нелегко. Те теннисисты, которые со мной близки, знают, что когда я вышел на корт, мой девиз – пленных не брать! Я не говорю, что это лучшая линия поведения – я просто не могу по-другому.

Может быть, начало нашим взаимным трениям положил я сам, когда мы на раннем этапе карьеры играли в одиночке друг против друга. Играть против того, с кем ты близок, труднее, чем против врага. Но я никогда бы не пожертвовал победой ради друга – даже ради своего брата Патрика.

Кто-то может сказать:

– Если уж мне суждено кому-то проиграть, пусть это будет мой брат или лучший друг, – но мне такие мысли и в голову не приходили.

Я хотел, чтобы у членов моей семьи и у друзей дела шли отлично – просто у меня они должны были идти ещё лучше. Замечательно, если Питер выйдет в четвертьфинал «Уимблдона» – при условии, что я окажусь в финале. Именно это и произошло в 1980 году, когда мне пришлось выбить Питера, чтобы дойти до своего первого исторического матча с Боргом.

В 1979 году Питер совершил настоящий прорыв в одиночных соревнованиях.

После нашей победы в паре на «US Open» в сентябре (это был наш второй титул «Большого шлема» в году), мы какое-то время шли в одиночке голова в голову. В Лос-Анджелесе он победил меня в финале, не потеряв ни сета, в Сан-Франциско мне пришлось постараться, чтобы одержать над ним в финале победу, на Гавайях он дошёл до финала, а я проиграл в полуфинале. Его рейтинг неудержимо рос, и это было неспроста. Тогда он ездил с Дженни и был в неё влюблён; я ездил один, и наши отношения со Стейси начинали походить на фарс.

По всем этим причинам – может, были и другие – наши отношения с Питером стали приобретать какую-то болезненную ненормальность. А может быть, это именно я становился ненормальным. Когда я проиграл ему в Лос-Анджелесе, я бросил свою ракетку. Я был зол и бросил её нарочно, а она выскользнула из моей руки и улетела неизвестно куда – мне повезло, что я никого не пришиб. (В этом смысле мне везло. Пару раз я терял контроль, швырял свою ракетку, а когда приходил в себя, она оказывалась наверху заднего ограждения – счастье, что она никому не угодила в голову).

Когда мы играли друг с другом с Сан-Франциско, Питер подавал на матч, но я сделал “камбэк” (*прим.ред.– Ситуация по ходу матча, когда игрок, казалось бы, безнадежно проигрывает в сете или матче, переламывает ход борьбы и одерживает победу*) и выиграл. На Гавайях мы вновь могли бы встретиться в финале, но я проиграл в полуфинале Биллу Скэнлону (в прошлом они с Питером иногда играли пару), парню, которого я терпеть не мог.

В прошлом мы со Скэнлоном были в одной команде юниорского Кубка Дэвиса, и я полагал, что мы товарищи, хотя бы отчасти. Мы даже жили однажды вместе на юниорском Национальном чемпионате в Каламазу. Помню, мы бродили с ним как-то вечером, после того, как он проиграл ответственный матч; я слушал его излияния и кое-что рассказывал о себе. Одно время я думал, что он считает меня своим близким другом.

Следующее, что я помню – мы играем матч, вступаем в одну из наших многочисленных перепалок, и я говорю что-то вроде:

– Эй, мы же были в одной команде; мы друзья, верно?

И Скэнлон отвечает:

– Друзья? Ты мне не друг!

Не знаю, может он считал, что заслуживает более высокой позиции в теннисе. Я лично думаю, что он получил в точности то, что заслуживал. Он был превосходным теннисистом, но не слишком хорошим спортсменом. В определённых случаях он мог сыграть очень хорошо. Наш с ним матч в Мауи был как раз этим случаем – я еле-еле мог выиграть очко.

Должен сказать, этот матч оказал какое-то влияние на наши с Питером отношения, которые на тот момент стали для меня почти невыносимы. Он был слишком счастлив! Он был с Дженни, и меня раздражало, что он казался таким счастливым, а я вдруг остался в одиночестве. Грубо говоря, я ревновал. Это была двойная ревность: во-первых, у него кто-то появился, кроме меня, во-вторых, Дженни забрала его у меня. Я всегда опирался на Питера в трудную минуту, а теперь – внезапно – мне не на кого стало опираться.

Итак, победив меня, Скэнлон должен был играть в финале с Питером, и я обнаружил в себе черту, которая мне не понравилась – черту, которую я ненавижу по сей день. Несмотря на то, что я не любил Скэнлона, в душе я хотел, чтобы парень, победивший меня, выиграл турнир – вместо того, чтобы надеяться, что мой лучший друг даст ему пинок под зад!

Помню, я не мог смотреть финал. Я остался в своей комнате. После этого финала мы с Питером должны были играть пару; я сидел, не зная, чем все закончилось.

Когда Питер вернулся с матча, я спросил:

– Какой счёт?

– Один и один, – ответил Питер.

– Боже, ты дал ему пинка!

– Нет, я взял два гейма.

И, увы мне, я испытал облегчение. Потом мне, конечно, стало стыдно.

Потом я совершенно запутался в своих чувствах.

Кризис наступил два месяца спустя во время челленджера (*прим.ред.*– Турнир с призовым фондом \$25.000 – \$150.000) на Ямайке, когда мы играли друг против друга. Это опять был абсолютно равный матч, невероятный по накалу страстей – так всегда бывает, если моё поведение ужасно, а оно таким и было.

Питер появился на турнире в последнюю минуту – он заменил снявшегося игрока. Перед этим он десять дней отдыхал с Дженни и был доволен, как слон: загорелый, счастливый, он то и дело шутил с публикой. Начать с того, что я был зол на Питера из-за Дженни; но,

кроме этого, красной тряпкой для меня всегда была ситуация, когда мой противник делает то, в чем я не силен – шутит со зрителями и привлекает их на свою сторону.

В конце первого сета я выполнил подачу, которая попала в квадрат – я и сейчас в этом убеждён, но линейный судья выкрикнул: “аут”. Это был выставочный турнир, вне тура, поэтому я взглянул на Питера и спросил:

– Ты же видел – был аут или нет?

– Я не заметил, – сказал он.

Я покачал головой, посмотрел в небо тропиков и завопил. И вопил без остановки. Спустя минуту судья объявил:

– Штрафное очко мистеру Макинрою за задержку времени.

Я взглянул на Питера.

– Ты что же, примешь это очко? – поинтересовался я не слишком любезно.

Тут Питер, который понял, что я не поверил в искренность его слов, надвинулся на меня всеми своими шестью футами и пятью дюймами и прокричал прямо мне в лицо:

– То, что мы друзья, вовсе не означает, что я состою в Армии Спасения!

В это мгновение я был уже просто не в состоянии вынести всё то, что происходило между нами. Я не мог уйти с корта в середине игры и, одновременно, был не в силах её продолжать. И я стал играть механически, как лунатик, ни к чему не стремясь. Не думаю, чтобы я ещё раз так играл до или после этого. (Из-за кругового формата турнира я всё же вышел в финал и играл там против Настасе. Я понял, что прославился, когда Илие объявил публике: “Он хуже меня и Коннорса вместе взятых”. Вот это был комплимент!)

На следующий день между мной и Питером состоялся “большой разговор”. Странно – без слов мы очень хорошо понимали друг друга, но с помощью слов нам немногого удалось добиться. Я пытался объяснить, как наше соперничество в одиночке портит нашу дружбу, и тут же говорил о своей ревности. Я словно выворачивал себя наизнанку. А что мог ответить Питер? В сущности, он просто сказал:

– Послушай, я люблю её.

Я вспомнил прошлогодний «Уимблдон» – совершенно неожиданное заявление Питера:

– Я встретил девушку!

И мой банальный ответ:

– Молодец, дружище, так держать.

В то время мы с Питером шли по жизни, играя турниры, знакомясь с девушками – ничего серьёзного. Но тут дело обернулось так, что Питер ужинал с Дженни – вместо ужинов со мной, между прочим: два, три, четыре раза подряд. Как-то вечером он позвонил мне и сказал:

– Слушай, я хочу посоветоваться. Я встречался с этой девушкой три или четыре раза. Она замечательная. Думаю, она восхитительна.

Я, сам мистер “Деликатность”, спросил:

– А ты с ней спал или нет?

– Нет.

– Смотри, ты проводишь с ней все вечера подряд. Хочешь знать моё мнение? Если ты с ней сегодня не переспшишь, можешь об этом забыть, – заявил я.

– О'кей, – ответил Питер.

После «Уимблдона» в турнирном расписании был трёхнедельный перерыв, и в следующий раз мы должны были играть вместе в Торонто. Когда в Торонто мы встретились, Питер снова привёз Дженни с собой.

Я сказал:

– Итак, ты точно с ней переспал.

– Нет.

– Ну, ты и мудак! – выпалил я.

Кстати, в будущем у меня сложилось впечатление, что Питер передал ей всё, что я говорил, и это выставило меня перед Дженни в крайне невыгодном свете.

Она была очень застенчивой, очень милой английской девушкой, которая просто хотела быть с Питером – больше ничего. В тот момент меня поразила мысль: “Боже, это серьёзно!”. Не в моем характере было оставить Питера в покое, и я заявил ему:

– Ты ведь не собираешься жениться на какой-то англичанке? Ты что, сошёл с ума? Так никто не делает, – не знаю, почему я настолько был в этом убеждён. – Слушай, ты женишься на американке; этим всё и кончится.

Может, это было влияние моей матери!

Несмотря на то, что я в итоге был шафером на свадьбе Дженни и Питера, этот разговор всегда стоял между нами. А они до сих пор вместе, более двадцати лет.

Пять или шесть лет назад Питер позвонил мне в воскресенье в семь часов утра. В семь часов утра воскресенья!

– Джон, это Питер, – сказал он.

– Ты знаешь, сколько времени? – прохрипел я.

И Питер произнёс:

– Я звоню для того, чтобы сказать: я простил тебя за то, что ты старался расстроить мою свадьбу.

Спустя двадцать лет мы с Питером всё ещё пытаемся распутать этот клубок. А в тот день на Ямайке я понял, что должен найти кого-нибудь – сам.

А тогда я остался один.

Глава 6

В то время меня часто спрашивали:

– Какова ваша мечта? Ваша цель?

Я знал, что они хотели услышать: “Первая ракетка”. Но я избегал этой темы, точно так же, как я не говорил со своим отцом о первом месте в юниорском рейтинге. Я не хотел, чтобы эти ожидания давили на меня. “Я задумаюсь над этим, когда настанет время”, – говорил я себе. В глубине души я не был уверен, что такое время настанет.

Лучше всего мне жилось в туре в 1979 и 1980 годах, когда я был третьим номером в мире, наступая на пятки Коннорсу и Боргу. Я много ездил, много выигрывал, мне нравилась такая жизнь – нравилось быть одиноким охотником, прокладываям себе путь вверх по рейтингу, но ещё не быть тем самым, единственным.

Профессиональный теннис того времени во многом отличался от нынешнего. Конечно, сейчас гонорары выше, но то же самое можно сказать и о других видах спорта. Я никогда не жаловался (и не жалею) на гонорары. До сих пор помню, как осенью 1978 года мне впервые заплатили за серию выставочных матчей, как раз после того, как я стал профи. Я играл с Илие Настасе в шести городах Голландии и заработал 11 тысяч долларов за шесть дней. Это казалось целым состоянием!

А как здорово было путешествовать по Голландии с Настасе – я чувствовал, что мчусь к успеху, и рядом – родственная душа. Его энергетика была мне близка и понятна.

Мне кажется, что сейчас теннис стал бизнесом, из которого вынули душу. Колесить с Настасе по Голландии было просто потрясающе, было ощущение, что мы летим со скоростью 150 миль в час (241 км/ч) – два бесшабашных теннисиста в маленькой машине! Сейчас же каждый из теннисистов первой десятки – это передвижной концерт. Это и тренер, и те, кто должен водить игрока за ручку – диетолог, наставник, друг, любимый человек. В 70-80 годы мало кто мог позволить себе личного тренера.

И, если честно, тренер мне и не был нужен, хотя, в конце концов, когда пик моей карьеры был позади, я всё-таки несколько раз брал себе тренера (я-то не знал, что он уже позади). Я никогда не любил таскать с собой лишний багаж, и, откровенно говоря, лучшим тренером себе был я сам. Иногда мне было одиноко, но в большинстве случаев меня устраивало, что я сам себе хозяин. Как правило, у одного-двух игроков турнирное расписание совпадало с моим. С Питером мы пересекались на множестве турниров, а значит, даже несмотря на то, что между нами начали возникать трения, он был рядом. И потом у меня была Стейси.

Мы старались сохранить наши отношения, но это было нелегко, так как она успешно играла в женском туре (все турниры, кроме «Большого шлема», были тогда раздельными). Мы писали друг другу и разговаривали по телефону; мы ездили вместе на мэйджоры (*прим.ред.*– Турниры «Большого шлема»); иногда я даже приезжал на её турниры. Кроме того, мы играли микст.

Что было ужасно. Нет вернее способа испортить отношения! В 1978 году, сразу после того, как я стал профессионалом, мы играли микст на «Уимблдоне». В матче третьего круга, который мы проиграли, я был оштрафован на 500 долларов за то, что бросил ракетку и выкрикивал ругательства. Мы ничего не заработали – в те дни, чтобы получить хотя бы цент, надо было дойти в миксте до четвертьфинала. Я только-только начал свою карьеру – и с чего? – со штрафов!

Я взял и пошёл в Уимблдонский комитет. Я умолял:

– Пожалуйста, не штрафуйте меня! Я играл с моей девушкой, и разнервничался.

Трудно поверить после всего того, что случилось потом, но они сняли меня с крючка. Только сказали:

– Хорошо, но только чтобы больше такого не было.

И, действительно, такого больше не было – в миксте!

Последний раз (до «Уимблдона» 1999 года) я играл микст на «US Open» 1979 года, опять со Стейси. Мы проиграли Стэну и Энн Смит 3-6, 7-6, 3-6.

Я дважды терял свою подачу, и за весь матч никто больше не потерял ни одной. Это был полнейший позор.

– Хватит, я больше никогда не буду играть. Я не могу это выносить, – сказал я.

В наших проигрышах был виноват именно я, а не Стейси. Я был довольно упорным игроком, но это давление было выше моих сил.

Это приводило к напряжению в наших отношениях (в придачу к тому, что мы редко виделись), а кругом было полно других трудностей и соблазнов молодости. Мне просто нравилось, что у меня есть девушка. Мне также казалось, что можно сидеть одновременно на двух стульях.

И затем на Открытом чемпионате Франции 1980 года я совершил ошибку, которую поклялся никогда в жизни не делать. Я чувствовал себя виноватым за то, что спал с другими женщинами в то время, когда мы со Стейси были вместе – и я рассказал ей об этом.

Это обернулось настоящей катастрофой. Конечно, Стейси была очень расстроена; она решила со мной расстаться. И я не могу её в этом упрекнуть. Это было скверно – я не должен был так поступать. Сейчас я считаю, что если у тебя есть определённые обязательства перед женщиной, то не следует встречаться с другими. Но в то время, пожалуй, это было для меня неподъёмной задачей, и я решил для себя так: если уж изменил, то не будь ещё большим придурком и никому не рассказывай. Чтобы научиться не изменять, требуется время.

Это была одна из худших недель в моей жизни. Во Франции я был посеян под вторым номером, но так переживал из-за разрушения наших отношений, что сам развалился на корте. Я мог думать только о том, что наделал, и проиграл Полу Макнами в 1/8 финала.

Мне казалось, что я был влюблён в Стейси. Но любил ли я её? На этот вопрос труднее ответить. Я не знаю, можно ли в том возрасте любить по-настоящему, со всеми вытекающими из этого обязательствами. И, если честно, мне шёл всего двадцать второй год – я ставил себе другие цели.

Когда заходит речь о моем характере, чаще всего вспоминают мой первый финал «Уимблдона-1980» против Борга. Тот самый, где на тай-брейке четвёртого сета было разыграно 34 очка. Забавно: часто думают, что я победил в том матче, хотя на самом деле я проиграл в пяти сетах. Я не выиграл, что ж, хорошо. Я бы даже так сказал: хорошо, что я не выиграл.

К сожалению, после проигрыша матча я почти всегда чувствую себя полным неудачником. Очень неприятная особенность тенниса – а может и спорта вообще – это то, что вместе с игровой уверенностью тает и уверенность в себе. Это состояние трудно преодолеть, нужно постоянно бороться с мыслью: “Я неудачник, я уже не тот, что прежде”, а ведь на самом деле это поражение, возможно, сделало тебя сильнее.

Разумеется, в моей карьере было немало матчей, когда я не только проиграл по делу, но ещё и вёл себя как полное ничтожество.

Но совсем другое дело, когда ты проигрываешь Боргу в финале «Уимблдона» в пятом сете со счётом 6-8. Я никогда не срывался по-настоящему, когда играл с Боргом – я слишком уважал его, я ценил саму возможность с ним играть. Мои победы или поражения бледнели перед тем, что я становился частью истории.

Я впервые встречался с Боргом на траве, но считал, что на этом покрытии наши шансы были равны. Во-первых, в мае я победил его в финале турнира в Далласе, проводившемся в зале на ковровом покрытии, довольно похожем на траву. У него была привычка далеко

стоять на приёме, и я мог рано выходить к сетке почти на каждой подаче, завладевая углами для атаки. Потом, хотя подача Борга была сильнее, чем это казалось, он никогда не любил играть с лета, а его вторая подача была чуть менее надёжна.

Сначала всё шло как по маслу. Я был даже поражён тем, насколько легко я начал выигрывать. Откровенно говоря, я чуть-чуть расслабился – и это было моей первой ошибкой. Я выиграл первый сет 6-1 и был впереди во втором со счётом 5-4. Я был очень близок к тому, чтобы повести два – ноль по сетам, а после этого я мог бы просто дать Боргу пинка – именно так я и собирался сделать. Но мой план провалился.

Отчасти мне просто не повезло. Во-первых, накануне я играл с Коннорсом, и так как это была наша первая здесь встреча с полуфинала 1977 года, то она была очень нервной. Вдобавок у нас были отвратительные отношения, так как я уже год старался скинуть Джимми со второго места в рейтинге. Все это приводило к вспышкам раздражения на корте.

Тогда моё отношение к Коннорсу было прямо противоположно отношению к Боргу – я не ценил ни его самого, ни возможность с ним играть (*прим.ред.– Коннорс старше на 7 лет*). Как два боксёра перед боем, мы старались побольнее уязвить друг друга на переходах.

Он обзывал меня “молокососом”, а я сообщил ему, куда он может меня поцеловать. Всё это парадоксальным образом было даже увлекательно, однако в итоге обернулось четырьмя изматывающими сетами.

Мало того, так как часть матчей была ранее отложена из-за дождя, то сразу после матча с Коннорсом я должен был играть парный полуфинал!

У Борга же, который сыграл свой полуфинал в пятницу, было больше времени на отдых – целая суббота.

Борг никогда не играл пару, Коннорс перестал её играть в самом начале карьеры, Лендл играл её очень редко – но я обожал парный турнир по двум причинам. Во-первых, мне нравилось быть частью команды. Во-вторых, это позволяло мне поддерживать форму для одиночных матчей – я предпочитал игру тренировке. В большинстве случаев расписание игр на «Уимблдоне» было мне на руку: один день я играл одиночку, другой день – пару. Кто знает, если бы я снялся с парного полуфинала, то может быть, у меня остались бы силы на победу в пятом сете над Боргом. Однако я хорошо знаю – знал и тогда – что я никогда бы так не поступил по отношению к Питеру, моему партнёру и другу. Это просто было не в моих правилах.

В этом финале я впервые убедился, насколько природная выносливость и физическая форма Борга превосходят мои.

При счёте 5-4 во втором сете я немного занервничал – может из-за того, что все шло слишком легко – а он включил свою подачу; это позволило ему вернуться в матч и выиграть сет со счётом 7-5. Тут из меня словно выпустили воздух. Я так переживал из-за потерянной возможности повести 2-0 по сетам, что подсел морально и физически. Я проиграл третий сет со счётом 3-6.

Потом он сделал брейк в четвёртом сете, и неожиданно я обнаружил, что подаю при счёте 3-5. Это казалось страшным сном – все произошло слишком быстро. Только что все шло к тому, что я завершу матч со счётом 6-1, 6-4, 6-3, и внезапно я стоял на краю поражения.

И тут случилось чудо. Я удержал свою подачу, отыграл несколько матч-пойнтов (*прим.ред.– Розыгрыш решающего очка, выигрыш которого заканчивается победой в матче*) на подаче Борга – я снова был в игре. Когда мы дошли до тай-брейка, я уже чувствовал, что смогу выиграть матч.

Конечно, большое видится на расстоянии, но, уверяю вас, во время того тай-брейка я уже знал, что происходит нечто особенное. В те дни ещё продавали стоячие места на финалы «Уимблдона» (отличные места, если вы согласны провести три дня на ногах), и эмоции

толпы били через край: оглушительный шум порой прерывался драматическим молчанием. Я чувствовал, что по какой-то причине – может, из-за отыгранных только что мною матч-болов – даже те, кто болели против меня, хотели, чтобы я выиграл тай-брейк.

Они просто не хотели, чтобы матч закончился.

Казалось, и сам матч не желал заканчиваться. Тай-брейк всё продолжался: “больше-меньше”, “больше-меньше”. Мы оба делали множество ударов навылет, но никто из нас не мог положить всему этому конец. Я начал уставать, но публика так вдохновила меня, что я забыл об усталости.

Я не знаю, почему эти моменты до сих пор не выходят у меня из головы. Один раз я выполнил форхенд на бегу – как оказалось, это был удар навылет точно в линию – и очутился практически среди зрителей, а ведь Центральный корт «Уимблдона» очень широк. Я чувствовал исходящее от публики возбуждение – мне даже приходилось делать усилие, чтобы не перевозбудиться самому. Но чем дольше длился тай-брейк, тем труднее мне было оставаться на плаву.

И когда я, наконец, выиграл, 18-16, я знал, что теперь я должен выиграть матч. Знал это.

Я думаю, что Борг был весьма разочарован, когда упустил тай-брейк, но что бы ни творилось у него внутри, это было спрятано очень глубоко. Он не только не потерял надежду, у него и сил оставалось немало.

Я удивлялся, как такое возможно. Я забыл об усталости во время тай-брейка, но теперь она начинала напоминать о себе. Борг подавал первым в пятом сете. Я выполнил пару хороших приёмов и повёл в гейме 30-0 – и тут у него пошли мощные первые подачи. Я настолько устал, что не мог создать ему никаких особых трудностей.

Я упустил первый гейм, удержал подачу, и затем гейм за геймом мы удерживали свои подачи под ноль, иногда отдавая одно очко. Я все время повторял про себя: “Сейчас, Боже, сейчас я должен сделать брейк” (*прим.ред.– Выигрыш гейма на подачу соперника*).

Этого так и не случилось. Когда я увидел, как невозмутимо он отнёсся к потере четвёртого сета и лишь усилил свою игру в пятом – что-то во мне надломилось. Он казался абсолютно свежим, а мои силы иссякли.

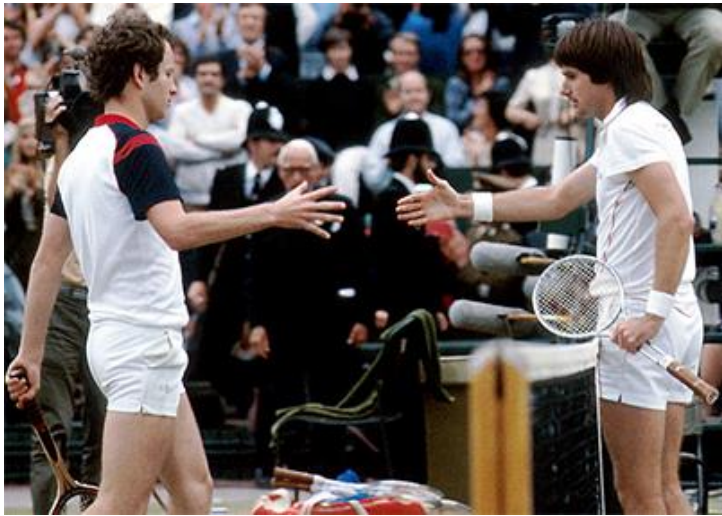
Я был поражён. Он выигрывал «Уимблдон» раз за разом! Он четыре раза подряд выиграл «Уимблдон»! Я цеплялся за мысль: “Должен же этому прийти конец!”. Пятый сет превратился в гонку на выживание, а как раз этого мне хотелось меньше всего: у меня просто-напросто кончалось топливо в баке. Под конец я лишь старался удержать равенство по геймам: я едва мог взять очко на его подаче.

А затем мы пожимали друг другу руки у сетки. Я знал, что могу победить Борга. Но «Уимблдон» все ещё принадлежал ему.

Я выиграл «US Open» годом раньше, но я выиграл его, не победив ни Коннора, ни Борга. В 1980 году мне пришлось играть с ними обоими (не говоря уже об Иване Лендле).



Я вообще считаю чемпионат 1980 года своим наивысшим достижением как атлета. В четверг вечером, в полуфинале, я победил Лендла в четырёх сетах (7-5 в последнем сете), на следующее утро мы с Питером играли парный финал против Стэна Смита и Боба Лутца, проиграв в упорных пяти сетах. Я считал, что мы вполне могли бы и выиграть матч, но не сильно расстроился. Я чувствовал, что эта победа была лебединой песней для великой пары Смита и Лутца, которых мы победили в финале год назад. Стэна я особенно уважал за его преданность Кубку Дэвиса.



В субботу мы с Коннорсом сыграли безумный полуфинал. После того, как я победил в первом сете и повёл 5-3 во втором, я немного зажался, а Джимми совершил невероятный прорыв. Он завёл публику так, как только он мог это делать, и взял одиннадцать геймов подряд. Он выиграл второй сет 7-5, третий 6-0 и был впереди в четвёртом сете 2-0; честно говоря, мне даже стало стыдно.

В этот момент публика мне помогла: она всё время была на стороне Джимми, но сейчас ей захотелось, чтобы матч продолжался подольше, и она стала поддерживать меня. И неожиданно непостижимая химия тенниса поменялась: теперь Джимми зажался, я воспрял, выиграл четвёртый сет 6-3 и повёл 5-3 в решающем сете.

В этот момент симпатии публики перешли на сторону Джимми.

Качели нашей игры накренились в очередной раз, и мы сцепились в тай-брейке пятого сета. Мы оба понимали, что поражение будет ужасающим для любого из нас. Мне казалось, я буду рвать на себе волосы, если проиграю.

Замечу, что мне всегда нравилось правило играть тай-брейк решающего сета: обстановка накаляется, потому что и публика, и игроки знают – матч подходит к концу. Мне помогло знание того, что конец уже близок – стоит лишь протянуть руку. Преимущество на тай-брейке имеет игрок с более сильной подачей, и я знал, что я и есть этот игрок. Я знал, что если я просто буду хорошо подавать, я выиграю.

Именно так я и сделал.

В воскресенье, не отдохнув как следует, я вступил в очередное классическое противостояние между мной и Боргом (ведь за его плечами не было ни парной встречи, ни матча против Коннорса).

Быстрый корт давал мне преимущество, но когда я повёл 7-6, 6-1, то Бьорн, опять воспользовавшись моей усталостью и своим превосходным физическим состоянием, стал дюйм за дюймом возвращаться в матч.

Несомненно, у него на уме был наш матч на «Уимблдоне» – у меня эта встреча не выходила из головы. Он, должно быть, думал, что я опять выбьюсь из сил, и король пятисетовых матчей снова одержит верх. (Бьорн гораздо лучше играл пятисетовые матчи, чем трёхсетовый, просто потому физически он превосходил почти всех игроков тура.)

Но не так быстро.

Уверен, что когда я проиграл третий и четвёртый сет, публика решила, что Борг на волне успеха возьмёт пятый сет и свой первый титул чемпиона «US Open». Довольно странно, но эти ожидания публики (публика всегда играет критическую роль в большом матче) помогли мне расслабиться и подзарядиться энергией. На «Уимблдоне» я упустил матч, который должен был выигрывать; я не собирался

допустить такое снова.

Я тогда решил, что дошёл до последней черты – я не перешагну её, я смогу удержаться и выиграть матч. К удивлению моей родной публики, у меня ещё оставались резервы. Ранний брейк в пятом сете помог мне поймать второе дыхание, последний глоток адреналина. В конце концов, всё, что мне было нужно – это один гейм на подаче Бьорна.

Когда мы пожимали друг другу руки, я ясно видел, что он раздавлен. В начале этого года Борг выиграл «Мастерс» – свой первый и единственный мэйджор в Нью-Йорке; казалось, он застолбил путь к следующим своим победам здесь. Я почувствовал: он признал, что я наконец-то стал превосходить его.

А некоторые почитатели Борга могут найти и другое оправдание его поражения на «US Open-1980». Кто-нибудь его назовёт?

После этого чемпионата стало ясно, что соперничество между мной и Боргом приобрело черты настоящей интриги, как те противостояния в боксе, вокруг которых всегда разгораются страсти. У этого соперничества было множество драматических эффектов: чемпион против молодого претендента. Швед против американца. Холодный и замкнутый против горячего и буйного. Вокруг уимблдонского тай-брейка четвертого сета начал возникать мифический ореол, и хотя этот тай-брейк действительно был великолепен, иногда наедине с собой я думал: не слишком ли слова обозревателей и комментаторов... высокопарны. Особенность теннисных очков и геймов в том, что они вызывают бурю эмоций во время матча, но потом от них остаётся только видеозапись, которая не производит и половины былого впечатления. Моменты тенниса – как стихи на песке.

Но я совсем не возражал против внимания прессы! Или против денег. В профессиональном теннисе деньги растут в геометрической прогрессии по старому правилу “богатые богатеют”: чем ты успешнее, тем больше продаётся билетов на твои матчи (не говоря об остальных продажах) билетов (и всего остального) ты можешь продать, и тем больше денег в тебя вкладывают.

Но даже в рамках этой модели предложение, поступившее в офис моего отца в сентябре 1980 года, казалось обманом зрения: южно-африканский бизнесмен Сол Керцнер, построивший огромное казино в некоей Бопутатсве, собирался заплатить мне и Боргу по 750 тысяч долларов за один выставочный матч, провести который планировалось в декабре в его казино «Сан-Сити». Победитель получил бы 250 тысяч долларов дополнительно, то есть была возможность заработать миллион долларов.

Миллион за один день! Даже сегодня это кажется неправдоподобной суммой. В 1980 году, когда доллар стоил раза в два больше, эта цифра была ещё более невероятной. Когда я поднял упавшую было с грохотом челюсть, то сказал отцу:

– Не могут такую огромную сумму предлагать за один только теннис.

В действительности так оно и было. Когда мы пригляделись, то обнаружили, что Керцнер приглашал нас сыграть в день “независимости” Бопутатсваны, но это государство, которое правительство ЮАР основала в 1960 году (и которое не было признано политическим сообществом), был очень далёк от независимости – фактически, это был крайне бедный племенной анклав.

Идея Керцнера – создать в южноафриканской пустыне новый Лас-Вегас – была в своём роде блестящей, но чем больше я советовался с друзьями, тем меньше мне хотелось быть в этом замешанном. Кроме денег, в этом предложении были и другие привлекательные стороны, кроме денег, но Артур Эш окончательно убедил меня, что я прав. Артур сам несколько раз ездил в Южную Африку – он играл турниры и старался своими словами и самим своим присутствием оказывать поддержку движению антиапартеида. Он чувствовал, что принять такую огромную сумму за выставочный матч – это совсем другое дело; фактически, это означает неявную поддержку апартеида и выставляет меня в невыгодном свете

В течение нескольких недель мы с отцом советовались с десятками людей и, наконец, решили отказаться от предложения (чего не сделал Фрэнк Синатра, который согласился на недельные гастроли в «Сан-Сити» в начале 1981 года, на открытии казино). Я решил, что у меня есть другие, лучшие, возможности заработать миллион баксов. После этого я мог с гордостью смотреть на себя в зеркало: практически впервые в жизни я открыто выразил свою позицию.

1980 год был для меня грандиозным годом; я вовсю наслаждался жизнью профессионального теннисиста и стал твёрдым вторым номером рейтинга. В начале января я отправился на итоговый «Мастерс», полный уверенности – и немного, совсем чуть-чуть упитанный.

Надо мной вновь замаячил призрак юниорского Кубка Дэвиса! Думаю, виной всему были праздники. Когда после Нового года, как раз перед «Мастерсом», я встал дома на весы, то весил 182 фунта – по крайней мере, на десять фунтов выше моего идеального веса (*прим.ред.– 82,5 кг и 4,5 кг лишних*). Впервые за долгое время я ощутил лёгкую панику. Для меня «Мастерс» всегда был одним из важнейших турниров: я любил производить хорошее впечатление на свою родную публику.

И как раз этого мне сделать не удалось. Публика старалась вовсю, но я проиграл Джину Майеру, проиграл Боргу (в матче, собравшем наибольшее число зрителей за всю историю для тенниса в зале) и, наконец, проиграл Хосе-Луису Клерку.

Я был вознаграждён только лишь победой в паре с Питером, в третий раз подряд (к счастью, при игре в паре не надо контролировать всю огромную площадь корта!).

Я поехал прямо домой и свалился с простудой, проведя неделю в постели. А затем я решил начать с Нового года новую жизнь и полностью отказался от пива и десерта. Это сработало – даже слишком хорошо. В апреле я поехал на Западное побережье для участия в турнире на харде в теннисном клубе Лос-Анджелеса. Я встал на весы в доме у Стейси (мы делали последнюю попытку возобновить наши отношения) и был слегка шокирован своим весом – всего 154 фунта (70 кг).

По всей видимости, это оказался хороший боевой вес: я победил в финале Лос-Анджелеса Сэнди Майера. Ранее, в конце марта, я одержал верх над Боргом в Милане, в зале на ковре, и над Томашом Шмидом во Франкфурте на том же покрытии, а позже, в апреле, я выиграл большой турнир в Далласе, в зале (в те дни этот турнир ценился наравне с Открытыми чемпионатами Австралии и Франции).

Но главным событием этой весны стал Кубок Дэвиса. Я три года играл в команде Тони Тратберта и внёс свой вклад в нашу победу в 1978 и 1979 годах. Но после того, как мы в 1980 году потеряли кубок, Тони не захотел больше оставаться капитаном.

Не в последнюю очередь причиной его ухода стало моё поведение. В Кубке Дэвиса у меня было своего рода сольное шоу, и Тони был сыт по горло моими выступлениями. Когда я играл в Кубке, я ни на йоту не сбавлял свой темперамент и готовность спорить по любому поводу. Я знаю, это не всегда устраивало Тони (оглядываясь назад, меня также не устраивает, что я не сумел выразить своё почтение, например, бывшему теннисисту Ники Пьетранджели, который судил наш матч с Аргентиной, и на которого я давил со своим обычным сумасбродством).



Тони раньше был прекрасным игроком.

Он был последним американцем перед Майклом Чангом, который выиграл «Ролан Гаррос», но он был теннисистом старой школы: пусть за тебя говорит твоя ракетка.

Я определённо был новой школы.

Возможно, последней каплей стала наша игра против Мексики в Мехико. Публика на Кубке Дэвиса в Латинской Америке – это что-то с чем-то: постоянное скандирование, развевающиеся флаги, бой барабанов – всё это вместе взятое и даже больше. Если зрителям в Мехико что-то не нравилось, на корт летели монеты и подушки со стульев. Это действительно была буйная публика.

Подстать публике был и я. Правду сказать, тогда мы с Питером Флемингом действовали сообща – во время нашего парного матча мы оба вели себя наихудшим образом. Я ещё добавлял масла в огонь, ругаясь с капитаном мексиканцев, который понимал меня без переводчика.

В 1981 году Тони заменил Артур Эш, и что это была за разница! Не то чтобы он был хуже или лучше – просто совершенно другой.

Тони любил поговорить. Перед матчем он спрашивал, не хотим ли мы какую-нибудь подсказку для сегодняшней игры – выходить вперёд, высоко подбрасывать мяч при подаче и тому подобное. Мне это нравилось.

Артур же был статуей. Не поймите меня превратно: я считаю, что вне корта Артур был отличный мужик. Мы могли вместе сходить пообедать, разговаривали, смеялись. На корте, однако, он практически не говорил. Если я взрывался из-за решения судьи, он мог подойти и двумя-тремя негромкими словами попросить меня успокоиться – и это все. Обычно он просто сидел на стуле около сетки и наблюдал.

Наша первая встреча опять была с Мексикой, на этот раз уже дома (слава тебе, Господи!), в Ла Косте, рядом с Сан-Диего. Во время своего первого сезона в Кубке Дэвиса Артур считал очень важным постараться заполучить в команду и меня, и Коннорса. Как я уже говорил ранее, Коннорс совершенно точно не был приверженцем Кубка Дэвиса; точнее сказать, он был «уклонист».

В этом году было то же самое. Коннорс мычал и отнекивался: конфликт с турнирным расписанием, болит палец на ноге – да все что угодно. Чего ещё можно было ожидать? Для Джимми теннис означал деньги – а какие там деньги на Кубке Дэвиса!

Но когда мы прибыли в Ла Косту, кто бы, вы думали, там появился? Джеймс Скотт Коннорс собственной персоной – чтобы потренироваться с нами! Артур, всегда невозмутимый, как сфинкс, выглядел почти озадаченным. Это было похоже на подвох. Кто хоть когда-нибудь знал, что у Джимми на уме?

Как оказалось, он мог бы нам пригодиться и на корте. Даже без своих родных трибун с барабанами и летящими подушками команда Мексики почти нокаутировала нас после того, как Роско Таннер проиграл первый матч Раулю Рамиресу, а затем Рамирес и семнадцатилетний студент из Лос-Анджелеса Хорхе Лозано победили Шервуда Стьюарта и Марти Риссена в паре. Мне пришлось победить Рамиреса в финальном матче, чтобы вырвать общую победу. Впервые с 1961 года команда США отыгралась со счета 1-2.

Артур почти улыбнулся.

Этой весной моя сетка на Открытом чемпионате Франции была нетрудной до четвертьфинала, где я выходил на Лендла. Однако, несмотря на недавнюю череду поражений от Ивана, я был вполне уверен в себе. Моя уверенность просто выросла в целом – я был готов, быстр и силен. Я чувствовал, что могу победить любого.

Это лишь доказывает, насколько же теннис непредсказуем. Этой весной в Париже было холодно и туманно, воздух тяжёлый,

Центральный корт влажный и медленный. Условия не способствовали стилю “подача – выход к сетке” – было слишком трудно пробивать навывлет. Казалось, что бы я ни делал, у Лендла на всё находился ответ. Он завершил игру, победив меня в трёх сетах.

Я проглотил это. Я твёрдо знаю, что признак настоящего чемпиона – в любом виде спорта – это способность принять поражение и немедленно восстановить веру в себя. Проигрыш в Париже был очень неприятен, но я знал, что если смотреть шире, это лишь небольшая заминка на фоне успешного сезона. К тому же, мои устремления были направлены к другой, более желанной награде.

Моя следующая победа в разогревочном турнире на траве в Квинсе подтвердила, что я готов к «Уимблдону». Однако, моя уверенность имела и свою оборотную сторону: парадоксальным образом – это трудно объяснить – она заставляла меня нервничать тогда, когда никто об этом даже не догадывался. Самым трудным для меня было всегда соответствовать своему уровню: побеждать в первых кругах тех, кому я не мог позволить себе проиграть, и доходить до финалов, куда я, само собой разумеется, обязательно должен был попасть.

Уже на «Уимблдон-77» я понял, не признаваясь в этом самому себе, что могу стать самым лучшим: лучшим теннисистом в мире. Моё дальнейшее продвижение по рейтингу подтвердило это моё убеждение, но тут возникла проблема, которая затем только росла: почти каждый противник оказывался тем самым парнем, которому я не должен проигрывать.

Это давление стало просто непередаваемым. Я сопротивлялся ему, как мог, выстраивая защиту, которую почти никто и ничто не смогло бы пробить.

Почти.

Катастрофа может случиться даже тогда, когда всё идёт, казалось бы, хорошо – это подтвердит любой выдающийся спортсмен, особенно теннисист, потому что в теннисе ты предоставлен самому себе. И наоборот: как бы плохо всё ни шло, ничего не потеряно, пока матч не закончен. Что бы там ни было, расслабляться никогда не приходится. Что до меня, то в моем воображении катастрофы разыгрывались почти всегда.

Ты стараешься подвести себя к состоянию, в котором ты так готов физически и так настроен на борьбу, как это только возможно. Но когда вы сделали всю подготовительную работу, на первый план выходит психология. У меня было достаточно внутренней силы, чтобы верить: я могу победить любого, в любое время, на любом покрытии. Но за моей крепостной стеной не все было так благополучно. Внутри меня всегда жил демон, с которым мне приходилось бороться. И этот демон – страх поражения.

Чувство облегчения оттого, что я не проиграл, было у меня такое же сильное, как радость победы, а может и ещё сильнее. Говорят, если у тебя все отлично – расслабься, пусть все идёт, как идёт, но как раз тогда я начинал нервничать. И как раз тогда чаще всего случались мои срывы на корте.

Я мог совершенно подавить своего противника, быть впереди 6-2, 6-2, 2-0 и 40-0 на его подаче, но в то время, как он уже фактически вышел из игры, на его место заползали мои же негативные мысли и начинали свою атаку. И так как я не умел шуткой разрядить ситуацию, напряжение все росло, пока не начинало лезть у меня из ушей.

А потом и изо рта.

Я был невыносимо напряжён во время «Уимблдона» 1981 года, потому что после победы над Боргом на «US Open» я знал, что могу выиграть «Уимблдон», должен выиграть «Уимблдон», обязан выиграть «Уимблдон» – если не произойдёт какая-нибудь катастрофа.

Что ж, катастрофа действительно произошла, она все разрасталась, раунд за раундом, каким-то образом я продолжал продираться вперёд – попутно настраивая всех против себя.

Несколько лет назад я стал здесь знаменитостью, а «Уимблдон-1981» сделал меня скандальной знаменитостью.

С самого начала всё пошло наперекосяк. Хотя впоследствии этот матч стал одним из известнейших моих матчей, я уверен, почти никто не помнит, когда и с кем я играл; итак: Том Галликсон, первый круг «Уимблдона-81», корт № 1.

Опять эти Галликсоны! Выбирайте любого.

В первых кругах соревнований я часто бывал на взводе, но на этом турнире нервы у меня были натянуты, как струна. Ко мне подошёл судья, довольно приятный джентльмен средних лет по имени Эдвард Джеймс, и сказал нечто несообразное:

– Я шотландец, у нас ведь не будет проблем, не правда ли?

Я догадался, что раз моя фамилия начиналась на Мак, он решил, что мы молочные братья!

– Я ирландец, – ответил я резко. Нервно.

Это был первый камешек будущей лавины.

Я плохо себя вёл на «Уимблдоне» и раньше. Я уже был “Super-Brat” (*чрезвычайно испорченный ребёнок*). Сейчас я поднял планку. Том был довольно-таки упорный соперник на траве, но в этот день у меня были гораздо более опасные враги. Несмотря на то, что я в итоге выиграл в трёх сетах 7-6, 7-5, 6-3, я не мог расслабиться, когда повёл в счёте: демоны в моей голове так и кишели. Когда Галликсон повёл во втором сете 4-3 после неудачного решения линейного судьи не в мою пользу, я сломал свою ракетку (Wilson Pro Staff), и Джеймс сделал мне замечание.

Вот это я понимаю, деловой подход. А в наши дни – ну что это? Стучат ракеткой о корт – то ли сломается, то ли нет...

А потом линейный судья определил, что моя подача ушла по длине, в то время, как я ясно видел поднявшееся облачко мела. Тут я швырнул свою новую ракетку и выкрикнул фразу, которая была родом из Квинса, но впоследствии обошла весь мир:

– Не может быть, что вы это всерьёз!

Я прервал игру, подошёл к мистеру Джеймсу и спросил его, видел ли он взлетевший мел.

– Да, там был мел, – ответил Джеймс, – Но этот мел взлетел, когда мяч приземлился за линией (*прим.ред.– В принципе такое может произойти за счёт потока воздуха, следующего за мячом*).

Я закатил глаза, покачал головой и пошёл к задней линии, чтобы продолжить игру. Но затем при счёте 1-1 в третьем сете Галликсон при подаче не попал в квадрат, но судьи промолчали. После того как мы разыграли очко (моё возмущение росло с каждым ударом) я спросил Джеймса, не заметил ли он случайно, что подача была в ауте.



– Подача попала в квадрат, мистер Макинрой, – ответил он.

– Ёлки, тупее вас на всём свете нет! – выкрикнул я. Ещё один колоритный штришок северо-восточного Квинса.

Джеймс записал что-то в своём блокноте и поднял глаза.

– Я снимаю с вас очко, мистер Макинрой, – сказал он.

Мистер Эдвард Джеймс никогда не был в Квинсе. Как впоследствии оказалось, он записал вместо “ёлки” “ёб ты”. Отсюда следовал штраф очком за “непристойное оскорбление”. Тогда я, конечно, этого не знал и побагровел. Я потребовал вызвать рефери. Вышел рефери Фред Хойлс – фермер из Линкольншира.

К месту или нет, я сравнил происходящее на корте со скотным двором. Потом я указал на Джеймса и закричал – достаточно громко, чтобы меня услышали и телезрители, и большинство зрителей на трибунах:

– Вы же не собираетесь снимать с меня очко за то, что этот парень некомпетентный осёл!

После матча я был оштрафован на 750 долларов за оскорбление и на ту же сумму за неподобающий спортсмену комментарий в адрес судьи. Меня предупредили, что в случае моего дальнейшего “неподобающего поведения”, я буду оштрафован на 10 тысяч долларов и, возможно, отстранением от турнира. Поверьте, мне было стыдно. Мне бывало ужасно стыдно каждый раз после того, как я выходил из себя, кроме тех редких случаев, когда я считал, что мой оппонент получил по заслугам. Но это действительно были редкие, очень редкие случаи. Я тысячи раз извинялся перед судьями и игроками.

И я обращаюсь к тем, кто в своё время не получил от меня заслуженного извинения: приношу вам свои извинения сейчас.

После матча лондонские таблоиды впали в неистовство: “ПОСТЫДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЖОНА МАКИНРОЯ!”, “ПОЗОР СУПЕР-КАПРИЗУЛЕ!” – гласили огромные черные заголовки.

Одна газета процитировала психиатра местной больницы, который назвал меня классическим примером “истерического экстраверта”.

Истерический экстраверт! С первым словом я ещё кое-как соглашусь – но насчёт второго определения у меня большие сомнения.

Стейси, которая играла в женской сетке, была ошеломлена, и более всего – на следующее утро, когда толпа репортёров и фотографов преследовала её по дороге от гостиницы к тренировочным кортам. (Особенно ей было обидно, что, хотя от наших отношений осталась одна только видимость, официально мы ещё не расстались, и газетчики считали её моей девушкой). Вечером она проиграла матч и улетела в Штаты.

В следующих четырёх кругах я прикусил свой язык – более или менее. Однако я сказал отцу, что если я выиграю в этом году, а официальные лица и английская пресса продолжат донимать меня, я сюда больше не вернусь.

Довольно часто случается, что на «Уимблдоне» кто-то насеянный проносится по турниру, убрав с дороги одно-два громких имени, и достигает финальной стадии турнира. Иногда это даже юный “квалифай” (*прим.ред.– Игрок, сумевший успешно пройти квалификационный турнир и попасть в основную турнирную сетку*). Не говоря обо мне, ещё более удивительный прорыв совершил и Борис Беккер в 1985 году.

Это произошло и в 1981 году, правда, это был не выходец из квалификации и не юнец, подающий надежды, а двадцативосьмилетний

австралиец Род Фроули. Он хорошо играл на траве, но на момент нашей с ним встречи в полуфинале был насеянным игроком (и 110 номером рейтинга). Весь этот расклад сразу выводила меня из равновесия.

Я рвался к финалу с Боргом, уверенный, что он одолеет Коннора во втором полуфинале. Кроме того, я был необычайно возбуждён – не лучшее моё состояние. Таких матчей, как с Родом Фроули, я боялся больше всего – это был матч, который я был обязан выигрывать, иначе буду выглядеть просто посмешищем (*прим.ред.– На тот момент австралиец Фроули был 110 в рейтинге ATP*).

У Фроули была огромная копна курчавых волос, как у рок-звезды, и очень выгодное положение: он так далеко прошёл, что ему нечего было терять, и он собирался выложиться полностью. К тому же, австралийцы обычно не слишком почтительно относятся к авторитетам.

Мало сказать, что я его не уважал – я был высокомерен. С самого начала игры я бормотал про себя что-то о выскочке, который считает, будто достоин находиться на одном корте со мной. Конечно, это была чистая бравада, порождённая страхом – смешно было даже допустить мысль, что по какому-то капризу судьбы я остановлюсь в шаге от желанной цели, но демоны, которые копошились в глубине моего сознания, вполне допускали такую мысль.

Если Фроули не слышал слов, то, безусловно, понимал их смысл, и он ему совсем не нравился. Как только я предъявлял претензии линейному судье – я делал это чаще обычного, он тут же жаловался судье на вышке, офицеру Королевских ВВС Джорджу Грайму. Мы сыграли упорный первый сет (гораздо упорнее, чем мне бы хотелось), и после очередного возгласа “Аут” моё терпение лопнуло.

– Ты позор человечества! – закричал я. (Не всем репликам суждено было стать бессмертными).

– Замечание, мистер Макинрой, – объявил офицер Грайм.

– Но я имел в виду себя, господин судья, – попытался я оправдаться. По правде говоря, я понятия не имел, кого именно я имел в виду.



Я выиграл матч в нервных трёх сетах, и тут полученное мной предупреждение стало реальностью: я был оштрафован на 10 тысяч долларов за неподобающее поведение (впоследствии я подал апелляцию и выиграл).

Как описать моё состояние перед финалом? Счастливое, но нервное или нервное, но счастливое? Я был взволнован предстоящим матчем, к которому я так стремился, но Борг выигрывал здесь невероятные пять раз подряд. С другой стороны, у меня уже был опыт финала «Уимблдона», финала, который я почти выиграл. Я уже победил его в финале «US Open». Но сколь бы ни были высоки мои шансы, я знал, что в знаменательном матче может произойти всё, что угодно, особенно на Центральном корте.

Одно было, ясно: я не могу себе больше позволить ни одной выходки. Благодаря моему старту на турнире, который был столь богат событиями, я знал, что стоит мне открыть рот, как в ту же секунду накинута официальная лица и зрители. И я также знал, что должен беречь каждую унцию своей энергии.



Я начал матч пассивно. Я был скован и перевозбуждён. Я чувствовал, что зрители настроены против меня (я начинал к этому привыкать). С другой стороны, моё возбуждение было объяснимо: это была кульминация тенниса, матч-реванш, о котором я мечтал, против игрока, которому я поклонялся с детства.

Борг выиграл первый сет со счётом 6-4. Но я разыгрался и матч превратился в рукопашную. Чтобы взять второй сет, мне пришлось выиграть напряжённый тай-брейк. Все к этому шло и в третьем сете. Где-то глубоко в сознании, за моими натянутыми нервами, за настроением выкладываться в каждом розыгрыше, закопошилась мысль: Он не так жаждет победы, как в прошлом году. Этот матч предназначен мне, надо только суметь его взять.

В тай-брейке третьего сета у Борга был сет-пойнт. Потом из-за ошибки линейного у него появился двойной сет-пойнт. Я собрал все свои силы и отыграл один сет-пойнт. Потом другой. Потом я выиграл сет.

Я ни на миг не расслаблялся, пока не выиграл последнее очко в матче, но когда я взял третий сет, то почувствовал всем своим существом, что я двигаюсь к победе.

Когда мы пожимали друг другу руки, Бьорн как будто испытывал облегчение. (А я? Чего у меня было больше – облегчения оттого, что я не проиграл, или возбуждения оттого, что выиграл? Боюсь, я и сейчас не смогу вам ответить.)

Но могу вам сказать, что я думал, поднимая кубок над головой: неважно, что я говорил отцу – я хочу выиграть его снова. Я знал, что вернусь назад.

Вскоре после матча Алан Милс, помощник рефери турнира, позвонил отцу и спросил, приду ли я на обед в честь победителей «Уимблдона». Отец пообещал узнать, но я сослался на крайнюю усталость. Я хотел расслабиться (наконец-то!) и отпраздновать победу со своими друзьями, в том числе и со своими новыми приятелями из группы «Pretenders». (Вокалистка этой группы Крисси Хайнд вскоре вставит мою уже знаменитую фразу “You are the pits of the world!” (*Вы самое худшее из того, что есть в мире*) в свою песню «Прекратите это!») Честно говоря, от одних слов “Уимблдонский банкет” тянуло в сон. Может быть, я скажу несколько слов и ограничусь кофе и десертом?

Это звучало приемлемо для обеих сторон, но когда Милс обратился к Сэру Брайану Барнетту, директору турнира, ответ прилетел, как пушечное ядро: “Если Джон не намерен оставаться на весь банкет, его приглашение отзывается”.

Отзывается! Мы решили, что это чересчур. Это казалось худшим проявлением деспотизма «Уимблдона» – я не пошёл на банкет. Я предпочёл общество своих друзей.

Вскоре у лондонской жёлтой прессы был ещё один знаменательный день. Вышла новость, что впервые за сто лет «Уимблдон» решил не давать автоматическое членство во «Всеанглийском клубе» чемпиону в мужском одиночном разряде мистериу Макинрою “за его неподобающее поведение и эксцентричные выходы во время турнира”.

Узнав об этом в Нью-Йорке, я только пожал плечами. В любом случае, им придётся со мной встретиться, когда я буду защищать свой титул.

Я стал первой ракеткой.

Это произошло на «US Open» и произошло самым причудливым образом.

Наконец-то я был готов занять место Борга. Казалось, я наконец-то подобрал ключик к игре Борга. Все последние три встречи с ним

я выиграл: на прошлогоднем «US Open», в Милане и на «Уимблдоне». Теперь, если я дойду до финала, то буду сражаться за кубок, который Борг не выигрывал ни разу, а я выиграл два раза подряд.

В полуфинале я играл с Витасом. Это был грандиозный пятисетовый матч, полная противоположность нашего финала 1979 года, когда его тусклая игра разочаровала. В этот раз Витас бил по мячу с невиданной для него яростью. В пятом сете у него немного подседа подача, и это дало мне преимущество.

Самое начало финального матча – знаменитая подача Макинроя во всей красе.

В финальном матче на следующий день мы с Боргом обменялись сетами, и он вёл 4-2 в третьем.

Он уже дважды взял мою подачу и подавал, чтобы довести счёт до 5-2, но я выиграл два очка великолепными кручеными свечками через его голову. После второй свечи, клянусь, Бьорн буквально сдулся на моих глазах.

И тут произошло нечто небывалое: он швырнул полотенце – я никогда не видел, чтобы он вёл себя подобным образом. Отставая в третьем сете 2-4, в итоге я выиграл его со счётом 6-4, а четвёртый стал для меня лёгкой прогулкой: 6-2.

В этом сете, Борг, казалось, уже махнул на матч рукой.

На выставочных матчах, а иногда и на больших турнирах, бывают моменты, когда ты себя так плохо чувствуешь, физически или морально, что просто не в состоянии полностью выкладываться. Это безвыходная ситуация. Ты не хочешь проигрывать, но каждый раз опаздываешь к мячу и оставляешь после удара часть корта открытой.

В этот момент ты всем своим видом словно говоришь сопернику:

– Это место не защищено – пошли сюда мяч, розыгрыш будет твой, и все поймут, как ты крут.

Именно это случилось с Самprasом, когда он играл с Хьюитом в финале «US Open». У Пита словно кончилось горячее, казалось, что его ноги приклеиваются к корту.

То же самое случилось и с Боргом в 1981 году – только мне не казалось это физической усталостью. Он пожал мне руку у сетки. Затем он подошёл к своей сумке, поднял её, ушёл с корта, ушёл со стадиона, сел в машину (она ждала его) и уехал – не прошло и нескольких минут после последнего розыгрыша.

Никакой церемонии. Никакой пресс-конференции. Ничего. Единственный раз я видел такое на Открытом чемпионате США 1977 года, в матче между Виласом и Коннорсом, когда лайнсмэн ошибся на матч-боле. Хотя Вилас выиграл последний сет 6-0, Джимми ушёл с корта, не пожав Гильермо руку, и покинул стадион.

Затем стало известно, что Бьорну, кажется, угрожали убийством. Очевидно, такая угроза может выбить человека из колеи, наверное, это всё объясняет. Или не объясняет.

Что бы там ни было, теперь я официально сместил Борга с первого места в мировом теннисном рейтинге.

Этот год с грохотом захлопнул за собой дверь на финале Кубка Дэвиса в Цинциннати. В прошлом году мы проиграли Аргентине в Буэнос-Айресе, а сейчас настал час расплаты – правда, требовать расплаты от команды, возглавляемой Клерком и Виласом, не такое уж лёгкое дело.

Они были блестящими одиночками, номер 5 и номер 6 в мире. Я был уверен в себе и должен был выигрывать свои одиночные

встречи, Роско Таннер имел минимальные шансы только с Виласом.

Таким образом, парная встреча оказывалась ключевой.

На бумаге мы с Питером были парой номер один в мире, но это ровно ничего не значило в боевых условиях, а Кубок Дэвиса – это именно бой.

Кроме всего прочего, Хосе-Луис и Гильермо не разговаривали друг с другом.

Аргентина намного меньше США, поэтому Клерк и Вилас были там крупными фигурами, гораздо крупнее, чем любой американский теннисист в своей родной стране, и даже во времена теннисного бума. Они были национальными героями, и каждый заботился о своём образе и репутации. Вилас в Аргентине был бог, национальная легенда: такого блестящего сезона, как у Виласа в 1977 году, не было ни у одного теннисиста Латинской Америки.

Клерк лишь немного уступал Виласу и быстро к нему приближался.

Ему было всего 23 года, а Гильермо уже скоро 30 – солидный возраст для теннисиста. Все это уже само по себе порождало соперничество, а кроме этого, между ними были и другие разногласия – кто должен быть капитаном команды, как делить призовые деньги за выступления в Кубке.

У нас с Питером случались трения, но ничего похожего и близко не было.

Тем не менее, я считаю, что два великих одиночных игрока могут составить высокоэффективную пару – всё равно, разговаривают они или нет. Именно это и произошло в Цинциннати.

И много чего ещё произошло.

Этот был безумный вечер, с начала до конца. Казалось, во время матча случилось все, что только возможно. Там были и необузданные темпераменты (мы с Клерком тоже не особенно ладили), и ошибки судей, и отвратительное поведение.

Вначале матча мы с Питером поймали свой ритм и легко выиграли первый сет. Зрители кричали, топали ногами, размахивали американскими флагами. Но во втором сете аргентинцы сделали что-то странное: они поменялись сторонами. Они имели на это право. Вилас, левша, раньше играл с левой стороны, но теперь он стоял справа, и форхенды аргентинцев оказались посередине. Неожиданно они заиграли намного, намного лучше.

Сначала мы даже не обратили на это внимания. Но потом, в середине второго сета, произошло нечто невиданное.

Одно из преимуществ проведения матчей Кубка Дэвиса на домашней арене – возможность выбора наиболее удобного для вас покрытия. Само собой, в Латинской Америке мы всё время должны были играть на красном грунте, и мне приходилось строить свою стратегию, исходя из долгих розыгрышей. В этом году, на правах хозяев, мы постелили в зале быстрый ковёр, который больше всего подходил к моему стилю “подача – выход к сетке”. В середине второго сета Вилас указал ракеткой на щёлочку в шве покрытия.

– Rota (исп.), – сказал он, – дефект покрытия – оно расходится.

Оба аргентинца подошли к судье на вышке, Бобу Дженкинсу из Великобритании, и сказали, что требуют устранить трещину. Немедленно.

– Мы починим покрытие позже, – ответил Дженкинс.

– Нет-нет, мы хотим сейчас, – настаивал Вилас. – А вдруг мы поскользнёмся и упадём.

Мы понимали, что они хотят выбить нас из колеи. Они нащупали возможность хорошенько разогнаться и хотели устроить перерыв, чтобы собраться с силами, а может, и укрепить свой дух, а потом помчаться на всех парах к победе. Оставалось только покачать головой.

Судья все ещё колебался. Тогда Вилас подошёл к этому шву, наклонился, ухватился за край ковра и потянул. Силы ему было не занимать – он тянул, пока не отклеил около 30-ти футов кромки ковра (*прим.ред.– Это около 9-ти метров. Мне кажется, Джон перегнул палку – этак Вилас должен был бы разрушить практически весь корт. Возможно, ноль в этом числе лишний, и Вилас отодрал всего около метра покрытия – вполне достаточно для своих целей*).

– Ах, посмотрите! – обратился он к судье. – На этом корте нельзя играть. Идите, посмотрите на него.

Аргентинцы получили свой перерыв, а мы были вне себя. Мы отправились в раздевалку и сидели там 25 минут, представляя, как они потешаются над нами.

Когда они вернулись, то уже были командой – и не просто командой, а супер-командой, как Бэтмен и Робин. Теперь они поймали кураж, ход матча полностью изменилась, и Аргентина выиграла второй сет. Качество тенниса было поразительным: обе команды играли остро и агрессивно, но каждый розыгрыш продолжался на 6-7 ударов дольше, чем можно было ожидать.

Пара Вилас-Клерк. Эта иллюстрация неточно отображает ситуацию. Как её следует изменить?

Тем временем их капитан, Карлос Хункет всякий раз при решении лайнсмэнов не в пользу Аргентины вскакивал на ноги и начинал спорить. В конце концов, я подошёл к нему и высказал всё, что я думаю о нём как о тренере.

Клерк, самая горячая голова в той команде, высказал всё, что он думает обо мне. Я не остался в долгу.

– Успокойся, Джон, – попросил Артур.

Зрители затопали сильнее, закричали громче, замахали быстрее. Мы выиграли третий сет. Нам нужен был ещё один.

Я подавал в первом гейме четвёртого сета. Каждый раз, когда я подходил к линии подачи, принимающий, Клерк или Вилас, отходил в сторону, протирал свою ракетку, говорил кому-то несколько слов. Это была тактика затяжек времени, простая и безупречная: они надеялись сбить мою подачу. Однако, эта тактика не сработала – я все равно выиграл гейм.

Когда мы менялись сторонами, Клерк остановился у вышки и начал на что-то жаловаться судье, а я – каюсь, но меня тошнило от его приёмчиков – пробормотал что-то оскорбительное. В профессиональном теннисе это случается чаще, чем, кажется (это бывает даже у женщин). При смене сторон вы или проходите мимо в ледяном молчании, или бормочете себе под нос всякие гадости, иногда даже пихаете друг друга. Как-никак, вы гладиаторы. Кубок Дэвиса не исключение.

Мои слова прозвучали громче, чем я рассчитывал. Клерк повернулся ко мне и пропел, подражая манерной кокетке:

– Ах, Джон, какой ты милый!

Я взорвался. Я отшвырнул ракетку, придвинулся к нему вплотную и принялся орать на него, а он стал орать на меня. Все подбежали, чтобы прекратить эту сцену: Питер, Вилас, Артур, аргентинский капитан и рефери – датчанин Курт Нильсен. Артур прямо вскипел, он пытался схватить меня и силой оттащить от Клерка – ни больше, ни меньше, и Питеру пришлось его удерживать. Беснующаяся публика вскочила на ноги.

Наконец, через несколько минут мы вернулись к игре. Но когда я начал чем-то громко возмущаться, Артур указал на меня пальцем и произнёс:

– Ну-ка, ты, прекрати. Сейчас же прекрати и играй.

Я заткнулся: я никогда не видел его в таком состоянии. Даже на следующем переходе Артур снова начал читать нам нотацию. Питер перебил его:

– Ну-ну, мы все в одной лодке, – примирительно сказал он. – Лучше мы сейчас вернёмся на корт и врежем им как следует.

Клерк и Вилас продолжали чередовать длинные удары с отскока и крученые свечи – запутывая нас, выбивая с корта. Они взяли четвёртый сет 6-4, а в финальном сете мы поочерёдно выигрывали геймы, пока аргентинцы не нацелились на мою подачу и не сделали брейк (мы с Питером не так уверенно чувствовали себя у сетки). И вот Вилас стал подавать при счёте 7-6.

Если бы он удержал свою подачу, то судьба матча и, прямо скажем, всей встречи, была бы решена. Я знал, что смогу одержать верх над Клерком, но Роско было не справиться с Виласом.

Мы взяли подачу Виласа под ноль.

Клерк подавал при счёте 9-10 – шёл двадцатый гейм пятого сета, публика уже охрипла, – ему надо было сравнивать счёт по геймам. Весь матч у него была мощнейшая подача: он удерживал её двенадцать раз подряд. Но это был тринадцатый раз, и так как в важных матчах Кубка Дэвиса всегда была какая-то мистика, это число могло стать для него роковым. Когда моя свеча пролетела над головами аргентинцев, задела угол корта и унеслась прочь, мы с Питером вскинули руки вверх, а публика вскочила на ноги. Двадцать геймов – это был самый длинный пятый сет в истории Кубка Дэвиса начиная с 1907 года.

Когда после матча мы вспомнили слова нашего спарринг-партнёра Виктора Амайи на утренней разминке, результат матча показался нам ещё более сверхъестественным. Утром все были убеждены, что мы с Питером просто сметём Виласа и Клерка, но Вик сказал:

– Думаю, вы победите 11-9 в пятом сете.

На следующий день во встрече с Клерком я был безупречным джентльменом – ну, или практически безупречным. Весь наш пыл мы растратили в парной игре – во время нашего одиночного матча мы просто играли в теннис. И этот теннис действительно был хорош. Мы обменялись сетами, и я отставал в третьем сете 1-3, но потом взял этот сет, выиграв пять геймов подряд, и во время перерыва ушёл в раздевалку. Я твёрдо решил после перерыва наброситься на Клерка и завершить матч, но вместо этого он набросился на меня, удивляя своей агрессивностью, и взял верх в четвёртом сете (6-3). Опять всё решалось в пятом сете.

Должен сказать, что хотя моя физическая форма часто оставляла желать лучшего, я выиграл больше пятисетовых матчей, чем кто-либо ещё. В пятом сете побеждает тот, кто сохранил холодной голову. Я знал за собой, что могу дрогнуть при определённых обстоятельствах, но я никогда бы не стал тем, кем стал, если бы не мог прибавлять на ключевых очках, в ключевых геймах, в ключевых сетах. На этот раз я прибавил в подаче. Моя подача была хороша на протяжении всех четырёх сетов, но в пятом у меня появилось чувство, что я могу выиграть любое очко на подаче, стоит только пожелать. Когда в четвёртом гейме я взял подачу Клерка под ноль, я знал, что матч уже мой. Я летел вперёд, не сбавляя оборотов и не ослабляя хватки, но я знал, что матч уже мой. Когда в четвёртом гейме удар с лёта Клерка улетел в аут, я подпрыгнул на фут и вскинул кулак; публика вскочила на ноги, скандируя:

– С-Ш-А, С-Ш-А!

У меня мурашки побежали по телу. Это было такое редкое и волнующее ощущение: заполненный до отказа стадион был весь на моей стороне – я знал, что не подведу свою страну. Каждый раз при смене сторон на Кубке Дэвиса ты проходишь мимо этого кубка, стоящего на столе, и он смотрит прямо тебе в лицо. Я хотел, чтобы он стал моим.

В последнем гейме я послал пять пушечных подач. В первом розыгрыше я смазал лёгкий удар с лёта, но больше не повторял эту ошибку. При приёме последней подачи Клерк едва коснулся мяча. Я подскочил в воздух, издал победный клич, потом перепрыгнул через сетку и пожал Клерку руку. Я оказался в объятиях Артура, затем Билла Норриса. Я повернулся к толпе и поднял указательные пальцы к небу. Публика бушевала. Потом я обнялся с каждым членом команды.

Я был героем – очень необычное чувство для вашего покорного слуги.

Было воскресенье 13 декабря 1981 года. Это был длинный и удивительный год. Я выиграл «Уимблдон», «US Open» и три очка в финале Кубка Дэвиса. Последний американец, кому это удалось, был Дон Бадж в 1937 году.

Я стоял на вершине. Куда же я направлюсь теперь?

Глава 7

Вот как было дело: в конце 80-го года мы вместе с Боргом, Коннорсом и Витасом играли “выставку” в прекрасном зале во Франкфурте.

В полуфинале Витас играл с Боргом, Бьорн пропустил обводящий удар и, думая, что его всё равно не услышат из-за шума, сказал: “Shit!”. Но получилось, что в момент, когда он это сказал, в зале было относительно тихо, и его услышал буквально каждый! У Витаса прямо челюсть отвисла, и в следующий момент он упал на колени, отвешивая Боргу поклоны, в то время как толпа приветствовала его стоя.

Такая реакция Борга была просто из ряда вон. Точно так же, как и любой звук с моей стороны, когда мы играли друг против друга. В наших матчах эта перемена особенно бросалась в глаза, гораздо больше, чем в матчах с другими игроками, большинство из которых хоть как-то реагировали. Позже даже Сампрас оспаривал судейство; более того: сам Виландер спорил с судьями и иногда злился; Лендл никогда не был плохим актёром, но и он часто выходил из себя.

И как только человек умудрялся не изменять выражение лица более 3 или 4 раз за 12 лет своей карьеры?

То, что случилось на этом выставочном матче во Франкфурте, говорило думаю о том, что Бьорн наконец немного расслабился. А может, он просто уже принял важное для себя решение.

Осенью 81-го года после «US Open» мы участвовали в серии выставочных матчей в Австралии. Мы с Бьорном и Витасом пили пиво перед пресс-конференцией, и Бьорн сказал: “Я завязываю с теннисом”. Мы не приняли это всерьёз. Если честно, мы с Витасом даже рассмеялись: “Шутишь?!” – сказал я, – “Что, чёрт возьми, ты собираешься делать? Тебе же всего двадцать пять!”. Но Бьорн был чертовски серьёзен и лишь повторял: “Нет, нет, с теннисом покончено!” Мы с Витасом сидели, потеряв дар речи. А потом мы спустились на пресс-конференцию, и Борг не замедлил рассказать журналистам, с каким нетерпением он ждёт следующего года, чтобы снова играть. Я, помнится, подумал, что из него бы вышел прекрасный политик. Что тут говорить – он меня обескуражил (удивил/смутил).

Тогда о Борге много говорили, потому что он не подписал соглашение с АТР на следующий год: каждый год на «US Open» мы

должны были составлять расписание на весь следующий сезон и подписывать контракт, определяющий, какие турниры мы собираемся играть. В сентября 81-го Борг это соглашение подписывать не захотел. Он чувствовал, что эмоционально к этому не готов. Тогда ему сказали, что не подпиши он контракт, в каждом турнире следующего года ему придётся проходить через квалификацию. Как и все топовые игроки, я понимал, что это была пощёчина одному из величайших чемпионов, но АТР заявила: “Мы должны следовать правилам”.

Мне было ясно, что эта организация действовала не в интересах тенниса. Что-то похожее могло произойти в коммунистической стране. Я считал, что обходиться так со своим первым номером – это скандал. Вообще, по-моему, они должны были отнестись к этому так: “Слушайте, этот парень перегорел, ему нужен отдых. Давайте дадим ему столько времени, сколько нужно – пусть отдохнёт от игры месяца два-три-четыре, а когда будет готов вернуться, пусть делает, что хочет”.

А в результате все спрашивали Бьорна: “Что Вы собираетесь делать в будущем году?”. Я решил, что его слова о прекращении карьеры были дипломатической уловкой: или же ему был нужен перерыв, или же он переживал, что потерял первое место в рейтинге и не выиграл на «US Open» – да что угодно. Я не думал, что он настроен серьёзно.

Но потом до меня дошло, что он не шутит.

И произошло это, когда мне стали говорить: “Ты выбил его из игры”. Говорили, что Борг понял, что не может обыграть меня на «US Open» или «Уимблдоне», что мой стиль игры был ему не по силам. Вот он и ушёл.

Но вот в чем штука: к тому моменту у него было что-то вроде 10 побед кряду над Коннорсом, в тот год он победил его в полуфинале «US Open». В худшем случае он был бы твёрдый второй номер. Никогда не знаешь, что может случиться на мейджоре. Я мог проиграть, и Бьорн в итоге играл бы с кем-нибудь другим в финале, например, с Джимми. Я мог получить травму. Да могло произойти что угодно! Уйти так поспешно, когда ты ещё так близок к первому месту, казалось безумием.

На самом деле я и правда думаю, что его уход связан со мной – возможно, он решил: “Раз я не могу быть первым, то и чёрт с ним”. Но – как ни удивительно – мне также кажется, что были и другие причины. Вот что я думаю: Борг был сыт по горло. Кроме того, он был первым, кто мог позволить себе уйти. Ведь он пришёл в теннис совсем юным: к 25 годам он уже 10 лет интенсивно ездил по турнирам. Его жизнь была подчинена такому строгому распорядку, а ритуалы настолько вошли в привычку, что в течение тех 5 лет, которые он побеждал на «Уимблдоне», он останавливался в одной и той же гостинице, тренировался в одно и то же время, в одном и том же месте – и так изо дня в день. Каждый день он ел одну и ту же еду, и массаж ему делали в одно и то же время.

Так что стоило ему увидеть, как живёт Витас (а это была другая крайность: бессонные ночи, вечеринки, женщины), и вкусить такую жизнь самому, этого оказалось достаточно, чтобы понять, что же он упускает/чего он себя лишает, – и результат не замедлил себя ждать.

Бьорн был как Джекил и Хайд. Пару лет назад, когда я играл с ним на выставочном матче в Стокгольме, он сказал: “Во мне уживаются два человека”. И это так. То он мировой парень, а потом раз – и слетает с катушек. Начнём с того, что я тоже сумасшедший: ну, т.е. в чём-то сумасшедший, а в чём-то – как все. Бьорн же доходил до крайностей.

После того, как он опрометчиво заявил: “Да ну, обойдусь я и без тенниса!” – он обнаружил, что загнал себя в угол и не может оттуда выбраться. Он настолько горд, что ему просто слишком тяжело было признать, что не прав, и вернуться.

Единственное, с чем я могу приблизительно сравнить последствия его решения, это случай в НБА, когда Мэдрик Джонсон и Ларри Бёрд пришли в лигу в начале 80-х и началась эпоха возрождения. Лэйкерс и Селтикс были двумя лучшими командами. С Мэдриком рядом были лучшие игроки: Карим, и Джеймс Уорси, и Майкл Купер; у Бёрда были Кевин МакХейл и Роберт Пэриш.

А теперь представьте, что на пике этого возрождения Лэйкерс бы ушли в полном составе!

Уход Борга из тенниса был именно таким: тяжелейший удар для спорта и лично для меня. В это просто невозможно было поверить. Наши матчи были действительно захватывающими, и хотя Джимми чуть оступился (так я, по крайней мере, думал), с ним нельзя было не считаться, – и вот Борг уходил. У меня руки опустились. Мне пришлось сильно постараться, чтобы мотивировать себя и вернуться в колею. Только года через два я снова начал двигаться вперед.

Как я уже говорил, я всегда считал, что буду думать о первом месте в рейтинге, когда попаду туда – я не собирался забивать себе этим голову раньше времени. Всё равно я не понимал, какие последствия это влечёт – а они были гораздо серьезнее, чем я мог представить. Груз людских ожиданий был огромен. Расслабиться было очень сложно.

Прежде всего, я был удивлён тем, как изменилось теперь отношение ко мне. Раньше я думал, что быть вторым – уже большое достижение. Но быть первым номером – это и в самом деле неуютно, ты ощущаешь себя словно на вершине горы, где тебя обдувает ледяными ветрами. Я (ещё больше) отдалился от своих соперников, но с друзьями было даже труднее. Я стал меньше доверять людям, потому что теперь я ощущал, как никогда раньше, что все от меня чего-то хотят. Сам объем внимания был невероятен, никто – до тех пор, пока не побывал в такой ситуации – не способен это понять. Тут невозможно было расслабиться, невозможно было сосредоточиться на игре. В моих ушах постоянно звенела фраза из письма, посланного мне моей школьной подругой Мелиссой Франклин: “Ты всё время выглядишь, будто слегка не в своей тарелке”. Я знал, что она права, и не переставал удивляться, почему.

Борг выиграл последние два «Мастерса» (*прим.ред.– Имеется ввиду итоговые «Мастерсы»*), и теперь, когда он ушёл, в первой десятке тура возник вакуум. Официально я был первой ракеткой, но шок от ухода Бьорна наряду с тяжелейшим игровым расписанием (в 81-м) измотали и опустошили меня к концу года. Для Коннора неблагоприятным фактором той осени стал бракоразводный процесс с женой Патти (как потом оказалось, их расставание было временным). Таким образом, возникли идеальные условия для восхождения Ивана Лендла (*прим.ред.– Лендл на год младший*).

Лендл прошёл долгий путь с тех пор, как я легко выбил его из юниорского «Роланд Гаррос» 77-го года. Тогда ему едва исполнилось 17, с него ещё не сошёл младенческий жирок, и у него даже близко не было тех мощи и быстроты, которые появились позже.

Но за прошедшие 4 с половиной года он похудел и превратился в 6 футов 2 дюйма (187 см) мышц, в самого физически подготовленного атлета в туре (позже он стал ещё сильнее) с отчаянно мощной подачей и ударом.

С его ростом, физикой и мощью он являлся ранним прототипом игроков сегодняшнего мужского тура. Лендл редко выходил к сетке на своей подаче, но – как и у большинства сегодняшних игроков – его подача была такой сильной, что обычно он мог занять позицию для мощного форхенда и удержать контроль над розыгрышем. Он был настолько хорошо готов физически, что мог обыграть кого угодно с задней линии.

А ещё он был, мягко говоря, очень странным. Его родители были одними из лучших игроков Чехословакии, мать много выше в рейтинге, чем отец – вообще-то она какое-то время даже была второй ракеткой страны. Легенда гласит, что когда Иван был маленьким, мама привязывала его к забору, пока сама играла.

Это не могло пойти на пользу его характеру. Что бы ни случилось с ним в детстве, это отразилось на нём странным и тяжёлым образом: он был одновременно задиристым и инфантильным, с нездоровым чувством юмора. Он безжалостно насмехался над игроками, стоявшими ниже в рейтинге, которым из-за сложившейся в теннисе иерархии часто приходилось делать вид, что им смешно, даже если

насмешка была в их адрес.

Но со мной такие номера не проходили. Долгое время казалось, что я единственный человек, который нашёл подход к его игре. Я победил его в наших первых нескольких встречах на профессиональном уровне и не слышал от него грубостей на корте или вне его – даже наоборот: мне самому почти доставляло удовольствие цепляться к нему при каждом удобном случае.

В ноябре 1979-го, например, я играл против него в финале выставочного турнира в Милане – раньше у них были потрясающие “выставки” – много народу, большие деньги (во всяком случае для той эпохи). На финале зал был забит, публика возбуждена, и я вынес Лендла в первом сете 6-1. В середине того сета я увидел, как у него поникли плечи – я решил, что он сдался и уже доигрывает. Он просто стоял на месте, едва ли хоть что-то предпринимая.

Если вы играете “выставку” (*выставочные матчи*), это нехорошо, особенно при такой куче народу, так что я начал нервничать. Я подумал, что нам хорошо платят и зрители заслуживают соответствующего зрелища. Я сказал: “Слушай, Иван, ты ведёшь себя, как ребёнок. Выходи и начинай играть, ты, трус!”. Он начал ныть: “Ты не имеешь права так со мной говорить! Ты не можешь так говорить!” Но я не отставал.

Во втором сете он снова показывал отвратительно слабую игру, совершенно не прилагая никаких усилий. Я опять взялся за своё и совершенно его допёк: “Ты слабак, парень”.

“Серджио! – заорал он (Серджио Палмиери, который позже стал моим агентом, был тогда директором этого турнира), – Серджио, скажи ему, чтоб он прекратил! Он не имеет права так со мной разговаривать!”. А я всё равно гнул своё.

Часто я думаю, почему не дал ему выставить себя полным ослом в том матче? Ведь после моего вмешательства, совершенно внезапно, Лендл заиграл сильнее, чем когда-либо раньше. Я так его завёл, что всё закончилось моим поражением.

Другой пример. Через некоторое время в Барселоне мы играли выставочный турнир на грунте в зале: Америка против Европы. За Америку играли Винс Ван Паттен, у которого выдался насыщенный год, Андрес Гомес, эквадорец, который каким-то образом был причислен к американцам, и я. Лендл был в составе команды Европы. Вообще-то это было развлекательное мероприятие: никогда не следует воспринимать “выставки” так же серьёзно, как и обычные турниры.

Как и следовало ожидать, в финале я вышел на Лендла и, – вот как высоко я тогда летал, – сидя с Гомесом и Ван Паттеном перед матчем, я спросил: “С каким счётом хотите, чтобы я его победил?”. Мы решили, пусть будет 6-2, 6-2.

Я вышел на корт, и всё шло превосходно. Я выиграл первый сет 6-2. Тем временем Лендл всё ныл: “У меня болит рука. Я не могу играть”. Я сказал ему: “Тогда не играй. Или играй, как следует, или снимайся”. Он всё повторял: “Ещё один гейм, ещё один гейм. Если в этот раз я не удержу подачу, я снимаюсь”.

И тут при счёте 6-2, 1-0, я сделал брейк. Он сказал: “Я сыграю ещё два гейма”. Теперь счёт был 3-0, я спросил: “Так, что теперь?”. Зрители начали его освистывать, потому что было очевидно, что он сливал матч. Затем счёт стал 5-0, было 6-2, 5-0, и Гомес с Ван Паттеном считали меня суперменом, потому что все шло именно так, как я и предсказывал. Я им подмигнул.

Но затем начали происходить странные вещи. Лендл удержал свою подачу – всё ещё продолжая свою песню про руку – и сделал 5-1. Теперь была моя подача, если бы я её выиграл, счёт стал бы 6-2, 6-1 – это не то, что я предсказывал. Я дошёл до 40-30 в гейме, было 6-2, 6-1, матч-пойнт. Что мне было делать?

К сожалению, я решил отдать тот гейм, чтобы выиграть матч, как и предсказывал, со счётом 6-2, 6-2.

Это было плохое решение. Зря это сделал. Я отдал свою подачу, затем продул и следующий гейм, когда Лендл подавал при 2-5. Тут я подумал: “Чёрт, я всё испортил!” – но, в конце концов, я ведь подавал при 5-3. Я сконцентрировался – и проиграл гейм! У меня был ещё матч-пойнт при 5-4, и его я тоже упустил. Неожиданно у Лендла прошла боль в руке.

Он выиграл второй сет 7-5. Я его проиграл.

Я был сломлен. В третьем сете зрители освистывали уже меня и швырялись вещами, а я запускал первые подачи по трибунам и делал неприличные жесты. Конечно, в итоге я проиграл тот матч – не взял больше ни гейма. Когда я покидал корт, Ван Паттен и Гомес не знали, что и сказать. Теперь тайное стало явным. Лендл может меня побеждать.

Может быть из-за своего прошлого, Иван постоянно впадал в странную отчуждённость и причудливые измышления. Иногда жертвами становились его соперники, но зачастую от этого страдал и он сам. Долго время у него была репутация игрока, который сливает важные матчи.

Но стоило ему решить заняться своим настроем, физической формой и игрой, как он начал становиться заметной фигурой в профессиональном теннисе. Несмотря на свою неприязнь, я должен отдать Лендлу должное: никто в теннисе никогда не работал усерднее, чем он. Некоторые люди имеют природный дар, который в нашем виде спорта я разделяю на 2 категории: атлетические способности и теннисные навыки. Иван был не самым талантливым игроком, но его самоотдача: физическая и ментальная – была невероятной, совершенной.

Он был очень зажат, почти как робот, но он научился бить внушительный косой бэкхенд и весьма приличный удар с лёта, опираясь в основном на свою способность физически подавить соперника, заняв позицию для выбивающих ударов. И всего этого он добился исключительно тренировками.

Некоторые не хотят репетировать, они хотят только давать представления. Другие хотят сначала повторить сотню раз. Я отношусь к первой группе: я всегда ощущал, что если перетренируюсь, то удовольствие от исполнения ударов исчезнет. Я всегда относился к тренировкам как к “обязаловке”. Иногда я говорил: “Боже, как мне хочется потренироваться”, – но через пару минут мне становилось скучно. Тогда я начинал играть на счёт, чтобы стало интересней.

Как бы то ни было, я тратил на тренировки гораздо больше времени, чем многие думали, а ещё больше времени — думая о теннисе. Может, это и звучит как отговорка, но это не так. Я постоянно думал о теннисе, почти как шахматисты думают о шахматах. Тони Палафокс внушил мне: будь готов к следующему удару. Просчитывай свои действия наперёд. В результате, обладая моим талантом, психологической подготовкой и неплохой физической формой, я всегда знал, что играть со мной 2 часа было очень утомительно. И так, талант, психологическая готовность и неплохие кондиции давали мне уверенность, что игра со мной станет причиной боли в заднем месте – и в 90-95% случаев мои матчи длились не дольше двух часов. Когда же они затягивались, я становился гораздо более уязвимым, потому что я не отличался столь превосходной физической формой, как Борг или Лендл; но даже и в этом случае мои способности, энергия и воля к победе позволяли мне продержаться дольше. Я боец, я намерен стоять до конца и выигрывать множество матчей.

Теннис, в который играют в наши дни, я называю “игрой ленивых”. Ребята полагаются на мощные подачи и зубодробительные удары, но в их игре практически отсутствуют мышление, стратегия или страсть, по крайней мере, такое создаётся впечатление. В основном, поэтому никто сейчас всерьёз и не доминирует. Есть куча талантов. Только взгляните на таких игроков, как Ллейтон Хьюит,

Густаво Куэртен, Евгений Кафельников и Марат Сафин. Есть ли у кого-нибудь страсть Коннорса, самоотдача Лендла или харизма Борга? Я таких не знаю, во всяком случае – пока.

Преодолев трудные времена, Лендл превратился в невероятно сильного игрока – как психологически, так и физически. Он говорил: “Я буду работать, пока у меня не получится всё так, как нужно, и буду тренироваться час за часом, год за годом”. Надо отдать должное такому упорству. Немногие могут продержаться так долго. И только очень немногие имеют выдающиеся природные способности. Все остальные – и так обстоит дело с большинством сегодняшних игроков – находятся где-то между этими двумя полюсами: сегодня он может перевернуть мир, а завтра – его просто нет. Ужасно не люблю признавать заслуги Лендла, но он стал великим чемпионом. И в какой-то степени он должен поблагодарить за это меня. Я его к этому направил.

В период с октября 81-го по февраль 82-го Лендл выиграл 44 матча подряд, повергая всех на своём пути, включая меня. Он бегал, занимался на велотренажёре, делал гимнастику и тренировался, тренировался, тренировался. Я делал то же, что и всегда: играл в теннис – и точка. Этого было достаточно, чтобы я мог соревноваться на высшем уровне и почти всегда побеждать, но недостаточно, чтобы вывести меня на новую вершину.

Я продолжал думать, что, возможно, Бьорн изменит своё решение и вернётся. А пока вроде как плыл по течению.

В феврале 1982 мы со Стейси наконец расстались окончательно. Она говорила, что нам надо либо пожениться, либо перестать встречаться. Но мне было только 23, и я чувствовал, что ещё недостаточно повзрослел и не готов к этому. Не уверен также, что она была к этому готова или могла мне снова доверять, так что мы пошли каждый своим путём – не без сожалений, конечно, но и не без некоторого облегчения.

Весна принесла с собой новый роман.

Темноволосая, грациозная Стелла Холл из Северной Каролины работала моделью в Нью-Йорке, и Даг Сапуто с Питером Реннертом какое-то время очень ею интересовались. Я тоже ею интересовался, но мне всегда казалось, что неудобно приударять за девушкой близкого друга.

Тем не менее, когда стало ясно, что ни у Дага, ни у Пита ничего с ней нет, я намекнул Стелле, что она мне нравится, и она ответила, что это взаимно.

Стейси и я расстались не из-за недостатка чувств или отсутствия физического притяжения, а из-за удалённости друг от друга и также потому, что я ещё не нагулялся. Было очень удобно встречаться с теннисисткой: она прекрасно понимала, что мне надо тренироваться, отдыхать и что не всегда при этом хочется чтобы кто-то был рядом. Но также были и минусы. Например, естественное желание доминировать может стать помехой в любых отношениях, а уж если вы занимаетесь одним видом спорта, это только усугубляет ситуацию.

В любом случае главной причиной было расстояние между нами. Только изредка нам со Стейси доводилось играть на одном турнире или в одном городе в одно и то же время. Всё больше и больше мы полагались на звонки и письма, но нас обоих это не устраивало. Если уж я и собирался связать себя серьёзными отношениями, мне бы хотелось, чтобы моя девушка была всегда со мной, а так как моя работа была сопряжена с постоянными переездами, это означало, что она должна была бы сопровождать меня в этих поездках. Если же это вступало в противоречие с её намерениями... Что ж, в тот момент я думал только о том, что нужно мне.

Никто не удивится, узнав, что первому номеру мирового рейтинга необходимо иметь перворазрядное эго. Без него не обойтись, если



стремишься к первой строчке, и оно необходимо, чтобы удержаться на ней. Я никогда не испытывал недостатка в этом, хотя в детстве у меня никогда не было поводов особо собой гордиться. Я не пользовался большим успехом у девочек, да и вид спорта, в котором я преуспевал, не возбуждал чрезмерного интереса в школе.

Но когда я попал на вершину профессионального тенниса, самоуверенность стала жизненно необходимой. Неважно, кто вы, – Борг, Сампрас или Майкл Чанг, – без этого вы не сможете удержаться на вершине. Уверенность в себе необходима, так же, как эгоизм. Теннис – индивидуальный вид спорта, а атлеты в индивидуальных видах – будь то фигуристы, боксёры, гимнасты или спринтеры – естественным образом сосредоточены на себе. Все звезды тенниса склонны считать себя людьми гораздо более широких взглядов. Но это не так. Ничто в игре к этому не побуждает и не способствует этому.

К тому же, в 80-е годы из-за роста популярности тенниса отношение к звёздам было совершенно уникальное. Всё крутилось вокруг тебя, вокруг того, выиграл ты или нет, – а на протяжении четырёх лет ни у кого не было больше побед, чем у меня. Люди, меня окружавшие, постоянно твердили: “Ты поел вовремя? У тебя есть всё, что нужно? Всё нормально? Мы заплатим за это, мы сделаем то, мы оближем тебя с ног до головы. Единственная твоя обязанность – следовать своим желаниям. На всё остальное ты отвечаешь: “Убирайтесь к чёрту””.

Признаюсь, долгое время я совсем не возражал против такого отношения. А вы бы возражали?

После победы над Боргом на «Уимблдоне» я пошёл на концерт рок-музыканта Джо Уолша в Лос-Анджелесе.

За кулисами перед шоу Джо сказал: “Я слышал, ты играешь на гитаре. Хочешь выйти сыграть?” Меня и сейчас трудно назвать хорошим гитаристом, но тогда я был откровенно плох. Я сказал: “Нет, спасибо. Я просто посмотрю шоу”, – и сел рядом со сценой. На бис он исполнял традиционную «Rocky Mountain Way», и там, где поётся: “Базы все заняты, Кейси на ударе... пора менять хитера”, он спел: “Базы все заняты, Борг на ударе...” Это была сушая мелочь, но я был на седьмом небе.

Подобные вещи начинали происходить всё чаще. Постепенно это стало казаться практически нормальным, хотя в действительности ничего нормального в этом не было. Главным на тот момент было получать удовольствие, во что бы то ни стало, потому как кто ж знал, что меня ждёт завтра.

Но когда ты на вершине, ты не очень задумываешься о завтрашнем дне.

Что касается внешнего мира – какой ещё внешний мир? Я смутно слышал, что американские заложники в Иране были освобождены, что в состав верховного суда впервые вошла судья женщина. Зато, когда авиадиспетчеры объявили забастовку – вот это была всем проблемам проблема, ведь это сказалось на моих перелётах. После победы на «US Open-1981» меня пригласили в Белый Дом, а я не хотел идти! О встрече было объявлено за день, назначена она была на раннее утро – это было слишком уж неудобно для меня.

Мама возмутилась: “Тебя пригласили на встречу с президентом, а ты надумал отказаться? Пойдёшь как миленький!”. Я пошёл. И так вот всю жизнь – надо, чтобы кто-то меня заставлял. И я ничуть не жалею, что всё-таки пошёл на встречу: до этого мне с президентом встречаться не доводилось, и Рональд Рейган произвёл-таки на меня впечатление. Он отлично шутил, умел найти подход к людям, обладал недюжинной харизмой, и – при всем при том – он понятия не имел, кто я такой.

В 81-м году сразу после «US Open» я организовал свой собственный выставочный тур. Теннис Джона Макинроя в Америке – по аналогии с шоу рок-музыкантов (так, по крайней мере, нам хотелось).

Я всегда мечтал стать рок-музыкантом, и на тот момент это был единственный способ приблизиться к мечте. Мы планировали что за год я сыграю в 20 городах в свободное от турниров время; каждый матч станет событием: громкая музыка, световое шоу, брейк-данс, – целая индустрия. Да, – и теннис, конечно. Вилас был моим основным партнёром, а Витас, Яник Ноа и Матс Виландер приезжали, время от времени.

Одним из вдохновителей идеи тура был Гэри Суэйн, который потом перешёл в «IMG» и стал моим теннисным агентом. Гэри ездил со мной и заботился обо всем: от площадки для шоу до гостиницы. Это был настоящий шоу-бизнес: комфортабельные самолёты, лимузины, лучшие номера в отелях.

Перед началом тура Гэри спросил, что мне требуется до матча, во время него и после. В числе прочего, я попросил опилки. Во время матча я клал опилки в карман шорт – они хорошо впитывали пот.

На одном из наших первых выступлений, Кобо Холл в Детройте, я увидел рядом с кортом жестянку с опилками. Матч начался, Вилас удержал свою подачу. Когда мы менялись сторонами, я подошёл к жестянке с опилками, заглянул в неё и опрокинул ракеткой.

Гэри подбежал ко мне. «В чём дело?» – спросил он.

“И ты называешь это опилками?” – спросил я его. Будем честны, на самом деле я на него просто орал. Опилки были слишком мелкими! “Это не опилки, а крысиный яд какой-то! Ты можешь хоть что-то сделать нормально?”.

Через двадцать минут Гэри прибежал с новой банкой более крупных опилок... и обеднев на 20 долларов. Ему пришлось заплатить сотруднику, чтобы тот надробил опилок (за помол 2x4).

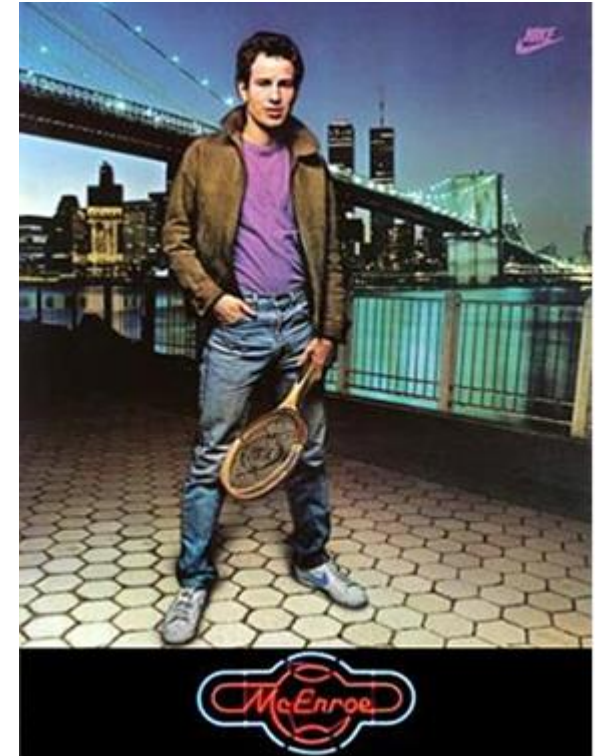
Вот что значит быть первой ракеткой.

Примерно тогда же я отправился в Японию, чтобы сыграть пару выставочных матчей в Осаке и Токио. На скоростном поезде до Токио в компании нескольких других игроков я начал пить виски («Suntory»). Это был самый быстрый поезд в мире, виски был хороший, а мне было 22. Когда мы прибыли на станцию, я почувствовал, что меня развозит. Я повернулся к почтенной японке, находившейся рядом – и меня тут же стошнило прямо на неё.

Мне было настолько плохо, что организаторам турнира пришлось стащить меня с поезда и доставить в отель, где я смог проспать. На следующий день после матча (в то время я восстанавливался гораздо быстрее), я был поражён, увидев ту самую вчерашнюю японку, направляющуюся ко мне. Не успел я и рта раскрыть, чтобы промямлить извинения, как она поклонилась и принесла свои извинения мне(!), ещё и вручила мне подарок! (конечно, не стоит и говорить, что подарила она не виски).

Да, вот что значит быть первой ракеткой. А в Японии, полной изысканной вежливости, голова и вовсе может пойти кругом.

Мои агенты занимались поиском перспективных контрактов. Специально нанятые люди были готовы выполнить любой мой каприз. Моя девушка была рядом и служила дополнением ко мне. Я окружил себя людьми, которых знал до того, как стал знаменитостью – старая



история. Я искал искренности. Я полагался на своё чутье – я считал себя довольно умным человеком, недаром я учился в Стэнфорде. Там я завёл несколько друзей, чью дружбу сохранил – это Бил Мэйз, Мэт Митчел, Кен Маргерум и Рене Ричардс (нет, не тот, о котором вы подумали). Питер Реннерт тоже был в их числе, хотя наши отношения всё более усложнялись по мере того, как Питер прокладывал себе путь в профессиональном туре. С Питером Флемингом мы по-прежнему успешно играли пару, но наши отношения отнюдь не становились проще от этого. У меня все ещё сохранилось несколько старых школьных друзей – Даг Сапуто и Энди Бродерик. Я начал проводить больше времени и со своим братом Марком. Теперь, когда он учился в Стенфорде, разница в 3 года между нами казалась незначительной. Мы стали даже ещё ближе друг к другу, потому что Марк от природы был лишён зависти. Он был одним из немногих, кому я мог абсолютно доверять.

Однако мне всегда приходилось приложить немалое усилие, чтобы проявить себя с лучшей стороны и думать не только о себе. И вот ведь в чем загвоздка: сложнее всего приходится как раз тем игрокам, которые больше думают о других. Борис Беккер был точно таким же. У нас обоих бывали блестящие моменты на корте – а бывали и полные провалы. Просто порой слишком многое накапливается в душе.

Мне даже приходилось прилагать усилия, чтобы вести себя по-человечески со своей мамой. Время от времени она не выдерживала и срывалась: “Как ты со мной обращаешься! Почему ты не можешь относиться ко мне, как к своим друзьям?” А я отвечал: “Ну ты же моя мама!”. Она начинала плакать, а я понимал, что вёл себя, как осел. “Ты же моя мать, а раз так я могу тебя и в грош не ставить”, – вот, что я, в сущности, говорил.

Когда у тебя самого появляются дети, круг замыкается. Мне все это аукнулось, когда у меня самого появились дети. Видя от них такое же отношение, я понимаю: “Боже мой, каким же я был идиотом!” Стыдно. Всё-таки я и в самом деле вёл себя как полная скотина. Хотите верьте, хотите нет, но сейчас я намного лучше.

В марте 82-го я сильно вывихнул лодыжку на турнире в Брюсселе. Это произошло во время последнего удара на тренировке: я слишком сильно потянулся к мячу под форхенд, чего, наверное, делать не стоило, а там стоял стул, которого я не видел – и нате вам.

Я вынужден был сняться в четвертьфинале и долгое время испытывал проблемы с лодыжкой. Когда ты молодой мачо и занимаешь в рейтинге место, за которое стоит держаться, ты неизбежно стремишься вернуться после травмы раньше, чем следует, и играешь, будучи не совсем здоровым, в результате появляется ещё одно оправдание на тот случай, если что-то идёт не так.

Той весной почти всё шло не так. Через 5 недель после травмы я проиграл Лендлу в финале турнира «WCT» в Далласе (*прим.ред.– Итоговый турнир профессиональной ассоциации тенниса (но не ATP). В 1982г. проводился трижды и , каждый раз победителем становился Иван Лендл*). В мае я проиграл Эдди Диббсу в полуфинале грунтового турнира в «Форест Хиллс», а затем, в следующем месяце (после снятия с «Ролан Гаррос»), я проиграл Коннорсу в финале «Queen's» на траве (*прим.ред.– Турнир в Лондоне «AEGON Championships», который иногда называют «Queen's Club Championships»*). Это был плохой знак...

В тот год я твёрдо решил вести себя, на «Уимблдоне» как следует, и – в своём стиле – у меня это получилось. Была парочка спорных моментов, несколько мячей, запущенных в ярости, и глупая ссора в раздевалке с игроком по имени Стив Дентон, но с прошлогодним турниром этот «Уимблдон-1982» было не сравнить. Только теннис. Я чувствовал, что репортёры лондонских таблоидов в ярости кусают себе локти – я не давал им материала!

Моя лодыжка тем временем была ещё не на 100% здорова, а я пребывал в странном расположении духа – это был своего рода затянувшийся траур по Боргу. Здесь, на «Уимблдоне», его отсутствие ощущалось особенно остро, и вызывало какое-то жутковатое

чувство. Но мне повезло с сеткой, я не проиграл ни сета до четвертьфинала с Джоаном Криком, да и тут проиграл всего один. Тим Майотт, свеженький выпускник «Стенфорда» – моей “альма-матер” – проводил великолепный турнир и дошёл до полуфинала, но он проиграл мне матч ещё до выхода на корт (иногда репутация сильнее играет тебе на руку).

Никто никогда не мог запугать Коннора – по крайней мере, он этого не показывал – и он проводил прекрасный сезон. В финале мы играли очень агрессивно с самого старта, совсем не так, как в обоих моих финалах с Боргом, где борьба была более красивой, но и более сдержанной. Каждый мой матч против Джимми был как боксёрский поединок. Тогда на «Уимблдоне» я вёл по сетам 2-1, в четвёртом мы дошли до тай-брейка, и я был в трёх очках от победы в матче.

Но почему-то я просто не сумел завершить его. Может, Джимми просто сильнее хотел победить. Сейчас я понимаю, что должен был сказать себе: “Не доводи до 5-го сета, или ты остановишь его сейчас, или тебе конец”.

Не остановил, и в 5-м сете, я думаю, язык тела выдавал меня. С моей лодыжкой и психологическим состоянием, дойти до этой стадии турнира было уже достижением. Вот так и получилось, что я сыграл в самом длинном финале за всю историю «Уимблдона», а на большее меня так и не хватило. Коннорс же совершил практически невозможное: он выиграл второй титул на «Уимблдоне» спустя 8 лет после первого; а мне пришлось ждать ещё 12 месяцев, чтобы доказать, что моя победа не была случайностью.

И в довершение всех неудач мы с Питером проиграли парный финал Питеру МакНамара и Полу МакНами.

Свой лучший теннис в 82-м я приберёг для Кубка Дэвиса. Всего через неделю после того печального финала против Коннора в четвертьфинале со Швецией в Сент-Луисе я добился победы, которой особенно горжусь: в поединке против Матса Виландера, который длился 6 часов и 32 минуты. До сих пор этот матч является самым длинным за всю историю мужского тенниса. А потом в Гренобле в День Благодарения на медленных крытых грунтовых кортах, который французы специально построили, чтобы найти на меня управу, я в эпическом пятисетовом поединке одержал победу над Янником Ноа, благодаря чему мы победили во встрече со счётом 4:1 и завоевали Кубок Дэвиса второй раз подряд.



Выступление в команде за свою страну помогало поднять мой дух и игру до оптимального уровня. А вот о моих выступлениях в индивидуальном разряде такого не скажешь.

Когда ты там на корте, совсем один, хочется переложить ответственность на кого угодно/хоть на кого-то. Сыграв слабый матч, пытаешься найти себе оправдания. Даже когда я был младше, я отказывался признать, что соперник мне не по силам, – когда я проигрывал, то этому всегда находилась причина: я пока ещё не вышел ростом, я пока слабый, я мало играл – всегда отыскивалась куча оправданий. Короче, я к тому, что сам за себя – это тяжело.

А как тяжело посмотреть в зеркало и сказать: “Знаешь что? Причина во мне”.

Давление, которое выпадает на долю первой ракетки, было мне не по силам. В душе у меня было пусто. Кто был в этом виноват? По сути дела кто-то может утверждать, что в 82 году настоящей первой ракеткой был Коннорс. Он выиграл «Уимблдон» и прервал мою трёхгодичную серию на «US Open», где Лендл победил меня в полуфинале, а его в свою очередь победил в финале Джимми. (И всё это

время Джимми жил отдельно с женой, что как ни парадоксально, его ещё больше подстёгивало. Потрясающе!)

В тот год на «US Open» вместо того, чтобы настроиться на выигрыш четвёртый раз подряд, я, насколько помню, думал: “Да, три раза подряд – это невероятно круто”. В глубине души – и я бы никому бы и на за что в этом не признался – я ощущал, что выкладываться по полной на всех турнирах подряд было не по мне. Теннис это битва одиночек, а быть гладиатором крайне утомительно. За право пребывания на вершине надо платить высокую цену, и на тот момент я как раз не был к этому готов.

И в этом случае тебя обязательно обойдёт тот, кто готов на большее.

Фактически, как только я поднялся на вершину рейтинга – а именно к этому (теоретически) я стремился с первых дней своей карьеры – я тут же начал спускаться вниз по спирали, медленно, но верно, и продолжал это движение ещё пару лет. Я оставался на первом месте, но удерживался на нем с трудом, проигрывая важные матчи куда чаще, чем стоило

После «US Open-1982» у меня началась беспроигрышная серия, которую положено иметь всем приличным первым ракеткам – победы в 26 матчах подряд и выход в январе в финал итогового «Мастерса», где Лендл очередной раз разгромил меня, одержав надо мной седьмую победу подряд, и свою 59-ую подряд (!) победу в зале. Единственный светлый момент того турнира случился у меня на полуфинальном матче против Гильермо Виласа. Во время смены сторон кто-то похлопал меня по плечу и сказал: “Привет, Джон”. Я не обратил на это внимания, и снова проигнорировал, когда меня похлопали ещё раз. Наконец, крайне раздражённый, я обернулся и обнаружил, что стою лицом к лицу с Ронни Вудом из «Rolling Stones» (*знаменитая рок-группа*), который приехал специально, чтобы посмотреть на меня. Это меня воодушевило и помогло добиться лёгкой победы со счётом 6-3, 6-3.

Позже в том же месяце я отправился в Филадельфию, чтобы сыграть на крупном турнире в зале, который там раньше проводился (это был один из крупных американских турниров, которые оказались за бортом тура по окончании теннисного бума). Состав участников был довольно сильным. Я был посеян первым, Лендл – вторым. Однажды вечером, ещё на ранней стадии турнира, мне позвонил Дон Бадж.

Конечно, Бадж являлся одним из величайших теннисистов всех времён и последним американцем, взявшим «Большой шлем» (это произошло в 1938 году). К тому же он был чертовски славным парнем, и не раз на протяжении моей карьеры специально звонил мне, чтобы дать совет или поздравить. Он любил давать советы тем, кто был не прочь его выслушать, а я всегда был очень даже не прочь. Я знал, что его предложения будут стоящими, ну и потом меня согревало чувство причастности к истории тенниса и то, что Дону было приятно видеть моё уважение к его огромным заслугам.

А теперь важное замечание: я думаю, одна из серьёзнейших проблем сегодняшнего тенниса – демонстрируемое современными звёздами пренебрежение к истории игры – отказ современных звёзд ценить достижения теннисистов прошлых лет. Если вы думаете, что я говорю о сёстрах Уильямс – вы правы, но это только потому, что они так много сделали для тенниса и так близко подошли к изменению игры в целом. Сделать этот последний шаг и войти в историю им мешает убеждение, что весь мир против них. Посмотрите, как различны поведение сестёр Уильямс и Тайгера Вудса (*прим.ред.– Легендарный американский чёрнокожий гольфист*), который действительно привнёс решающие изменения в мир гольфа – не только благодаря своему спортивному гению, но и близости к традициям игры. Как легко он сблизается с такими чемпионами прошлого, как Джек Никлас и Арнольд Палмер (не волнуйтесь, Винус и Серена, я не прошу вас быть со мной милыми).

В тот вечер Дон Бадж позвонил мне для того, чтобы рассказать, как выиграть у Лендла.

“Ты должен бить в середину, – говорил он, – перестань бить ему в угол – из углов он убивает тебя”. Это был простой совет, но чем больше я о нём думал, тем более разумным он мне казался. Лендл любил бегать, он мог бегать постоянно, а его удары с отскока были великолепны. Ему даже нравилось, когда его разводили. Если же бить ближе к центру, он будет вынужден бросать свечу или “подставляться” под удар с лёта – мой конёк. Я верну себе контроль над углами.

Неожиданно у меня возник план игры против Лендла, который я не использовал раньше – и он сработал: я выиграл финал в четырёх сетах. Воспользовавшись советами Дона, я вновь обрёл уверенность, что, несмотря на огромную мощь Ивана и его физическую подготовку, мой стиль игры: быстрые переходы из обороны в атаку, неожиданные выходы к сетке и использование углов был, в конечном счёте, эффективнее, чем его. В наших следующих восьми встречах я одержал победы.

Но как раз тогда-то всякие мелкие происшествия, которые случались на протяжении нескольких недель, лишили меня возможности показать себя во всей красе и главенствовать в туре. Как назло, во время финала с Лендлом я слегка повредил плечо, но уровень адреналина был так высок, что я этого почти не почувствовал. Зато на следующий день я с трудом мог поднять руку. Когда мы отправились в Буэнос-Айрес на матч первого раунда/круга Кубка Дэвиса с Аргентиной, рука всё ещё болела, и я проиграл оба своих одиночных матча. После того, как Клерк победил меня в пяти упорных сетах, я был выжат, как лимон, и Вилас, проигрывавший мне в первом сете 2-4, смог вернуться в матч и выиграть у меня следующие 15 геймов подряд! Никогда раньше у меня не выигрывали так убедительно – может быть, поэтому я сподобился на одну из своих первых шуток в такой ситуации, что спровоцировало ещё более редкое явление: смех капитана Артура Эша на корте! Проигрывая 4-6, 0-6, 0-5, я подошёл к Артуру и спросил: “Что мне делать?”. Он покатился со смеху.

P.S. Я спас свою честь, вытащив тот гейм и избежав двойной баранки. Но Аргентина победила нас со счётом 3:2, и в том году нам так и не удалось защитить титул.

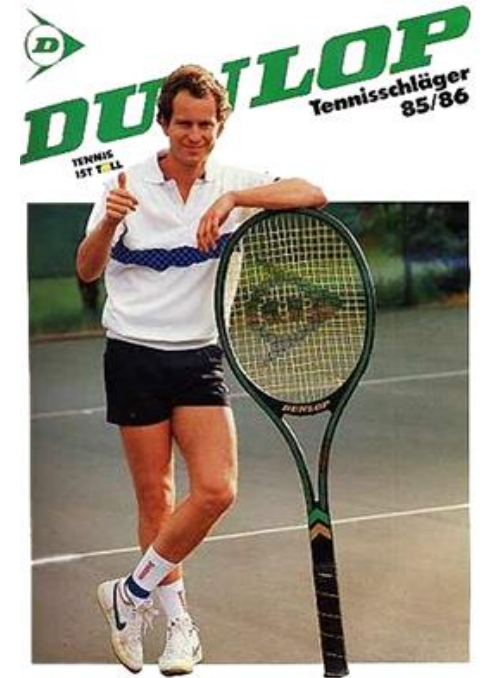
Как-то в мае я тренировался со своим семнадцатилетним братом Патриком (который тем временем стал третьим среди юниоров в стране!) на крытых кортах в клубе «Тони Палафокса» в Глен Коув, на Лонг Айленде. Я играл своей старой доброй ракеткой «Dunlop Maxply», а Патрик – композитной «Dunlop Max 200G» (это было как раз то время, когда все топ-игроки уходили от деревянных ракеток).

Где-то в середине тренировки ему удалась пара неплохих приёмов с бэкхенда. Я потянулся к его ракетке: “Дай попробовать”, – скомандовал я тоном, на который легко переходят старшие братья. Он протянул её мне. Я сразу же почувствовал себя комфортно и немедленно заметил улучшение в своей игре: более сильный импульс при подаче, большой отскок мяча.

Я взял у Патрика обе «Max 200G», отправляясь в Даллас на чемпионат «WCT» (World Championship Tennis), где победил Лендла в финале, сдержав его мощь, и при этом почти не используя свою, и продолжил серию побед над ним.

Я снова победил его в полуфинале «Уимблдона» в трёх сетах – это была даже ещё более убедительная победа, чем в Филадельфии или Далласе, но Иван всегда говорил, что у него аллергия на траву.

В другой половине сетки в полуфинал вышли Кевин Каррен и молодой новозеландец Крис Льюис, проводивший турнир своей жизни.



На самом деле я опасался Каррена: он был Марком Филиппусисом восьмидесятых, имея невероятную подачу, особенно опасную на траве.

Но меня тревожил не только Каррен. Ход моих мыслей был примерно такой. Помню, я смотрел игру Кевина с Льюисом и думал: “Лучше бы мне пришлось играть в финале с Карреном, потому что он неудобный соперник, да и рейтинг у него выше, и если я ему проиграю, это поймут”. Потом я подумал: “Ты что, спятил? Какой проигрыш?”. Меня всё ещё грызли сомнения и неуверенность в себе.

Льюису каким-то образом удалось одолеть Каррена, а я легко справился с ним в финале. Это была не самая славная из моих побед, но то был мой как-никак второй титул «Уимблдона», и «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» наконец-то даровал мне вождеденное почётное членство!

А потом я проиграл своему злому гению (или одному из них) Билу Скантону в 1/8 на «US Open». Да, он сыграл отличный матч, и да, это явно был не мой день, но это не спасло меня от страшного разочарования в себе.

Билл Скэнлон после этой победы был невероятно рад. “От, зараза!”.

В декабре я впервые играл на «Australian Open» (*Открытый чемпионат Австралии*). Тогда турнир всё ещё проводился на траве, в Мельбурне на знаменитом стадионе «Куйонг» (*Kooyong*) – домашней арене Гарри Хопмана.

Раньше мне всегда казалось, что проделывать такой путь ради самого маленького турнира «Большого шлема» (простите за каламбур) – это слишком. Но факт, что такие ребята, как Вилас и Крик выигрывали его (каждый по два раза, на траве!), меня подстёгивало. В том году был сильный состав участников: Лендл, Телчер, Крик, молодые шведы – Ярид, Нистром и Виландер и новая надежда Австралии по имени Пэт Кэш. Но я полагал, что у меня есть хороший шанс выиграть этот турнир. Вернее сказать, я думал – что точно его выиграю.

Корты в «Куйонге» были немного необычные: там был небольшой подъем от задней линии к сетке с обеих сторон для улучшения дренажа, и этот едва заметный уклон изменил привычный характер травяного корта, что позволило таким игрокам, как Крик и Вилас, одерживать верх над сеточниками.

А ещё было жарко: стоял декабрь – начало австралийского лета.

Вот такие у меня оправдания.

До полуфинала я дошёл без особых проблем. За день до нашего матча с Виландером я тренировался с Питером МакНамара, который в том году получил ужасную травму колена, – спустя неделю после победы над Лендлом в Брюсселе и выхода на седьмую строчку рейтинга. Питер только начинал выздоравливать, но все ещё довольно сильно хромал. Я подумал о своём колене и плече, и со мной случился очередной приступ благодарности Богу за то, что у меня-то все хорошо. Я подумал: “Как же мне повезло, что я здоров! Я обязательно выиграю этот турнир”. Я был уверен, что у меня отличные шансы выиграть у Виландера на траве.

А потом ночью вдруг моё колено “взбунтовалось”! Я до сих пор задаюсь вопросом: неужели мне было непозволительно расслабиться хотя бы на один момент? Или я чувствовал, что выиграть Австралию в первый же свой приезд – это слишком для меня хорошо?

Так или иначе, на следующее утро я запаниковал. Я пошёл к врачу, он меня тейпировал, но после того как мы каждый взяли по сету, я почувствовал, что плохо двигаюсь и сорвал повязку. Это не помогло. Я проиграл в четырёх сетах, а Виландер уничтожил Лендла в финале.

Я усвоил урок: не расслабляться. И уж никак не в тот момент, когда надо удержать лидерство. Для меня что-то изменилось в конце того сезона – может быть, меня встряхнули проигрыши Сканлону и Виландеру, может быть, я наконец смирился с тем, что Борг не вернётся. Может быть, все дело было в том, что после того, как загадочная боль в колене быстро прошла, я был наконец полностью здоров – впервые за много месяцев. В чём бы ни была причина, я осознал, что дни пролетают, а вместе с ними проходит и молодость. Мне вот-вот должно было исполниться 25 – возраст теннисной зрелости. Надо было ловить момент. Что-то щёлкнуло у меня в голове, и я вступил в новый год с намерением покорить мир.

Глава 8

Так как я много путешествовал, родители всегда просили меня постараться быть дома на Рождество. Я почти всегда подчинялся, и обычно это стоило мне итогового турнира «Мастерс», который проводился сразу после праздников. Турнир этот был важен для меня, но выиграть его мне удалось лишь однажды, в 79-м. Обычно режим моих тренировок с середины по конец декабря представлял следующее: я сидел где-нибудь, ел, пил, смотрел телик и не притрагивался к ракетке. А в это самое время Лендл упрямо карабкался на вершину.

В течение пяти или шести лет организаторы «Australian Open» пытались привлечь меня к участию в турнире, но я всегда отказывался, говоря, что не буду играть турнир, который проводится на Рождество. Но в этом году они поняли, что меня не переубедить, и передвинули турнир на более раннее время, и, вместо того, чтобы сидеть дома и объедаться мороженым, я отправился в Австралию. На Рождество я вернулся в такой форме, которой у меня в декабре никогда не было. Я отлично играл и разгромил Лендла, победив на «Мастерсе» 84-го года.

С самого первого матча в «Мэдисон Сквер Гарден» я заметил, что каждый раз игру определяли моя скорость и выходы к сетке. Я играл на уровне, о котором можно только мечтать, думая: “Боже, это почти лучшее, на что я способен”. Я наконец довёл свою игру до уровня, который, казалось, был на порядок выше, чем у любого из моих соперников. Всё должно было быть отлично. Хотелось, чтобы это было так. Но всё было по-другому.

Я ещё ощущал пустоту – мне казалось, что эта победа поможет мне оправиться от переживаний, вызванных уходом Борга, но моё психологическое состояние не изменилось. Это напоминало историю царя Мидаса: успех не приносил счастья.

Уже почти два года мы со Стеллой жили в моей квартирке на 90-й улице в Ист Энде; и так как она была на пару лет старше меня, думаю, на неё давили родители – невероятно милые, очень консервативные люди, которые по-прежнему жили в Северной Каролине – настаивая, чтобы мы либо оформили свои отношения, либо разошлись. Я был очень привязан к Стелле, но, опять же, ещё не хотел жениться. Мне хотелось от жизни чего-то большего, в то же время не хотелось расставаться с теннисом. Почему-то мне казалось, что формальность брака станет этому помехой

Была и другая причина. Мне очень нравилась Стелла, но в глубине души я, наверное, знал, что мы не предназначены друг для друга. Может быть, она тоже это знала.

Мы решили пойти каждый своим путём. Чтобы внести ясность (и ещё потому, что я зарабатывал больше), я купил шикарную квартиру на вершине здания в западной части Центрального парка – ту самую, в которой живу и сейчас. Это было огромное пространство для меня одного, но думаю, в глубине души я понимал, что мне нужно большое гнездо для семьи, которую мне когда-то захочется завести. Сразу после того, как я переехал на ту сторону парка, у меня были недолгие близкие отношения с очень известной, очень привлекательной

женщиной, которая была старше меня и жила неподалёку. Из уважения к ней не буду называть её имени. Я говорю об этом не для того, чтобы похвалиться, а чтобы рассказать о двух вещах в ней, которые произвели на меня тогда большое впечатление. Во-первых, это то, что у неё было двое детей, которые мне очень нравились: в тот год я много думал о детях, представляя, каково иметь их самому, и нахождение в кругу этой маленькой семьи подогревало моё воображение.

Во-вторых, та лёгкость, с которой она относилась к собственной известности. Это даже своего рода эксгибиционизм. Как теннисист номер один в мире, я был гораздо более известен, чем находясь на втором или третьем месте, но эта сторона дела не доставляла мне большого удовольствия. Моя новая спутница была всегда готова выйти в любой новый ресторан, который был на тот момент в моде, и как только она об этом заговаривала, я напрягался, думая: “Это сумасшествие! Нельзя, чтобы меня видели с тобой!”

Не могу объяснить, почему я не хотел, чтобы меня видели вместе с привлекательной, известной женщиной. Не знаю, что я на самом деле думал. Но тогда это отравляло всё моё существование: я просто не хотел, чтобы мы попали в колонки светской хроники как пара, не хотел, чтобы нас вместе фотографировали. Такие вещи всегда мне досаждали, и, хотя это можно переносить вполне спокойно, тогда я ещё не умел этого делать.

Такая же проблема была и на корте: я не замечал положительные моменты. Я ещё не усвоил урок: если хочешь быть с известной, красивой женщиной – этому есть своя цена. Нельзя ожидать, что она будет всё время сидеть дома и предаваться с тобой любви, когда пожелаешь! Отношения – это улица с двусторонним движением. Тогда же я был настолько сражён фактом, что она хочет, чтобы нас видели вместе, что, уезжая весной в Европу, сказал: “Я тебе позвоню, когда вернусь” – и не позвонил. Я думал: “Забудь. Ей что-то от тебя нужно”.

Мне кажется, в конце концов, 25 – не такой уж зрелый возраст.

Но... проехали! Я направлялся в Европу, чтобы сыграть Открытый чемпионат Франции и взять свой третий «Уимблдон». И это был мой год – я это знал. Я играл настолько хорошо, что думал, что никто не способен меня победить – ни на каком покрытии.

Даже Лендл. Только не сейчас.

Это был самый тяжёлый проигрыш в моей жизни, опустошающее поражение. До сих пор иногда оно не даёт мне уснуть по ночам. Мне даже сейчас трудно комментировать французский чемпионат – часто в течение пары дней я буквально чувствую тошноту от того, что просто нахожусь там и думаю о том матче. Думаю о том, что упустил, и насколько другой была бы моя жизнь, если бы я выиграл.

У Коннорса тогда было 2 «Уимблдонских» титула и 5 титулов «US Open», но он никогда не выигрывал «Ролан Гаррос», Борг побеждал во Франции 6 раз и 5 раз на «Уимблдоне» – невероятный рекорд – но он никогда не побеждал на «US Open». Лендл никогда не выигрывал мейджор – кроме итогового «Мастерса», который из-за ограниченного числа участников был испытанием совсем иного рода, чем обычный турнир. Лендл ломался на мейджорах. Все это знали.

У меня в активе было 2 победы на «Уимблдоне» и три на «US Open». Титул «Ролан Гаррос», за которым последовал бы третий «Уимблдон», добавил бы тот последний, завершающий штрих, которого моя карьера не имеет сегодня – законное право претендовать на звание величайшего игрока всех времён.

Оглядываясь назад, я пытаюсь увидеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым, иначе вырву последние остатки волос на своей голове и доведу себя до безумия, каждый день, прокручивая тот матч в своей голове снова и снова. Я пытаюсь этого не делать, потому что – видит Бог – я и так слишком эмоционален.

Но всё равно делаю.

Меня постоянно грызёт вопрос: насколько сильно я этого хотел? Очевидно, недостаточно сильно. В чём бы ни была причина: друзья, отношения, развлечения – в самый решающий момент я не смог обыграть Лендла в финале Открытого чемпионата Франции в лучший год своей карьеры – в год, какого не было ни у одного теннисиста. Я упустил преимущество 2-0 по сетам, но мог бы завершить дело в свою пользу в пятом – вместо этого позволил победе ускользнуть; просто не могу придумать этому другого объяснения.



Это был полный провал.

Время от времени, когда кажется, что всё идёт слишком хорошо, у меня появляется чувство, что должно случиться что-то плохое. Ощущал ли я это перед тем финалом в 84-м? Не уверен в этом. После победы в 2-х первых сетах, на лицах моих друзей читалось: “через полчаса всё будет позади. Он никак не может проиграть”. Если сравнить с гольфом, это было похоже на «gimme» (*прим.пер.*– Очко, начисленное автоматически, без розыгрыша). И я упустил его. Я промазал с 12 дюймов на пути к «Мастерсу». С этим трудно жить.

Он должен был мне покориться, даже несмотря на то, что «Ролан Гаррос» проводится на медленном красном грунте, который подходит игрокам задней линии, таким, как Борг и Лендл, даже несмотря на то, что я сеточник и лучшими для меня покрытиями всегда были трава и хард, где у моей подачи быстрый отскок и я получал дополнительную долю секунды, чтобы выйти к сетке и ударить с лёта. На красной глине мяч задерживается на поверхности корта, и ты теряешь эту самую долю секунды, даже обладая быстрейшей подачей: если тыходишь в корт, у принимающего игрока появляются дополнительные миллисекунды для обводящего удара.

Но той весной я был в оптимальной форме, и мой план на игру был таков: ничего не менять. Подавать и выходить вперёд. Я знал, что мой удар с лета был лучшим в туре. Я знал, что не могу проиграть. Питер Флеминг планировал вечеринку в честь победы ещё до начала матча. В день матча я увидел карикатуру во французской газете. На этой картинке я стоял на одной стороне корта, целясь из ружья в Лендла, который стоял в углу на другой стороне, дрожа и обливаясь потом. Мне понравилась эта картинка.

Французские болельщики, очевидно, чувствовали то же самое. Когда меня представили на Центральном корте стадиона «Ролан Гаррос», я получил огромную поддержку, какую до того никогда не получал на старте матча – оглушающий рёв трибун. А к концу матча – в своём фирменном неподражаемом стиле – я снова умудрился настроить против себя весь стадион.

Я не только выиграл первые 2 сета, но и готов был взять третий. Всё было идеально – поразительно, как хорошо я играл.

А затем это случилось. С боковой части корта стал доноситься очень громкий шум. Оператор «NBC» (*американская широковещательная компания*) снял наушники, и они лежали там и кричали, в то время как я пытался играть.

Может быть, кто-то другой и не заметил бы этого. Может быть, при других обстоятельствах не заметил бы этого и я сам. Нет, шум этих наушников нельзя было услышать с верхнего ряда трибун, но в тот момент мне казалось, что можно.

Я уже рассказывал, как сомнения могут захлестнуть вас, накладываясь одно на другое. Я прекрасно играл, но это было то покрытие, на котором я чувствовал себя наиболее некомфортно. Было жарко. Первые одиннадцать дней турнира в Париже было облачно и необычайно холодно – в районе 10°C в конце мая! – но потом, в день моего полуфинала с Коннорсом, впервые вышло солнце.

Я прошёл Джимми тогда довольно легко, но жара задержалась до финала, и это меня беспокоило. Что если я действительно проиграю Лендлу? Плохое оправдание для послематчевой пресс-конференции: “Просто сегодня было слишком жарко”. Это то же самое, что сказать: “Знаете, у меня было похмелье” или “Я плохо спал прошлой ночью”, – и ресницами: хлоп-хлоп.

Возможно, было бы лучше, если бы я допоздна тренировался, потому что той ночью я действительно ужасно спал. Внезапно мне решила позвонить Стелла.

Мы не общались уже две или три недели, и я не знал, зачем она звонила. “Зайка, – сказала она (она любила так меня называть) – я скучаю”. “Я тоже скучаю”, – сказал я. Мы немного поболтали. “Но я к тебе не вернусь”, – сказал я ей.

Повесив трубку, я подумал: “Да уж, только этого мне не хватало” (даже не побеспокоившись о том, как это могло повлиять на неё). Это заставило меня занервничать, совершенно выбило из колеи, потому что я начал думать, а последнее, что вы должны делать в ночь перед важным финалом – это думать. Я провёл ночь, ворочаясь с боку на бок.

Этот телефонный звонок отложился где-то в моем подсознании, а потом ещё эти наушники на корте стали греметь, было жарко, и неожиданно то, что было в подсознании, вышло на передний план, и во мне зашевелились сомнения: “Я уже столько времени играю на таком уровне, – думал я, – как мне это удаётся?” Я знаю, кричающие наушники были невинной технической помехой – не то чтобы кто-нибудь сказал: “А давайте-ка взбесим Макинроя”, но именно так я это воспринял – и соответственно, моя концентрация пропала.

Я очень разозлился, потому что никому до этого не было дела. При смене сторон я подошёл к наушникам и заорал в маленький микрофон: “Заткнись, мать твою!!” (Кто бы ни находился на другом конце, он, вероятно, до сих пор оглушён). Потом, перейдя на свою сторону, я подумал: “Что, чёрт возьми, я делаю?” Если начинаешь срываться, когда дела идут хорошо, оппонент, скорее всего, начинает понимать, что ты не так уверен в себе, как кажется.

Обычно я не беспокоился, если соперник видел, как я выхожу из себя. Некоторые считали, что я играю лучше, когда злюсь (иногда это так и было, а иногда нет) но мне было все равно, верили они в это или нет. Даже если парень на другой стороне корта на это не покупался, сомнения-то оставались. Ну, видит он, что я расстроен – ну и что? Иногда он сам выходит из себя. Я всё равно могу это преодолеть и победить.

У всех великих были свои фишки. Коннорс играл на публику. Лендл казался страшным роботом: он запустит в тебя ракету, если добежишь до его укороченного. Борг никогда не менял выражения лица. Так же, как и Эш. Никогда нельзя было угадать, о чём они думают. Это тоже могло быть своего рода оружием.

Беккер был здоровяк с мощной подачей, он намеренно давил на соперника. Он всегда ходил, выпятив вперёд грудь, как бы говоря: “Вам повезло, что мы проиграли Вторую мировую”.

Моей фишкой были, конечно же, срывы. Помогало ли мне это больше, чем вредило? Не думаю. В конце концов, мой отец был прав – я бы, наверное, достиг больших успехов, если бы не поддавался эмоциям. Но я никогда не могу спокойно удовлетвориться своим талантом – или чем-либо ещё. Если я веду с брейком, мне хочется попробовать оторваться ещё на один или два. Мне всегда лучше удавалось наращивать преимущество, чем отыгрываться. Я выиграл большую часть своих пятисетовиков, по этому показателю я обойду любого, но впервые победить в пятисетовом матче, проигрывая 0-2 по сетам, мне удалось только в начале 90-х – в конце карьеры.

В каком-то смысле это хорошая статистика. Это означает, что я нечасто позволял сопернику повести 2-0 по сетам. В общем, выиграл я гораздо больше матчей, чем проиграл. Мой процент побед в одиночке составляет 82, но мне нечасто приходилось выигрывать,

проигрывая по ходу матча.

Это меня огорчало. Мне всегда нравились истории о том, как Лэйвер отдавал 2 сета, а потом выигрывал «Шлем». Моя же история состоит в том, что я мог бы выиграть «Шлем», если бы не растранил преимущество в два сета. В третьем сете я прошёл от лидерства 2-0 до проигрыша 4-6. Но затем я вёл 4-2 в четвёртом и подавал при 40-30.

И это был тот момент, когда, как мне кажется, я и проиграл матч.

Какое-то время Лендла тренировал Тони Роч. И они работали над тем, как надо играть со мной. Они знали, что моя резаная подача левой рукой к боковой стороне корта для любого правши была неберущейся: он скорее улетел бы на трибуны, чем достал до мяча. Даже Лендл, как бы хорош он ни был, не мог вернуть эту подачу.

В общем, они с Рочем решили, что, когда я буду подавать широко ему под бэкхенд, он будет подрезать мяч кроссом. Тогда он «нырнёт» с обратным вращением, и мне придётся поднять его с лёта, вместо того, чтобы глубоко ударить. Это поможет ему остаться в игре и попытаться перейти в атаку, нанося свои мощные удары с отскока.

Таков был его план, и я это знал. Так что я подал широко и, будучи уверен, что он срежет кроссом, ждал этого.

Сначала я хотел ударить укороченный с лёта и завершить виннером, но потом решил: нет-нет, надо сыграть надёжнее, потому что, хоть я и известен своими чуткими руками, мягкий удар с лёта, по статистике, редко приносит успех. Я решил сыграть с лёта поглубже и заставить его бить обводящий. Я пошёл наперекор своей интуиции.

И мой удар с лёта не попал. Я ударил чуть сильнее, чем следовало, и он улетел в аут.

После этого я не помню ни одного розыгрыша. Всё расплывается, словно в дымке.

Прошло уже восемнадцать лет, но я ни разу не пересматривал этот матч. Не могу себя заставить. Поэтому я не смогу вам рассказать подробностей того, что произошло потом. Слишком уж это болезненно.

Зато я хорошо помню, как меня освистывали зрители. В каком-то смысле это было чисто французское. Французская публика эксцентрична, любит менять пристрастия, в чём-то это из-за того, что в случае моей победы матч бы продолжался час и сорок пять минут, а им хотелось больше тенниса. Я могу это понять. Но я был огорчён, что в конце, когда мне действительно нужна была их поддержка, когда я изнемогал от усталости и напряжения, чувствуя, что победа уходит у меня из рук, я не получил ничего. Ничего.

И всё же, думаю, я заслужил снисхождение за свой крах. Хорошие спортивные фанаты всегда способны почувствовать, если вы посылаете им сигнал и ждёте отдачи. Есть способ вернуть их расположение, когда все они настроены против тебя – этим талантом, как я уже говорил, обладал мистер Коннорс, но не я. Есть множество других примеров: фанаты Лос-Анджелес освистывали Гарри Шефилда – мистера. «Я хочу чтобы меня обменяли в другой клуб. В жизни больше не сыграю за «Dodgers»» (*прим.ред– «Лос-Анджелес Доджерс» – бейсбольный клуб*). А стоило ему выйти в домашнем матче, так болельщики тут же всё забыли. Я не посылал французской публике никаких сигналов. Я был не в состоянии дать им понять, что мне нужна их помощь. Когда люди недовольны, мне плохо удаётся не принимать это на свой счёт. Это одна из самых больших моих проблем. На корте я чувствую себя, прежде всего, изолированно, но если кто-то настроен ко мне недоброжелательно, мне это очень тяжело. 99% зрителей могут поддерживать меня, но если среди них есть парочка недовольных крикунов, я вне себя. Не лучшая из моих черт.



Временно.

Некоторые говорят, что моя победа над Коннорсом 6-1, 6-1, 6-2 на «Умблдоне-84» – лучший матч в моей карьере. Но, будем честны: между нами говоря, в тот день Джимми был слегка вяловат.

Это опять был один из тех дней, когда, кажется, что всё идёт почти слишком хорошо. Я проснулся утром в прекрасном самочувствии, и на тренировке мяч казался огромным, как дыня. Я всегда умудряюсь волноваться, когда дела идут хорошо, и поэтому закончил тренировку рано – боялся растратить себя.

Но дела шли все лучше и лучше.

Отдавая должное Коннорсу, надо сказать, что у него был тяжёлый полуфинал против Лендла – четырёхметровое сражение в очень жаркий полдень, тогда как я выиграл в трёх у суетливого наглеца из Австралии Пэта Кэша.

Кэш был трудным соперником: сеточник, который играл в великолепной традиционно-австралийской манере. Несмотря на юный возраст: ему было всего 19, он уже был великолепным спортсменом и хорошим теннисистом. Я думал, что за ним будущее – особенно когда он толкнул меня плечом на смене сторон во время тай-брейка второго сета! Я подумал, что это очень интересный жест: я был номер один в мире, двукратный победитель «Уимблдона», один из грандов тенниса в 25 лет...

“У этого малыша правильный настрой” – подумал я.

Тем временем, мой настрой совершенно поменялся. Я понял, что на «Ролан Гаррос» у меня ушло слишком много сил на эмоции. С первого матча во «Всеанглийском лаун-теннисном клубе» в тот год я был намерен не делать ничего, что могло бы помешать моей сатисфакции за «Ролан Гаррос» – единственное поражение за 52 матча – и выигрышу моего третьего «Уимблдона». Моя серия побед составляла 5 матчей, когда я играл с Джимми, и я был уверен, что смогу довести её до 6.

Я не мог и предполагать, это будет настолько легко.

Всё ещё стояла жаркая погода, но мой жар был сильнее в тот воскресный полдень. С самого начала Коннорс просто не мог найти



свой ритм, в то время как я подавал невероятно хорошо: резаными под боковую линию, в середину – как угодно. Процент попадания первой подачи составил 74 – с 10 эйсами и ни одной двойной. Я сделал по три! – невынужденных ошибки за матч.

“Так хорошо я никогда не играл”, – сказал я потом на пресс-конференции. Это также было моё лучшее поведение на «Уимблдоне» – лондонские таблоиды называли меня “Святой Джон”.

Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что столь же хорошо, если не лучше, я играл в том же году в марте, в Брюсселе, где удерживал такой уровень игры на протяжении всего турнира. Я делал всё: подрезал, рисковал, – короче, мог съесть с потрохами любого. Во всех матчах я проигрывал не более трёх или четырёх геймов. Это было невероятно приятно. И теперь я был на таком же высоком уровне. И я не хотел это упускать, мне хотелось, чтобы это не закончилось никогда.

Восемьдесят четвёртый был ещё и тем самым годом, когда Артур Эш вознамерился наконец заставить Коннора играть Кубок Дэвиса. Дональд Делл был менеджером Джимми, а также агентом Артура, и именно так все сложилось. Делл полагал, что Джимми нужен Кубок Дэвиса в качестве завершающего штриха к его заслугам, который должен помочь в его переходе к деловой жизни – они все тщательно спланировали. Кстати, я всегда думал, что это совершенная чушь: помню, когда карьера Коннора приближалась к концу, он любил повторять в интервью: “я бизнесмен”. А я всё думал: “И в каком же он бизнесе? Он рекламирует продукты! Тогда и мне надо было считать себя бизнесменом!”

В общем, Артур сказал: “Слушайте, у нас есть два лучших в мире игрока – Коннорс и Макинрой; это слэм-данк; давайте их соединим” (*прим.ред. – “Slam dunk” – самый надёжный бросок в баскетболе, когда мяч в высоком прыжке “вколачивается” в корзину*). Итак, Джимми пришёл в команду в первый и последний раз, тогда как я участвовал в Кубке Дэвиса постоянно. Это было событие. В Теннисной ассоциации США потирали руки от возбуждения. Они сфотографировали нас вместе: Макинрой и Коннорс – команда мечты.

Единственная проблема была в том, что отношения между мной и Джимми по-прежнему были, мягко говоря, напряжёнными. Они не заладились с самого начала: с 77 года, когда мы познакомились в раздевалке «Уимблдона», и с тех пор мы постоянно сталкивались лбами. Это вылилось в несколько прекрасных матчей, но напряжение всегда присутствовало.

В год, когда нас сделали игроками одной команды, напряжение было на пике. Наш первый матч в феврале против Румынии прошёл нормально, но затем я беспощадно разгромил его на «Ролан Гаррос», и у нас было несколько перебранок на сменах сторон (“Ты ведёшь себя, как мой четырёхлетний сын”, – сказал он мне, а я в свою очередь сказал, как себя вёл он), я также разгромил его на «Уимблдоне». К тому моменту мы вообще друг с другом не разговаривали.

Через неделю после «Уимблдона» мы должны были играть против Аргентины в Атланте (это был важный матч, потому что они победили нас год назад). Однажды вечером перед играми мне позвонил Артур и сказал: “Слушай, ничего, если ты не придёшь на командный ужин?” По традиции во вторник или среду перед матчем всегда проводился командный ужин. Я спросил: “О чём ты говоришь?”

Я не особо рвался на этот ужин. Честно говоря, это было довольно скучно: надо было надеть пиджак, галстук и слушать речь президента Теннисной ассоциации США, но всё же это было традиционное мероприятие, и сбор команды имел определённое значение.

– Почему ты не хочешь, чтобы я пришёл на командный ужин?, – спросил я Артура.

– Джимми против”, – ответил он.

– Джимми против. Джимми против? За последние шесть лет я не пропустил ни одного матча, а теперь Джимми, видите ли, против – и

ты с ним заодно? Вот это да, Артур, по-моему, это ни в какие рамки не лезет.

Артур подумал минуту. “Наверное, ты прав. Это не очень-то красиво”. Он извинился и позвал меня на ужин.

Тогда отказался прийти Джимми.

И мало того, он также отказался остановиться в отеле, где мы жили – в основном, из-за меня, я полагаю. Он также явился на выступление в Кубке Дэвиса в четверг перед пятничным матчем. Простые смертные бывает приезжают за пять дней до важного поединка и тренируются по пять часов в день. Джимми же считал, что ему не нужно тренироваться. И так далее. Мы сыграли все пять матчей, ни разу не тренировались вместе и не разговаривали.

И наша команда выиграла встречу со счётом 5-0.

В середине августа я отправился на «Canadian Open» (*Открытый чемпионат Канады*) в Торонто. Главной новостью той недели стало известие, что у Витаса проблемы с самоконтролем.

Это были 80-е годы, и наркотики в туре, где заработки позволяли их оплачивать, были не менее распространены, чем в остальном обществе (я также подозреваю, что стероиды и амфетамины уже тогда начали проникать в теннисную элиту).

В прошлом я знал, что Витас срывается во время выставочных матчей. Между турнирами он иногда уходил в загул на пару недель. Как бы там ни было, это не считалось нарушением – скорее способ расслабиться. Кроме того, он всегда был так невероятно энергичен и так быстро восстанавливался, что никто ничего не замечал.

Теперь, думаю, он вышел за рамки. В то время было принято проявлять уважение к турниру. Сейчас это может показаться сумасшествием, но игроки прикидывали: за сколько дней до турнира можно принимать наркотики. За неделю? За день? Всё зависело от человека.

Я победил Витаса в том финале 6-0, 6-3. Мне даже пришлось отдать ему пару геймов, чтобы создать видимость борьбы. Я видел по его игре, что что-то было не так, он был сам не свой. Тогда я начал всерьёз волноваться за него.

Но, может быть, мне следовало больше волноваться за себя.

Тем не менее, моя победная поступь продолжалась. Во втором круге «US Open» я нанёс поражение шведскому выскочке Стефану Эдбергу, 6-1, 6-0, 6-2 и проложил себе дорогу в полуфинал, не отдав ни сета.

В день, вошедший в историю как “супер-суббота”, в которую были сыграны: трёхсетовый финал мужчин-ветеранов; полуфинал Лендл – Кэш (он продолжался довольно долго, Лендл победил на тай-брейке пятого сета); того, как Мартина Навратилова победила Крис Эверт-Ллойд в трёхсетовый женский финал между Мартиной Навратиловой и Крис Эверт-Ллойд (победила Навратилова), я играл с Коннорсом. Мы вышли на корт почти в 7 вечера!

Это был шанс для Джимми взять реванш. На пресс-конференции после финала «Уимблдона» я сказал, что всё, что от меня требуется – это хорошо играть, и я способен победить любого. Коннорс выдвинул протест: “Это серьёзное заявление, которое необходимо доказывать следующие четыре или пять лет”.

Теперь, на «Флэшинг Мидоуз», наступил момент истины (*прим.ред.– «Flushing Meadows» парк в Квинсе (Нью-Йорк), рядом с которым находится Национальный теннисный центр им. Билли Джин Кинг, рядом с которым находится теннисный стадион*). Джимми побеждал здесь 2 последних года, он мог заводить нью-йоркскую публику, как никто другой. Он был зол, он был голоден.

Но и я тоже. Я очень не хотел, чтобы Коннорс повторил мой рекорд с тремя мейджорами подряд, и очень хотел пробиться в финал и взять реванш у Лендла за Францию.

Матч с Джимми с самого старта был битвой – захватывающим пятисетовиком, который завершился только в 11.15 вечера. Когда мы начали пятый сет, зрители на «Флэшинг Мидоуз», вымотанные более чем 12 часами тенниса, потянулись со стадиона. Меня просто убило то, что мы показывали такой блестящий теннис, тем не менее, когда мы закончили играть, трибуны были заполнены лишь на четверть. Но в итоге победу одержал я – 6-3 в пятом, – спустя 51 гейм, три часа и сорок пять минут.

Добрался я домой очень поздно, всё ещё на взводе (хотя и измотанный) и уснул только после двух ночи. Я с трудом мог представить, как буду играть финал с Лендлом – Боже всемогущий, в этот самый день! В воскресенье я проснулся в полдень и еле вылез из кровати. Когда добрался до раздевалки на «Флэшинг Мидоуз», у меня так всё болело, что я едва мог идти. Я был очень обеспокоен – пока не посмотрел в другой конец раздевалки и не увидел Лендла (чей матч против Кэша длился 3 часа и 39 минут), который пытался дотянуться руками до пальцев ног. Он с трудом доставал ниже колен!

Ему ещё хуже, чем мне, – подумал я. По венам побежал адреналин. Я понял, что если смогу собраться на 2 часа качественного тенниса, я у него выиграю.

Моё тело говорило “достаточно”, но каким-то странным образом в тот вечер усталость сыграла мне на руку. Тот факт, что я был вымотан, помог мне лучше сконцентрироваться; чем больше я уставал, тем, казалось, лучше бил по мячу. Это было чисто психологическое – дави, дави – и я не позволял себе раздражаться, потому что мне нужна была каждая унция моей энергии.

Первый сет я выиграл 6-3. Был момент, когда после двойной ошибки во втором гейме второго сета он получил брейк-пойнт. Я вышел к сетке после первой подачи на 30-40 и ударил с лета. Лендл зарядил сильнейший форхенд, пытаюсь обвести мне под бэкхенд. Мяч ударился о трос и подскочил вверх под таким странным углом, что я размахнулся в полную силу и забил форхендом с лета. Иногда бессознательное состояние идёт на пользу!

Второй сет – 6-4.

Тут передо мной возникли видения из Франции.

Как бы то ни было, я знал, что на этот раз я не позволю себе уступить. В третьем сете я отдал игре все, что у меня было: мне было мало одного брейка. Я хотел всадить кол в самое сердце этому парню. Я сделал второй брейк, повёл 4-0, и хотя Лендл все ещё не прекращал попытки (наверное, так же, как за год до этого в финале против Коннорса), меня уже было не остановить. Третий сет 6-1.

Я четвёртый раз выиграл «US Open».

Это был мой последний титул на турнирах «Большого шлема».

В конце сентября мы играли полуфинал Кубка Дэвиса с Австралией в Портленде, Орегон. Коннорс принимал участие, и мы всё ещё не разговаривали. Питер и я выиграли пару довольно легко, и мы победили в поединке 4-1. Я мог торжествовать.

Но 1-го октября 1984 года, стоя в аэропорту Портленда в ожидании рейса до Лос-Анджелеса и недельного отдыха, я вдруг подумал:



я величайший из теннисистов – почему же у меня такая пустота внутри?

За исключением «Ролан Гаррос» и одного турнира перед «US Open», где я был просто пресыщен теннисом, я выиграл все турниры в 84-м: 13 из 15, 82 из 85 матчей. Ни у кого до меня не было такого сезона. И до сих пор нет.

Этого было недостаточно.

Это чувство вызревало некоторое время. Четыре года я был номером один и никогда не ощущал себя особенно счастливым. Я списывал это на то, что ушёл Борг, а в моей личной жизни были проблемы. Теперь год подходил к концу, и прошло уже шесть месяцев, с тех пор, как я расстался со Стеллой.

Мне было тяжело привыкнуть к этому – к тому, что я живу один. Мне было комфортно разъезжать без тренера, просто встречаясь с друзьями-теннисистами по дороге или с не-теннисистами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В то же время отношения с двумя моими лучшими друзьями, Питером Флемингом и Питером Реннертом, ухудшились. Оба пытались пробить себе дорогу в туре, и им приходилось нелегко. Я знал, что они остаются в моей тени, это затрудняло положение дел. Как и тот факт, что Питер Флеминг женился.

Мне было некомфортно в полном одиночестве. Но какие были другие варианты?

Примерно во время «US Open» мы со Стеллой снова очень ненадолго сошлись, но ей всё ещё хотелось узаконить наши отношения. Я предложил: почему бы нам просто не завести ребёнка? Куда уж определённое? Моему двадцатипятилетнему уму это казалось хорошей идеей: мне нужна была перемена. Но по непонятной причине Стелла хотела свадьбу, и все тут.

Во время своих разъездов я встречался с девушками: это получалось довольно легко. Их просто приводили друзья. Если я шёл в ресторан, они были там. Если я шёл в ночной клуб, они были там. На теннисных матчах всегда присутствовали девушки. Были ли они преданными фанатками, типа как в рок-н-ролле? Я бы не сказал, что настолько уж преданными. Как бы там ни было, Борг ввёл эту моду, а я уже пожинал плоды.

А ещё можно было встречаться с теннисистками. Мне не приходилось слишком напрягаться. Первой ракетке всё само плывёт в руки.

Но я не был особенно счастлив.

В ту неделю Витас тоже оказался в Лос-Анджелесе, и вот он сказал мне: “Ты должен прийти на эту вечеринку”. Ричард Перри, музыкальный продюсер, который устраивал легендарные вечеринки в своём доме на Голливудских Холмах, был его другом. Предложение звучало слишком заманчиво, так что я пошёл.

Был тёплый октябрьский вечер – один из тех лос-анджелесских вечеров, когда в воздухе пахнет апельсиновым цветом и на коже ощущение шелка. Я вошёл на вечеринку и чуть не засмеялся: все, буквально все в поле зрения были знаменитостями. В общем, мой взгляд пересёк комнату и остановился на яркой девушке с острыми чертами лица и крашеными рыжими волосами, а затем её взгляд встретился с моим.

Я подошёл и представился. Мне очень хорошо было известно, что это Татум О’Нил: она была самой молодой обладательницей премии Оскар – за фильм «Гениальные аферисты» в 1974 году.

Я знал, что она снималась с Уолтером Маттау в «Несносных медведях», который я тоже считал отличным фильмом.

И мне было слишком хорошо известно, что её отец Райан О’Нил был в своё время какой же звездой как Том Круз сейчас.

Был ли я слегка ошеломлён? Может быть.

Татум, возможно, тоже. Забавно, когда знакомятся две знаменитости. Сразу же возникает притяжение, потому что кажется, что у вас так много точек соприкосновения, немаловажная из которых – это то, что вы сразу же чувствуете себя свободными от ожиданий, которые предъявляют вам остальные. В конце концов, человек, который знаменит, не станет вести себя как фанат.

Хотя, как оказалось потом, когда я начал ходить на потрясающие манхэттенские вечеринки Ричарда Вайсмана, знаменитости тоже бывают фанатами. Они просто более умело это скрывают. А понимать, что имеешь что-то общее с человеком и скрывать это, не влезая слишком глубоко в душу, – не самое лучшее начало для знакомства.

Конечно, Татум и я тогда ничего этого не знали. Наши глаза встретились, мы оба были привлекательны, мы знали, чего каждый из нас достиг, и одобряли это. И мы оба были в поиске. Может быть, мой необузданный нрав напомнил ей о знаменитом темпераменте её отца. Мне же нравилось, с какой уверенностью, с какой непринуждённостью она вела себя на этой усеянной звёздами вечеринке. Ей ещё не было и двадцати одного, но держалась она как опытная женщина. Пока вокруг нас во всю гремела вечеринка, мы сидели в уголке и говорили, говорили, говорили. Время от времени она наклонялась, чтобы прошептать что-то смешное о ком-нибудь из присутствовавших.

Прятаться было соблазнительно, шептаться было соблазнительно, и её запах, когда она наклонялась близко, был тоже соблазнительным.

Так что в определённый момент естественным ходом событий стал поцелуй. Она улыбнулась, и я поцеловал снова.

Дальше в тот вечер не зашло. Но когда я возвращался назад после вечеринки, ведя машину по лиловым холмам, с телефоном Татум на обрывке бумаги в кармане, моё сердце впервые за долгое время наполнилось радостью.

«Stockholm Open» (*Открытый чемпионат Стокгольма*) – это турнир, на котором я одержал мою первую большую победу над Боргом в 1978-м. Тогда я выиграл этот турнир и в следующем году тоже, а теперь я возвращался туда (1984г.) первой ракеткой мира.

А ещё я возвращался туда, будучи очень несчастным парнем.

Менее всего мне хотелось оказаться на теннисном турнире в Швеции. Сейчас теннис отступил на второй план. Когда я вернулся в Нью-Йорк, мы с Татум никак не могли созвониться и оставляли друг другу сообщения на автоответчике, и чем больше мы скучали друг по другу, тем больше нам хотелось говорить. Наконец мы созвонились, когда я был в Стокгольме, и чем дольше мы говорили, тем больше мне хотелось поехать домой и узнать её получше. Из-за этого мне не нравилось быть за полмира от неё. Я был одинок, опустошён и истощён.

Что-то назревало.

На турнире я был постоянно на взводе, особенно, когда попадал в сложные ситуации, и раздражение начинало вырываться наружу. Мой полуфинальный матч против Андриса Яррида был сложным, в третьем сете у него был матч-пойнт.

Где Борг? – думал я. Кто, ради Бога, этот Андрис Яррид? И что он тут делает с матч-пойнтом против меня?

С этим я как-то сладил, но затем, когда последовал выкрик лайнсмэна, который казался не совсем правильным, я взорвался.

Я назвал судью на вышке “уродом”. Он наложил на меня штраф 700 долларов. Я запустил мяч в трибуны – ещё 700. Затем я расплющил ракеткой банку с содовой. За это ещё 700. Плюс, в качестве бонуса, я окатил содовой короля Швеции, который сидел в первом ряду – это бесплатно (*прим.ред.*– Он ракеткой снёс всё со столика с напитками. Осколки стекла и содовая полетели на первый и второй ряды зрителей, среди которых сидел и король Швеции Карл XVI Густав. К счастью для Макинроя, Его Величество отделался лёгким испугом).

У меня как-то получилось выиграть матч – и победить Виландера в финале на следующий день. Но, я понимаю это как сейчас, я просто напрашивался на дисквалификацию. Но меня не дисквалифицировали.

Почему они этого не сделали? Ответ прост, но не так очевиден: им нужно было создать шоу, а моё присутствие обеспечивало заполняемость трибун. Это происходило турнир за турниром: я бесился, судья наказывал меня предупреждением, штрафным очком, может быть ничтожным штрафом или двумя (в год, когда я заработал 2 миллиона долларов, 7 сотен были просто карманные деньги), и жизнь (как и матч) продолжалась. Если я отправлялся домой, они теряли деньги. Это знали директора турниров, это знали судьи (которых оплачивал турнир), это знали лайнсмэны. Знал это и я. Система позволяла мне все больше и больше и – даже если кому-то казалось, что я торжествую по этому поводу, – нравилось мне это все меньше и меньше.

Так как организаторы не рискнули меня дисквалифицировать, АТР отстранила меня от соревнований на 3 недели. Сначала собирались на 6, но затем они сказали, что если я соглашусь не играть в это время выставочные матчи, они сократят срок до 21 дня (если я мог играть выставки, отстранение было слабым наказанием). Даже Ассоциация теннисистов-профессионалов не хотела расстраивать самого большого слона в посудной лавке.

В общем, дисквалификация была как раз тем, чего я добивался. Мне крайне нужны были несколько недель без тенниса.

Вот как далёк я был тогда от реальной жизни, чтобы проголосовать на президентских выборах 1984 года (чего я никогда раньше не делал) я полетел из Стокгольма в Лондон, затем на Конкорде обратно в Нью-Йорк (я был зарегистрирован в Лонг-Айленде, где недавно приобрёл дом в Ойстер Бэй. Это было мечтой всей жизни моего отца – иметь собственность с теннисным кортом. И теперь мои родители жили в одном из трёх домов владения.)

Но в городе была метель, мой рейс отправили в Вашингтон. И я так и не попал на выборы. Вообще, я ни разу не голосовал – внимание – до 2000 года.

У меня были 3 недели выходных, к которым я и стремился, так что я полетел в Лос-Анджелес. Татум и я говорили и говорили, пока я был в Вашингтоне, и я понимал, что должен вернуться к ней.

Между тем, мне также надо было вернуться и в Голливуд. На той вечеринке Ричарда Перри было что-то такое необычное, что-то волнующее, соблазнительное. Я скучал по самой Татум, но ещё и по Татум в её стихии.

В конце 1984-го я проделал путь от человека, для которого проблемой было попасть в «Студию 54», до настоящей звезды в списке голливудских знаменитостей. Тогда это казалось фантастикой. В Лондоне слава была чем-то вроде бремени. В Нью-Йорке люди старались её игнорировать. В Лос-Анджелесе же люди



простодушно радовались ей. Известность прославляла саму себя. В Лос-Анджелесе известность, казалось, служила вам пропуском к любым радостям жизни. Будь это встреча с Китом Ричардсом и Ронни Вудом перед концертом «Роллинг Стоунз» (*Rolling Stones*) (при этом ощущаешь, что ни в одном другом месте на Земле ты не хотел бы оказаться больше, чем здесь) или другая голливудская вечеринка, персонажи которой представляли собой Кто Есть Кто в кино, а массовой были крупные телезвезды.

Помню, я пошёл на день рождения Пенни Маршал. Она и Керри Фишер родились в один день, и они устраивали вечеринки друг для друга по очереди – одна в один год, другая в другой – в своих домах.

Оглядевшись кругом, я увидел Бетти Мидлер, Дебру Уингер, Джека Николсона. Николсона я считал величайшим актёром всех времён – а он подошёл ко мне, пожал мою руку и, восхищённо глядя на меня, сказал: “Никогда не меняйся, Джонни Мак”.

Такое случалось всё чаще. Я вдруг обрёл такую популярность, что люди, которыми я восхищался, казалось, начали восхищаться мной – был ли это Джек Николсон, Мик Джаггер или Карлос Сантана, который объявил зрителям на концерте: “Я посвящаю эту песню Джонну Макинроу”, – а затем пустился в рассуждения о том, какой я прекрасный человек.

В какой-то степени мне это нравилось, но в то же время хотелось оглянуться и проверить, не говорят ли они о ком-то другом. Я ведь всего лишь теннисист! Но я также был в какой-то мере артистом, и мои представления – мои транслировавшиеся по телевидению всплески – взрывали тоскливую жвачку телевизионных передач. У меня был характер, прямота, ярость. Я был мятежник.

И я действительно был знаменит.

Тем не менее, в глубине души я чувствовал, что звёздная атмосфера Лос-Анджелеса была не по мне. А Татум знала этот мир, как свои пять пальцев, воспринимала его как должное, практически была им пресыщена. Я полагал, она сможет направлять меня.

Искал ли я любовь всей моей жизни? Я не знаю. Я просто чего-то искал. В каком-то смысле встреча с ней была делом времени. Я уже устал от пустоты. Я хотел получить за свои достижения что-то большее, чем деньги.

После семи с половиной лет безумного игрового расписания, я чувствовал, что качусь куда-то вниз, что вот-вот случится что-то плохое. Я не знал, что, но дела явно становились всё хуже: я больше не мог контролировать своё поведение. Не мог оставаться на этой карусели.

Я думал, что Татум могла помочь мне, а я – ей. Чем больше я её узнавал, тем больше она казалась идеальным партнёром для меня. Я считал, что она на пути к обретению себя. Как дочь знаменитого отца и человек, переживший и ранний успех, и трудные времена после него, она, очевидно, боролась с собой в попытках разобраться в себе. Теперь же она пыталась покончить с этим и найти себя.

Татум говорила мне, что собирается покинуть Лос-Анджелес и перебраться в Нью-Йорк. Она хотела окончательно отделиться от матери и отца, которые уже давно были в разводе, но продолжали плохо влиять на неё. Она хотела начать заново.

Она была как неогранённый бриллиант. Я видел девушку, которая прошла через многое, что и я сам испытал – отношения со СМИ, папарацци – и неплохо с этим справилась. Хотите верьте, хотите – нет, но я считал её улучшенной версией себя самого.

Меня постоянно тянуло к ней. В ней было много мальчишеского, так что она многое умела делать неожиданно хорошо: отлично играла в бильярд, бросала Фрисби, хорошо каталась на лыжах. С ней было очень легко проводить время. В какой-то степени я чувствовал себя с ней, словно в мужской компании.

Я чувствовал, что мы подходим друг другу. Мы оба были застенчивы, но напускали на себя суровый вид – правда, узнав её получше,

я понял, что её суровость была более глубинной, чем моя; она испытала гораздо больше, чем я.

Она постоянно говорила о своём отце. Мне начало казаться, что у нас с ним какое-то странное соревнование: что Татум пыталась найти во мне улучшенный вариант своего отца. Постепенно я понял, что Райан был манипулятором, но когда я впервые встретил его, он оказался жутко обаятельным. Он был человеком, который может прийти на вечеринку или в ресторан и зажечь – вы буквально слышали, как объявляют: “Встречайте: Райан О’Нил!” Он отпускал шуточки, рассказывал чудесные истории и говорил вам, какой вы потрясающий. И вы думали: “Да это отличный парень”.

Но потом наступал момент, когда казалось, что он вам голову оторвёт. Я ощутил это, когда однажды Татум пригласила меня в дом Фарры Фоусет на Голливудских Холмах. Её отец жил с Фаррой, которую Татум терпеть не могла.

У меня сложилось впечатление, что он и Фарра были настолько одержимы своим внешним видом, что целые дни проводили в фанатичных тренировках. Помню, постоянно видел Райана, совершающим пробежку по пляжу – мужик пробегал по 5 или 6 миль, и при этом не ел целыми днями; доходило до голодных коликов, но он всё равно не ел, а затем парился или шёл в сауну, чтобы ещё и пропотеть.

Так что, когда были произнесены слова: “Ребята, не хотите прийти поужинать в 6?”, – Райан, вероятно, готов был съесть, что угодно. Не говоря уже о том, что к концу подобного дня, вы становитесь жутко злым.

Мы пришли к ним, и он сказал: “Давай сыграем в ракетбол перед ужином” (*прим.ред.– Игра похожая на сквош*).

За свою жизнь я играл в ракетбол всего пару раз – и никогда с кем-то, кто действительно знал, как это делается. Я был в джинсах, он – в шортах, и я сразу увидел, что он хорошо играет. Я сразу понял, что в этой игре главное – углы. Ты отправляешь мяч в угол, где нет отскока, и таким образом выигрываешь очко.

Райан нанёс удар и приземлился прямо передо мной. А в ракетболе, если ты задеваешь ракеткой противника, очко переигрывается, так что я был вынужден пустить мяч плавно, чтобы не задеть его – и он забил.

Я подумал: “Боже, это безумие”. Но он продолжал в том же духе. Он подставлял свою спину под мои удары, но я ни разу её не коснулся, потому что думал: “Я не собираюсь ссориться с этим парнем”. И я проиграл со счётом что-то вроде 21-18.

Теперь я понимаю, как хорошо, что я с ним не повздорил. Он был чемпионом по боксу в детстве и вообще, “повернут” на соревнованиях. Несколько раз мы боксировали друг с другом. Мне повезло, что он не вырубил меня. Я заставлял его в хорошем настроении. Он позволял мне нанести удар, а сам прыгал и уворачивался, и спустя минуту у меня уставали руки. Его телосложение было противоположность моему: широкие плечи и худенькие птичьи ножки, а у меня крупные ноги и худые плечи. Не думаю, что реши я схватиться с ним всерьёз, из этого поединка вышел бы толк.

Но как я понимаю теперь, в этом вообще было мало толку. В нашу первую близость с Татум мы были под кайфом, и получилось ужасно.

Татум сказала: “Поехали к Фарре”. Я вообще не знаю, почему она хотела поехать туда. Наверное, потому что знала, что Фарры и Райана нет дома, и мы остались вдвоём. Романтики в этом было мало. Мы очень нервничали, как параноики. Наверное, мы просто хотели это сделать, чтобы, когда это произойдёт, сказать, что вот теперь мы значим что-то друг для друга, а вернёмся к этому потом, когда будет более подходящее настроение.

Мы приехали в дом, поднялись в гостевую спальню, там было очень холодно – казалось, что градусов 4°C! Этот странный мандраж в

сочетании с холодом... это было просто ужасно. Не самое хорошее начало. Тем не менее, будем честны, ответственность за произошедшее лежала на нас обоих.

Она не говорила мне: “Давай примем наркотики”. Я с себя вины не снимаю. Теперь я понимаю, что она на самом деле пыталась избавиться от всего этого – и отчасти, поэтому хотела переехать в Нью-Йорк. Её мама, например, была в ужасающем состоянии. Татум пыталась сбежать от того, что представлялось ей страшной участью.

А я вроде как втянул её в это, просто потому что был опустошён и искал способ расслабиться. Я усложнил проблему, не понимая в тот момент, насколько серьёзной она была.

На следующее утро мы спустились на пляж и решили позавтракать в знакомом ресторанчике. Я сидел, ел, и вдруг поднял глаза и увидел, как в ста ярдах (90 м) нас фотографировал какой-то парень! Я подумал: “Что за чёрт?!”

Такое со мной раньше никогда не случалось. До этой фотографии я ни разу не попадал в «National Enquirer», до сих пор помню заголовок: “Макинрой – О’Нил: любовное гнездышко. Два баловня судьбы”. С этого все и началось. Но у Татум была потрясающая способность всё это не замечать.

Моя дисквалификация истекла, но те несколько недель со Дня благодарения до Нового 85-го года выдались у меня каким-то странными. Я подтвердил своё участие в финале Кубка Дэвиса в середине декабря в Швеции, но затем снялся с «Australian Open», стартовавшего через неделю после этого.

Я был сыт по горло. Поездка в Австралию не имела значения для меня. Сейчас, так и не имея в своём активе победы на «Australian Open», я слегка жалею, что не поехал тогда сыграть в этом турнире, ведь я находился на пике формы.

Но в тот момент о теннисе я думал в последнюю очередь. Я был влюблён. А когда ты влюблён, ты, конечно, смотришь на вещи по-другому.

Мне было пора покинуть Лос-Анджелес и отправиться в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к Кубку Дэвиса. Татум всё говорила о переезде, как только найдёт какое-нибудь жильё на Манхэттене. И, под влиянием момента, я сказал: “Переезжай ко мне”.

Мы полетели на восток вместе.

Помните эту строчку из песни «Beach Boys» (*американская рок-группа*): «Sloop John B» – “This is the worst trip I’ve ever been on” (Это худшее путешествие в моей жизни)? Именно такой была моя поездка в Швецию в том декабре. Как потом окажется, это был мой последний матч в Кубке Дэвиса в следующие три года. И я ушёл, громко хлопнув дверью.

Когда самолёт оторвался от земли в аэропорту Кеннеди, моё сердце упало. Татум осталась у меня дома. Мы с Коннорсом по-прежнему не разговаривали. Мои мысли были за миллионы миль от тенниса. Я вздохнул и поглубже устроился в кресле, надеясь, что неделя пролетит быстро.

Я прибыл в Гетеборг во вторник утром и обнаружил, что заваруха уже началась. Джимми приехал, несмотря на тот факт, что его жена вот-вот собиралась родить второго ребёнка. Так что, он нервничал и вёл себя соответственно. Для примера, машина, которая должна была доставить его на тренировку в понедельник, не приехала, и он так рассвирепел, что – можете мне поверить – написал гневное послание Артуру на снегу.

Отношения между Питером Флемингом и мной испортились. Нашим четвертым игроком был Джимми Ариас – его я никогда не мог

понять, просто не понимал его чувства юмора.

Добавьте сюда тот факт, что я был влюблён и меньше всего мне хотелось быть здесь.

Представьте себе полную противоположность командному духу. Вот именно это и было у нас в Гетеборге.

В первый день Коннорс играл с Виландером и проиграл без шансов. Он просто пошёл в разнос. Уж кто-кто, а я-то знаю, каково это – выставить себя идиотом на корте, – но здесь он просто превзошёл всех и вся. Он ругался и срывался на каждого, кто попал ему под руку – чудо, что его вообще не отстранили. В Швеции! На финале Кубка Дэвиса!

Шведы сделали то же самое, что французы в Гренобле в 82 году – построили крытый грунтовый корт, чтобы усложнить жизнь нам и облегчить – своим бейслайнерам (*прим.ред.– Игрок, предпочитающий играть на задней линии*). В общем, корт был ужасен: он был плохо утрамбован – они хотели, чтобы он был как можно медленнее – и буквально разваливался на части.

Вообще, стадион был просто безобразный, и Артур не знал, что, чёрт возьми, делать. В результате он решил не делать вообще ничего. Он не усаживал нас для разговоров – ничего. Ситуация была крайне некомфортная. Самое смешное, что после проигрыша Джимми я тоже провёл слабый матч, при этом оставаясь совершенно спокойным. Я проиграл Хенрику Сандстрому, очень сильному грунтовому игроку. Это был вообще один из тех немногих матчей, когда я едва ли сказал хоть слово.

К концу первого дня мы проигрывали со счётом 0-2 – слишком большое отставание во встрече с таким серьёзным соперником, как шведы, тем более игры проводились на их территории, на медленном красном грунте. На следующий день мы с Питером играли пару против Эдберга и Яррида, которые очень быстро повели у нас 2-1 по сетам и уже практически взяли Кубок.

Мы проигрывали 5-6 в четвёртом сете, и Питер мучился на своей подаче. Вдруг на трибунах появился Коннорс, хлопая и крича: “Давайте, ребята!” И я подумал: “Да кому ты голову морочишь?”

Понятия не имею, что было у него на уме, может быть, до него только в этот момент дошло, что мы проиграем этот Кубок Дэвиса. Моей следующей мыслью было: “Мы не выиграем, камбэка не будет, я не хочу. Пошёл ты!”

Но потом я подумал: “Что ты себе позволяешь? Ты же играешь за Соединённые Штаты Америки!” Но я не мог побороть себя. Я уже выиграл 4 Кубка, играл седьмой год, так что я и так немало достиг. “Четыре победы и финал – не так уж и плохо”, – думал я, – “К чёрту этого парня! Хочешь выиграть? Попробуй ещё раз”.

Я не испытывал гордости за такие мысли. Я и сейчас её не испытываю.

Эдберг и Яррид были отличной парой игроков, и повода ожидать, что мы сумеем отыграться и выиграть матч, не было. Мы и не выиграли. Питер сделал двойную ошибку на матч-пойнте. Это был первый матч Кубка Дэвиса, который мы с ним проиграли. Я чувствовал себя паршиво, но, по крайней мере, я мог утешить себя тем, что ни одного мяча не пропустил специально и не сделал ничего, что могло бы помешать нашей возможной победе, когда Коннорс стал нас поддерживать.

Но всё равно половина ответственности за проигрыш была на мне. Моя активность была низкой, я не вошёл в матч. Это не оправдание. Это то, что происходит, когда команда на самом деле не является командой.

А затем вдруг в тот вечер между мной и Коннорсом всё наладилось. Не спрашивайте как. Мы все отправились на ужин, и один из приятелей Джимми (они всегда были с ним), рыжий парень по имени Билли, сказал: “Эй, слушайте, что было, то прошло”. Мы оба пожали плечами и сказали: “А и правда”. В итоге Джимми и я сидели в баре, пили до поздней ночи, чувствуя, что теперь мы можем относиться

друг к другу по-приятельски.

Следующим утром он отправился домой, чтобы быть рядом со своей женой. Мы должны были играть два одиночных матча после обеда, которые не имели никакого значения, кроме возможности для нас сохранить свою честь. Я победил Виландера, а Ариас проиграл в тяжёлом матче против Сандстрема, в котором он был так скован, что у него начались судороги. Мы старались, но проиграли поединок со счётом 4-1.

Последним ударом – и событием, изменившим мою жизнь в Кубке Дэвиса – стал протокольный ужин тем вечером. Во-первых, представьте: нужно высидеть всю эту длинную церемонию в чужой стране, тогда как играли вы слабо, да и слаженностью не отличались. Такие приёмы изначально скучны до безумия, а этот казался вдвое длиннее, чем обычно. Он тянулся и тянулся.

Нам всем было скучно, мы были расстроены и с трудом могли усидеть на месте. В какой-то момент, во время во время исполнения гимна США Джимми Ариас, сидевший со мной за одним столом, немного болтал – ну, как обычно – смеясь над чем-то в своей самодовольной манере. В этом не было ничего предосудительного, но это стало решающей деталью в шумихе, которая позже поднялась вокруг нас.

После, наверное, четырёх часов речей и тостов, я наклонился к Артуру и спросил: “Слушай, Артур, когда нам можно отсюда уйти? Разве уже не достаточно?”. Артур сказал: “Можете уйти после следующей речи”. Итак, когда следующая речь закончилась, Ариас, Питер Флемминг и я встали и ушли. Чего мы не знали, и Артур не знал – это то, что следующим произносить речь должен был Хантер Делатур, президент Теннисной ассоциации США.

Делатур видел, что Артур отпустил нас, но теперь он смотрел на наш стол, где сидел один Артур без своей команды, и был в бешенстве. Он начал со слов извинения за поведение команды во время матчей, которое заставило его, как президента Теннисной ассоциации США, краснеть за Америку (подразумевая при этом меня, видимо за прошлые прегрешения, несмотря на тот факт, что я не произнёс ни звука).

Отец, приехавший в Гетеборг на матч, был в ярости, так же, как и обычно невозмутимый Артур, который считал, что Делатур не имеет права выносить сор из избы. Артур сказал моему отцу, что Делатур, который последний год находился в должности президента Теннисной ассоциации США, заискивал перед главой Международной теннисной федерации Филипом Шатрие, в надежде получить там место.

В общем, в результате всей этой заварушки Американская теннисная ассоциация утвердила новый Кодекс поведения. С этого момента, не подписав Кодекс, ты не мог играть в Кубке Дэвиса.

После этого я не выступал за свою страну 2 года.

Мы с Татум провели Рождество в Нью-Йорке, а затем вернулись в Лос-Анджелес на встречу Нового года. Вечером мы с несколькими друзьями пошли выпить, потом вернулись вдвоём в дом Райана и играли в пул (*разновидность бильярда*) со сводным братом Татум, Патриком. Было уже 3 или 4 часа утра, а мне на следующий день надо было улетать в Вегас, чтобы готовиться к матчу. В общем, я сказал: “Мне надо идти спать”.

Татум осталась ещё выпить и поиграть в пул с Патриком. Не знаю, когда она пришла в постель, но вероятно, не раньше 6 или 7 часов. Около 11 я потормошил её и сказал: “Послушай, я еду в Лас-Вегас. Хочешь со мной?”. С меня было достаточно Лос-Анджелеса и



вечеринок на тот момент. Я был теннисистом и хотел играть в теннис. Я был уверен, что Татум не захочет выбираться из кровати, потому что гуляла всю ночь. Но она встала. Она села в машину и поехала со мной. Теперь мы были вместе, что бы ни случилось.

Так начался 1985 год. Это было потрясающее начало потрясающего года.

Глава 9

Теперь я наконец понял, что же переживал Питер Флеминг во время той ослепительной череды побед в 1979 – это было чувство огромного подъёма, которое испытываешь, когда впервые любишь. В начале 85-го я меня всё ещё несла волна оглушительного успеха предыдущего года, но сейчас я был ещё и окрылён. Я был счастлив – у меня было чувство, что я нашёл свою вторую половину, свою спутницу жизни. Татум ездила со мной, и первые несколько месяцев мне казалось, что я не отдам не то, что ни одного матча – ни одного сета!

В третьем подряд финале «Мастерса» я проехался катком по Лендлу со счётом 7-5, 6-0, 6-4: в один присест я под ноль выиграл 11 геймов.

В финале Филадельфии я одержал победу над восходящей звездой из Чехии, обманчиво апатичным Мирославом Мечиром, который быстро набирал в рейтинге (и легко расправился с Коннорсом в полуфинале). Я взял титул в Хьюстоне, победив Кевина Каррена, который сильно подавал (и тоже быстро рос в рейтинге).

В финале же Милана я выиграл у соперника, который почти стал моим заклятым врагом, – Андерса Яррида: когда-то в первых кругах «Мастерса» в матче со мной у него был матч-бол.

В первом круге на турнире в Милане я быстро справился с высоким рыжим семнадцатилетним верзилкой из Германии по имени Борис Беккер.

Должен сказать, что тогда он не произвёл на меня особого впечатления, единственное – он ужасно раздражал своими замашками. Целый матч он постоянно ныл и жаловался из-за решений лайнсменов и своей собственной игры. Я-то думал, что это моя прерогатива! А ещё я считал, что у меня куда больше оснований вести себя подобным образом. Я сказал ему, что прежде чем начать жаловаться, ему нужно что-нибудь выиграть. И думаю, что он меня услышал.

Прямым результатом финала Кубка Дэвиса со Швецией, который мы запороли, стало то, что Теннисная ассоциация США заявила мне: если я хочу играть за команду в 85-м, мне придётся подписать кодекс поведения. На что я ответил: “Я не собираюсь ничего подписывать. Или вы меня берете, или нет. Вы прекрасно знаете, как я себя веду. Да, иногда бывает (и кстати, в Швеции я вёл себя вполне нормально), что я перегибаю палку. Но я постараюсь вести себя наилучшим образом и учитывать, что играть за свою страну – это не совсем то же самое, что играть за себя”. Это была безвыходная ситуация. Конечно, я мог и подписать кодекс и вести себя так же, как обычно. И что бы они сделали? Подали бы на меня в суд? Отказались бы? К тому времени оплата составляла десять тысяч долларов за неделю. Какая была, к чёрту, разница, подписал я эту бумажку или нет? Да никакой! И я отказался ставить подпись.

В первом матче 1985 года мы играли с Японией. Мы бы могли обыграть Японию и юниорским составом. Элиот Телтшер и Аарон Крикштейн вылетели туда и выиграла со счётом 5-0. Следующая встреча была четвертьфинальной с Беккером в Германии. Борис как раз только что выиграл «Уимблдон», и у Телтшена и Крикштейна не было ни малейшего шанса обыграть его и Ганса Швайера. Ну и всё – так

и прошёл 1985 год. Я не играл. Коннорс уже не играл. Лендл утверждал, что он американец, но его заявление на американское гражданство ещё не обработали. Мы снова мучились на Кубке Дэвиса. И всё из-за какой-то бумажки.

С самого первого дня, когда я попал в Калифорнию, я был без ума от Малибу. Стейси привезла меня туда, когда мы встречались, и я влюбился в покой и красоту Тихого океана, в великолепие длинного побережья. Впервые мысль о том, чтобы купить там дом, посетила меня вскоре после того, как я стал профессионалом. Я смотрел дома на побережье, но в то время они стоили как минимум миллион долларов, и отец сказал мне: “Ты же не собираешься покупать дом, который стоит таких громадных денег”. Отец вёл мои финансовые дела с тех пор, как я начал играть в туре. Со многих точек зрения, это был удачный вариант: я доверял ему, как самому себе, и платил ему за часы работы, а не процент с заработков, но с другой стороны, как вы можете себе представить, в этом были свои сложности. Тем не менее он был прав. В 1979 или 1980 я не располагал такой суммой денег, чтобы потратить миллион долларов на дом на побережье, во всяком случае, после выплаты налогов, поэтому я решил было купить небольшой холостяцкий домик на отвесном берегу за 400 тысяч долларов. Однако потом я передумал, потому что мой финансовый консультант (папа) переживал из-за того, что может случиться с домом в случае землетрясения. Перемотаем ленту времени на февраль 85 года – в течение пяти лет я зарабатывал хорошие деньги. Теперь-то я мог позволить себе купить дом на побережье. И не какой-нибудь дом на побережье, а дом Джонни Карсона – на шоссе Пасифик Коаст на побережье Карбон-Каньон в Малибу за 1,85 миллионов долларов плюс три теннисных урока, на которых настоял Джонни.

Я всё больше склонялся к тому, чтобы обосноваться в Лос-Анжелесе: мне нравилось побережье. Ничто не успокаивало меня больше, чем сесть и просто смотреть на океанский прибой на закате.

К несчастью, это привело к тому, что я вернул Татум в то окружение, из которого она пыталась сбежать. Ей хотелось освободиться от своей семьи, а жизнь на побережье, недалеко от отца, который оказывал на неё сильное отрицательное влияние, была ей совершенно не в помощь.

На турнире в Хьюстоне я был вымотан переездом и не уделял внимание своей физической форме. В первом круге я выплеснул всю свою усталость на корт и сцепился с польским ветераном Войтеком Фибаком.

Это был очень толковый, опытный игрок, очень ушлый в психологических играх – на семь лет старше меня. Он отлично играл в том матче, но мне казалось, что он ещё и манипулирует судьёй на вышке в стиле Джона Ньюкомба, воспользовавшись его подходом “убийственной вежливости”, чтобы настроить против меня публику. В конце концов, я не выдержал и набросился на него, облив его с головы до ног потоком непристойностей.

Это было глупо и недостойно. Если когда-то я был аккуратен со словами и следил за тем, что говорю, словно юрист, даже будучи в бешенстве, сейчас я дал себе волю – и меня понесло.

Я полностью потерял над собой контроль. На тот момент мне бы пошло на пользу, если бы меня отстранили от участия в турнирах. А вместо этого я манипулировал правилами таким образом, что я нарочно нарывался на отстранение тогда, когда мне нужен был перерыв.

По правилам тебя отстраняли в том случае, когда штрафы переваливали за определённую сумму: первоначально это было 7 тысяч 500 долларов. Поэтому я накапливал несколько штрафов, а потом решал: “Ладно, сейчас у меня штрафов на 6 тысяч 800 долларов, так что если меня на этой неделе снова оштрафуют, меня отстранят от игры на 21 день”.

Но в графике у меня были и выставочные матчи, поэтому я продолжал их играть. Именно тогда руководство АТР тура осознало, что

им нужно немного закрутить гайки. Первоначальное отстранение было сроком 21 день, но если игрок в этот период продолжал участвовать в показательных матчах, отстранение удлинялось в два раза, т.е. составляло 42 дня (именно это со мной и произошло в 84 году на Открытом чемпионате Стокгольма). В результате я стал более осторожным, однако это по-прежнему оставалось для меня игрой – и не только для одного меня.

Когда у меня только начались мои срывы – такие, как тот, что случился у меня в матче с Фибакком, я искренне раскаивался, но был не в состоянии что-то изменить. Я не мог или же не слишком хотел что-то в себе менять.

Отчасти я даже считал, что у меня было полное право так себя вести, ведь я был лучшим теннисистом в мире – очень важная “шишка”, но даже это не приносило мне удовлетворения. Когда ты не в состоянии контролировать себя сам, тебе хочется, чтобы тебя контролировали извне. Поэтому-то мне так хотелось играть в командном виде спорта. А что если бы я играл за «Никс»? (*прим.ред.* – «*New York Knicks*» – профессиональная баскетбольная команда). Со мной бы работали, меня бы тренировали. Кто-то бы непременно сказал: “Ты вредишь нашей команде, но мы хотим тебе помочь, потому что ты нам нужен”.

А вместо этого я чувствовал себя на теннисном корте всё более и более одиноким. Никто не пытался мне помочь, да я и не просил никого о помощи. Я всё глубже и глубже погружался в яму, которую же сам себе и выкапывал – и чувствовал себя всё хуже и хуже.

И вот тогда меня и посетила блестящая мысль!

Я решил, что нам с Татум надо родить ребёнка. Мне это казалось настолько прекрасной идеей – я давно уже подумывал о детях. Кроме того, должен признать, что я думал ещё и о том, что, возможно, если Татум забеременеет, она возьмётся за ум. Возможно, это бы вынудило взяться за ум нас обоих.

Жёлтая пресса преследовала нас по пятам вот уже почти шесть месяцев, и это тоже выводило меня из себя. Я пользовался скандальной известностью в теннисном мире. Я был на обложке журнала «People». Но никогда не удостоивался чести побывать в «National Inkvaer» до тех пор, пока нас с Татум не сфотографировали в декабре. И теперь они словно открыли на меня охоту, охоту на меня и особенно на нас вдвоём. Внезапно, куда бы я ни пошёл, я чувствовал себя словно на сцене. Даже теннисные турниры привлекали толпу папарацци: людей, которых я раньше и близко не видел на теннисе.

В итоге первый раз в карьере я решил изменить свою подготовку к «Уимблдону» и не играть в Квинсе, где я до этого играл в финале семь лет подряд.

Но мне по-прежнему очень хотелось выиграть «Ролан Гаррос». Я пробился в полуфинал, где меня ждал Матс Виландер, который тогда вырвался в пятёрку сильнейших. Мы играли в очень ветреный холодный день. Первыми в 12:30 должны были играть Коннорс с Лендлом.

Я пытался сообразить, когда мне поесть. Казалось бы, такая мелочь, но это играет огромную роль. Ты пытаешься высчитать, когда тебе придётся выходить на корт и отсчитать несколько часов назад. Не хочется ни переесть, ни недоесть. Исход матча может зависеть от правильного расчёта времени. Это не так просто, и часто случаются неожиданности.

Я вернулся с тренировки в гостиницу в 11:30 и довольно плотно пообедал. К этому времени начался ливень. Я потренировался в зале, но подумал, что раз идёт дождь, матч вряд ли будет продолжаться. А потом я включил телевизор и в ужасе увидел, что Лендл и Коннорс начали играть под дождём. Уж не знаю, по какой причине, но их поставили играть.

И Лендл просто забивал Коннорса. Не знаю, что случилось с Джимми: или же у него была травма, но он делал вид, что никакой травмы не было, или же у него просто наступил спад. Лендл расправился с ним за какие-то час и двадцать минут. При счёте 2-0 по сетам я всё ещё находился в гостинице. На корты я приехал при счёте 6-2, 6-3, 3-0. Обычно перед матчем хватает часа времени: чтобы одеться, размяться, успокоиться. Когда я вышел играть, я был совершенно не готов.

В этот день всё шло наперекосяк. Я проиграл первый сет 1-6. Во втором у меня были сет-болы при счёте 5-4, и я бы мог сравнять счёт по сетам, но проиграл 7-5. В третьем я вёл 5-1, но проиграл и его 7-5. Я должен был вести 2-1 по сетам, а вместо этого проиграл матч.

В Париже таблоиды (*имеется в виду журналисты*) набросились на нас со свежими силами, и я был совершенно обескураженный, когда вернулся в Нью-Йорк. Я был рад, что не играл в Квинсе. Я решил дать себе передохнуть, просто потренироваться недельку или десять дней на травяных кортах в «Пайпинг Роке» (*спортивный клуб в округе Нассау*) или в «Форест Хиллс», а потом вернуться и опять попытаться выиграть «Уимблдон». Я был в пяти финалах подряд, поэтому пропуск подготовительного турнира был для меня серьёзным шагом, но мне просто необходимо было успокоиться.

А потом Борис Беккер выиграл в Квинсе, и Йохан Крик, которого он победил в финале, сказал: “Если Борис продолжит играть на том же уровне, предполагаю, что он выигрывает «Уимблдон»”.

Ну уж нет, я ему такой возможности не предоставляю! Я не взял Татум на «Уимблдон». Это было бы слишком большой нагрузкой и для неё, и для меня, и для наших отношений. Но это не помогло. Таблоиды, и американские, и британские, поставили публикацию своего вздора на поток. Там были и ложь о Татум, и о проблемах её матери с наркотиками, и другая бессмыслица. Все они были напечатаны в газетах. Я говорил: “Нет, не буду на них даже смотреть”, а потом кто-то говорил: “Слушай, Джон, ты читал статью в «San»”?

У меня было такое чувство, что в том году я проигрывал не соперникам, нет, я проигрывал ещё до того, как выходил на корт. В четвертьфинале я играл с Кевином Карреном, который на траве был очень непростым противником. Пару лет назад я выиграл у него на «Уимблдоне», когда его подача была просто обескураживающая, но с тех пор он очень усилил игру. К тому же он обзавёлся новой графитовой ракеткой «Kneissl», которая придавала его подаче ещё большее ускорение – можно подумать, он никак не мог без этого обойтись. С появлением новых ракеток становилось всё очевиднее, что с игроками, обладающими хорошей подачей, играть стало ещё сложнее.

Каррен просто ошеломил меня своей подачей. Я не мог поймать ритм на приёме. Я не смог даже оказать сопротивления 6-2, 6-2, 6-4. У меня было такое чувство, словно я старик. Старик в 26 лет.

В то же время мы с Питером прошли в полуфинал в парах. Это случилось уже после того, как Каррен сравнял меня с землёй в одиночке. Находясь под давлением всех этих рассказов из таблоидов, мне вдруг стало худо. Я ходил, ссутулившись от навалившегося напряжения, и мне было до такой степени плохо, что я в буквальном смысле терял контроль над своим телом.

Помню, как я сидел в раздевалке перед парным полуфиналом, сгорбившись, и мне было так плохо, что я думал только о том, как бы поскорее оттуда убраться. Но я не намерен был так подвести своего партнёра. Впрочем, какая разница – мы всё равно проиграли. А Беккер разбил Каррена в финале одиночного разряда. Ему было 17 лет.

Я играл с ним незадолго до того, как он победил в «Уимблдоне» – на выставочном матче в Атланте, на стадионе «Омни». Там долгие годы проводились прекрасные показательные матчи и турниры? В Атланте было как в Милане – фантастическая публика, невероятная

энергия. Борис расправился со мной со счётом 7-5 в третьем сете, и я подумал: “Сильнее подачи, чем у этого парня, я в жизни не видел. Никто не подаёт сильнее, чем он”.

В Милане он так не играл. А сейчас после победы в «Уимблдоне» он стал более уверен в себе. Дело не только в том, что у него была сильная подача, а в том, что он умел подавать очень точно по месту. В «Уимблдоне» у Каррена подача была просто очень сильной, но у этого парнишки подача была более сложной, он её подкручивал, её было сложнее прочесть – она была более непредсказуемой. К тому же к подаче добавлялись и его уверенный вид, и безумная готовность бросаться за мячами (хорошо быть подростком!). А ещё он очень даже неплохо играл с задней линии. Беккер был просто каким-то феноменом с точки зрения физической формы. Для парня в таком юном возрасте у него были невероятно длинные ноги – меня это просто изумляло. Ему даже не исполнилось и 18. Я становился старше, а будущее приближалось всё стремительнее.

В августе я дважды победил Лендла в трёх сетах на подготовительных турнирах к «US Open»: в Страттон-Маунтоне, в Вермонте, и в на «Canadian Open». Он всеми силами старался вырвать у меня из рук звание первой ракетки мира, и всё зависело от «Флэшинг Мидоуз», где, говоря откровенно, я полагал, что мои шансы на пятый титул очень высоки.

Я без труда прошёл в полуфинал, и там меня ждал Матс Виландер. Этому матчу суждено было изменить всю мою жизнь.

Мы вышли на корт в “супер-субботу” в 11 утра. Стояла невероятная жара, но я сохранял спокойствие, зная, что мне пригодится вся моя энергия – до самой капельки. И я оказался прав: это был длинный, трудный пятисетовый матч. Матс что только не перепробовал из своего арсенала, ещё и постоянно микшируя свои приёмы: я всегда считал его одним из самых умных игроков, с которыми мне доводилось играть. Отставая в счёте 1-2 по сетам, я пошёл ва-банк, пустив в ход всё, на что я способен, и мне удалось отыграть, выиграв два сета, и победить. Сложно описать, какую усталость я испытывал после матча. А затем был длинный женский финал, а потом Лендл не вышел на матч с Коннорсом до семи вечера, когда жара спала, а потом Коннорс начал хромать – у него что-то случилось с лодыжкой. Лендл победил его в трёх простых сетах, даже почти не вспотев.

На следующий день я не мог поверить, как же мне было плохо. По правде говоря, предыдущие четыре или пять лет моё самочувствие оставляло желать лучшего, но хуже, чем тогда, я никогда не чувствовал. В начале 85-го года я потянул мышцу бедра, и массажист тейпировал (*прим.ред.– Наложение специальной самоклеющейся ленты “тейп” на повреждённое место*) её мне на каждом матче. Повязка помогала мне, так что я мог выкладываться на все сто, но тем не менее что-то было не то. Мне казалось, что это чувство пройдёт, но я ошибся.

Произошло то, что на организме начали сказываться годы нагрузок. Хотя и говорили, что мой стиль игры казался лёгким по сравнению с тем же Лендлом (один из спортивных журналистов написал, что когда он закрывал глаза и слушал, как мы играем, на слух ему казалось, что Лендл двигает мебель, а меня было почти не слышно), но эта лёгкость игры требует труда.

Я всегда гордился тем, как я двигался. Мне нравилось думать, что в моей манере передвигаться по корту было что-то кошачье. Я делал своё дело, хотя обо мне редко говорили: “Смотри-ка, а он и правда, очень быстрый”. Я не слишком напрягался, потому что знал, что мой организм не потянет большую нагрузку. Ноги у меня всегда были сильные (даже в подростковом возрасте я выжимал огромный вес ногами), но в руках силы у меня было не так уж и много. А вот восстанавливался я всегда быстро. В общем, когда у меня было достаточно времени, я мог выиграть.

Но время, которое требуется на восстановление, увеличивается с возрастом, и этот процесс ускорялся у спортсменов мирового

класса. Моё время уходило.

На следующий день вначале первого я был у себя дома в Ойстер Бэй с Татум и её братом Гриффином и смотрел игру «Гигантов» по телевизору. Лил дождь, и первый и единственный раз в жизни я молился, чтобы он шёл целый день. Обычно перед важным матчем ты так нервничаешь, что думаешь только о том, чтобы все наконец было позади, но сегодня я чувствовал, что не готов. Я молился о том, чтобы матч перенесли.

И тут вдруг по телевизору показали, что вышло яркое солнце.

“О Боже!”, – сказал я, как можно быстрее закинув одежду и экипировку в свою теннисную сумку. Мы все сбежали вниз и сели в машину, а потом после того, как мы проехали пять кварталов, Гриффин сказал, что он забыл фотокамеру. Я повернул назад, он взял фотоаппарат, а потом мы попали в пробку на шоссе Гранд Централ Экспрессвэй по направлению к «Флэшинг Мидоуз» и добрались до национального теннисного центра в 3:15, за сорок пять минут до начала финала. Этого времени едва хватило на то, чтобы сделать повязку и размяться.

Не знаю даже как, но начал я хорошо и повёл 5-2 в первом сете. А потом вдруг на перемене сторон я встал со стула и... Это сложно объяснить. Но когда люди рассказывают о своём внетелесном опыте, я их прекрасно понимаю. Потому что я поднялся и прошёл к своей стороне корта, но моё тело осталось сидеть на стуле. Я просто умер. Во мне не осталось ни капли сил. Ноль. У меня были сет-болы, но я проиграл 7-6, 6-3, 6-4.

Это был переломный момент. До этого Лендл проиграл в трёх финалах подряд: дважды Коннорсу и один раз мне. А теперь раз и навсегда он доказал Нью-Йорку, что он не слабак. После этого матча его уверенность в себе взлетела до небес (после этого он выиграл «US Open» ещё дважды и сыграл в восьми финалах подряд с 1982 по 1989 год – невероятное достижение), а моя уверенность сошла на нет. Больше в турнирах «Большого шлема» я не побеждал.

Он сбросил меня с вершины. Теперь первым номером стал он.

Существует несколько спортсменов, которые удалось изменить взгляд на то, как играют в их вид спорта. В американском футболе таким человеком был Лауренс Тейлор, который был внешним полузащитником, в теннисе ими были Иван Лендл и Мартина Навратилова. Чтобы стать первым номером, Лендл тренировался как ненормальный. Он похудел на пятнадцать фунтов (почти 7 кг) на диете Роберта Хааса (интересно – он был личным диетологом Мартины Навратиловой). Моя не слишком смешная шутка в то время – что я сел на диету мороженого «Хаген Дас» – говорила только о том, что я перестал всерьёз думать о том, чтобы быть первой ракеткой. Я устал цепляться за вершину: слишком много для этого требовалось усилий.

Мне нужен был отдых. Когда другие теннисисты увидели, что сделал Лендл, чтобы сместить меня с вершины в 1985 году, особенно после того, как я играл в 84-ом, они были готовы последовать его примеру. Говорили: “Подождите-ка, я буду тренироваться более интенсивно, я буду больше проводить времени в тренажёрном зале”. И ведь они так и делали. Сегодняшние звезды тенниса, как женщины, так и мужчины, стали больше, сильнее, быстрее, и главное, куда выносливее, чем раньше. Всё это в результате того, что сделал Лендл. Комбинация физической формы и новых ракеток привела к тому, что я остался позади. Мастера деревянных ракеток двигались вперёд – к вымиранию.

Сразу после моего проигрыша Лендлу мы с Татум вернулись в Калифорнию. Перед участием в турнирах Лос-Анджелеса и Сан-



Франциско мне нужно было пару дней передохнуть. А вечером накануне полуфинала в Лос-Анджелесе выяснилось, что Татум беременна.

Всё это было очень странно: в тот самый вечер мать Татум приготовила на ужин очень жирную запеканку, а на следующее утро я буквально не мог вылезти из постели. Я чувствовал себя прескверно и вынужден был сняться с полуфинала. Все выходные я провалялся в кровати и смог участвовать в Сан-Франциско только благодаря тому, что он начинался в среду. Тем не менее, из-за своего самочувствия я проиграл в четвертьфинале Крику.

Не знаю, было ли это реакцией на запеканку или же на то, что сказала Татум, но ощущение было очень странное. В какой-то степени я был совершенно счастлив – я буду отцом! В те моменты, когда меня не рвало, я не переставал улыбаться.

Спустя четыре дня после этой новости, маме позвонили из журнала «People» и попросили прокомментировать сообщение о беременности Татум. “Это правда?”, – хотели они знать. Мама сказала, что вряд ли, потому что сын обязательно бы сообщил ей об этом. Но почему я не сказал ей? Я просто запаниковал. На самом деле я не рассказал ей потому, что хотя мои родители очень тепло относились к Татум, в глубине души я знал, что они её не одобряли. Она была актрисой, её родители были в разводе, она была слишком юной и без высшего образования. Подозреваю, им ещё не нравилось очень многое – то, что мы с Татум никогда с ними не обсуждали.

Ну, и кроме всего прочего, родить ребёнка вне брака! Мои родители были практикующими католиками. Нас с братьями крестили, мы прошли конфирмацию (*миропомазание*), и до 18 лет я каждую неделю ходил на мессу в церковь. Хоть я и решил, что религия – это фальшивка и что если Бог и существует, то он наверняка глух, нем и слеп, от присущего католику чувства вины не так-то легко избавиться.

В конце концов, несколько дней спустя я позвонил ей, чтобы поздравить с днём рождения. Мы немного поговорили – и я ничего не сказал. Повесив трубку, я чувствовал себя просто ужасно.

И тут меня чувство вины просто загрызло. Нет, я просто не мог это больше выносить. Я перезвонил и сказал: “Кстати, я забыл тебе сказать, что ты скоро станешь бабушкой”. Так она, наконец, об этом и узнала. И это вечная история всей моей жизни: в ней происходило множество хорошего, но из-за всего того внимания, которое на меня обращали, хорошее зачастую превращалось в плохое. И после того, как я ощутил такой подъем, мир вдруг показался таким постылым.

В ноябре 1985 я сыграл в шести выставочных матчах с Боргом в рамках тура «Теннис по Америке», в котором я играл вот уже на протяжении четырёх последних лет. В этот раз впервые в нём участвовал и Борг. Мы должны были выступить в шести городах за шесть вечеров – нелёгкая задача. К тому же, мягко говоря, мой старый друг и противник давно уже не был тем дисциплинированным человеком, которым он был в те времена, когда он доминировал в мире тенниса. Скажу честно, я был несколько озабочен тем, способен ли он продержаться целую неделю. Но публика жаждала ещё раз увидеть наше соперничество, вот мы и отправились в этот тур, чтобы немного подзаработать.

В первый вечер – это было в Миннеаполисе – на нас пришло посмотреть примерно 14-15 тысяч человек. Толпа была просто невероятной, и большинство зрителей были шведы. По сути, в тот вечер я просто поддался Боргу: ну не мог же он проиграть на глазах у шведской публики.

Но вскоре я обнаружил, что мне приходится подыгрывать ему на протяжении всех матчей. Он по-прежнему был в прекрасной форме. Он по-прежнему передвигался по корту с невероятной скоростью. Однако он больше не мог бить по мячу так, как когда-то. Он перестал вкладывать в удары всю душу.

Однажды вечером мы выпивали (в баре), и я начал философствовать о том, как я проиграл «US Open» и как Лендл сменил меня на верхушке рейтинга. “Может быть, вторым не так уж и плохо”, – размышлял я вслух. “Давления было куда меньше, а второй номер – это тоже не хухры-мухры. Возможно, мне стоило закончить вторым номером и закончить карьеру или же – ещё один вариант – просто немного передохнуть и снова попытаться отвоевать золото?”

Он перебил меня, покачав головой: “Только первый номер имеет значение, Джон”, – сказал он, – “И тебе это известно не хуже меня. Когда ты становишься вторым, то можно быть и третьим, и четвертым – ты просто никто”.

Он подозвал меня поближе и тихо сказал (даже несмотря на ревушую в гостиничном баре музыку). “Ты должен выиграть Австралию!” – жарко зашептал Бьорн. “Если ты победишь там, а потом вернёшься и выиграешь итоговый «Мастерс», то ты снова станешь первым!”

“Хм”, – сказал я, сморгнул и задумался.

“Тебе скоро 27, Джон”, – сказал Борг, – “Не упусти свой шанс”. Он кивнул медленно и торжественно, с полной уверенностью в своей правоте. Я слушал его. У меня было чувство, что он практически единственный человек, с которым я мог обсудить такие вещи – и он знал, о чём говорил. Тогда я и решил участвовать в «Australian Open». Он убедил меня в том, что я по-прежнему мог стать первым.

«Australian Open» был ужасен. Мне ни в коем случае не стоило в нём участвовать. Я был слишком усталым, чтобы продолжать играть. Я был психологически неустойчив.

Но я полетел всё равно. Со мной полетела и 22-летняя беременная подруга. Сначала я подумывал о том, чтобы лететь в Мельбурн одному. Если я серьёзно хотел выиграть титул, мне стоило как можно меньше отвлекаться, но я видел, что Татум ни за что на это не пойдёт. Беременной женщине, особенно такой юной, хочется быть рядом со своим мужчиной. Поэтому я снова рассудил так: возможно, мне нужно просто расслабиться и не нервничать по поводу результата турнира. Пусть второй номер в мире – это не то, о чём я мечтал, но что бы ни говорил Борг, это не так уж плохо.

Из Мельбурнского аэропорта нас машиной привезли в гостиницу, зал которой был заполнен папарацци. Я был вне себя от бешенства, но сдержался. Я потребовал разговора с менеджером и сказал ему: “Избавьтесь от всех этих людей. Я вас прошу, увольте меня от всего этого. Я только что прилетел из США, и мне не до того, чтобы всем этим заниматься”. Внутри меня всё горело, кроме того, я очень вымотан перелётом.

Когда мы поднялись в наш номер, я тут же почувствовал, что что-то в этом было неправильное. Если они запустили всех этих людей в лобби, получалось, что пока бы были здесь, мы ничего не могли контролировать. Я должен был что-то сделать.

Татум была расстроена. Я сказал ей: “Послушай, я решу этот вопрос. Я спущусь вниз и поговорю с менеджером”. Она пристально посмотрела на меня. Она знала, на что я был способен и что я мог устроить. Однако (с ней) я стал спокойнее. Она поверила, что я смогу разрешить ситуацию.

Однако когда я спустился вниз, один из фотографов по-прежнему был там, и он тут же начал опять меня фотографировать.

Я потерял контроль над собой. Я схватил его за воротник и толкнул его на диван. “Слушай ты, козел!” – зарычал я. Не знаю, что я собирался с ним сделать. Не знаю, что собирался сделать он. Когда я вцепился папарацци в воротник, я вдруг услышал, как один из портье сказал: “Идёт ещё один фотограф”.

Ясное дело, это была подстава. Один из них должен был меня спровоцировать, а другой сфотографировать. Я немедленно отпустил

папарацци, но снимок, на котором я стоял и потрясал кулаками над лежащим на диване фотографом, тут же разлетелся по всему миру. Через несколько дней мне даже позвонил отец: “Ну, как там у тебя дела в Австралии? Ага...”

Эти десять дней выдались для меня просто отвратительными. Я чувствовал себя полным идиотом. Я вернулся в номер, Татум спросила, как всё прошло, и я рассказал ей то, что случилось. “А я думала, что ты всё решишь”, – сказала она. Я пробормотал какую-то глупость, а потом, конечно, она никак не могла успокоиться: “Как ты разумно поступил, ну просто очень”.

Очередной раз я пожалел, что у меня не было команды. Когда ты едешь с командой, то в самом начале поездки в таком усталом состоянии тебе не приходится решать такие вещи. Этим занимаются другие – они защищают и ограждают тебя. Я же всегда ездил один – я никогда не любил свиту. Мы ездили вдвоём – я и Татум.

На протяжении всего чемпионата Австралии я играл матчи, которые пытался проиграть – и не мог! В третьем круге я играл с нигерийцем, которого звали Ндука Одизор.

В первом гейме на моей подаче он просто невероятно принимал и без видимых усилий сделал брейк. Что до моего состояния, я был просто вне игры. Никогда я не был так не сосредоточен на матче, как тогда. А потом в следующем гейме он сделал две двойных ошибки, послал мяч с лету в сетку и просто подарил мне свою подачу. В следующем гейме он снова прекрасно принимал. Так и продолжалось ещё по крайней мере шесть геймов, а потом я наконец решил: “Нет, ну не могу же я проиграть этому парню. Нет, я просто не могу, даже если бы захотел”.

В следующем матче повторилось то же самое. В 1/16 финала я играл с Анри Леконтом, теннисист он был ещё тот, и играть с ним было непросто.

Я отставал по сетам 1-2, проигрывал в четвёртом 1-4, отдав две своих подачи. Я был совершенно раздавлен, но каким-то образом хитрил довести счёт до 6-6. В тай-брейке я отставал 1-5, но в итоге я всё-таки его выиграл! Бедный Анри так разнервничался, что в пятом сете я его просто закатал в корт.

В четвертьфинале я встречался со Слободаном Живожиновичем из Югославии. Бобо был ростом 6 футов (1,82 м) и весил 200 фунтов (почти 91 кг), и вы можете себе представить, как он подавал.

В июне он неожиданно выиграл у Виландера в первом круге «Уимблдона». “Отлично”, – подумал я, – “Вот он мой билет на вылет с турнира”. Конечно же, я тут же повёл со счётом по сетам 2-1, а потом проиграл в пятом сете под ноль. К концу матча я в своём бессмертном стиле настроил против себя всех зрителей, которые сначала за меня болели – я показал им средний палец.

Так бесславно закончился мой поход на Австралию в 1985. Его начало и конец были просто ужасны. Середина, впрочем, была не намного лучше. В конце концов, я осознал: “Мне нужно взять себя в руки и немного передохнуть, иначе я могу плохо кончить”. И в этот момент я решил поехать на итоговый «Мастерс», где единственный раз за всю свою карьеру проиграл Брэду Гилберту.

Глава 10

Я стоял у боковой линии на чикагском стадионе «Солджер Филд» (*Soldier Field*) во время матча серии плей-офф между «Нью-Йорскими гигантами» и «Чикагскими медведями» (*американский футбол*). Мои друзья из «Чикагских медведей», Кенни Марджерум и Гари Фенкик, достали мне пропуск на скамейку запасных. Стоял такой холод, что мне казалось, я был на грани обморожения – минус

17°F(27°C). Отчётливо помню, как я тогда подумал: “Боже, какое счастье, что я теннисист”.

Радость моя была, увы, недолгой.

Как вы уже, наверное, поняли, в моей теннисной карьере у меня было несколько заклятых соперников (включая меня самого), но никто не выводил меня из себя так, как Брэд Гилберт.

Я играл с ним 14 раз, и тот единственный матч, когда я проиграл, стал последней каплей в чаше моего терпения. Я обратил свой взор к небесам и подумал: “Кто-то там наверху даёт мне знак. Потому что если я могу проиграть Брэду Гилберту, что-то я делаю не так. Сильно не так. Мне нужно покопаться в себе и переоценить не только всю свою карьеру, но и всю свою жизнь”.

Чем же он так действовал мне на нервы? По большей части всё сводилось к одному: мне никогда не встречался другой теннисист, от поведения которого на корте буквально исходил негатив. Он ни капли не уступал ослику Иа. Уже при выходе на корт он был мрачнее тучи. И он не успокаивался до тех пор, пока не доводил до такого же состояния и соперника. Казалось, что это и был его план на игру. Он выходил на корт с таким видом, будто он собирался устроить себе харакири прямо во время разминки. А ещё он постоянно отпускал комментарии во время игры, приходя в бешенство при розыгрыше буквально каждого очка (как будто кому-то было не всё равно) и оправдывался за каждую сделанную им ошибку: “Как я мог сделать бэкхенд по линии вместо по диагонали?”. “И почему я там не сыграл с лету?”. “Зачем я решил послать первую подачу по боковой линии, а не по центру?”

А его сопернику приходилось выслушивать всё, что он говорил, потому что слышно его было даже на трибунах. Его слова проникали в кровь и отравляли тебя, словно яд.

А с другой стороны, он умел играть. Он был куда более сильный теннисист, чем принято было думать. Он был из тех игроков, которые любили качать. Вторая подача у него никуда не годилась, игра с лёта была неуверенная, тем не менее, ему удавалось возвращать все мячи. Он отбивал мяч, ты подходил к сетке, и тогда он пытался тебя обвести. Такой стиль игры отражал его характер: он разрушал твою игру, высасывая из тебя все силы. Когда ты играл на своём уровне, ты не проигрывал, но нужно было быть начеку, чтобы не дать ему затянуть себя в болото своей игры.

Но это не всегда получалось. Я видел, как сильнейшие теннисисты рассыпались буквально на глазах. Наглядным примером была победа Гилберта над Беккером в 1987 году «US Open». К концу матча Беккер просто не мог оказывать никакого сопротивления, такое впечатление, что он был готов выброситься с небоскрёба «Эмпайр-стейт-билдинг» (*Empire State Building*).

Уверен, что Гилберт выиграл множество матчей за счёт нарушения правил поведения. Есть люди, которые питаются отрицательными эмоциями. Долгое время я и сам был таким. Я не мог получить удовольствие от того, когда всё было в порядке. Я постоянно находился в ожидании того, что вот сейчас произойдёт что-то плохое, я постоянно был настороже, чтобы не дать этому случиться. Это нелегко. Когда ты играешь один на один, сложно убедить себя в том, что соперник не воспользуется преимуществом, стоит тебе на мгновение чуть расслабиться. Кем бы ты ни был, но у тебя обязательно возникнет ситуация, когда ты начнёшь сомневаться в себе.

Возможно, в Гилберте было что-то такое, что заставляло меня приглядеться к себе и задуматься: “Боже, неужели я такой невыносимый?”

Знаю, что играть со мной не подарок, но я всегда оправдываю себя тем, что на мою игру интересно посмотреть. А ещё мне кажется, что в матчах со мной соперникам приходилось показывать всё, на что они способны и даже больше. Контратакующий стиль игры – это

другой характер. В нём преуспели Виландер и Борг: они всегда норовили дождаться твоих действий, а потом говорили: “А у меня это получится лучше, чем у тебя”.

Я же предпочитал диктовать игру сам. Принимать мяч на лету, послать его в корт и смотреть, как соперник с этим справится. Я играл в атакующий теннис – думаю, это куда более увлекательно, независимо от того, выиграешь ты или проиграешь. Хотя я, конечно, предпочитал побеждать.

Однако 1985 год, начавшись так хорошо, превратился в долгую череду поражений. Кульминацией же стала катастрофическая поездка в Австралию. Татум была беременна, а я был измочален и растерян. Собираясь на итоговый турнир «Мастерс», я рассудил так: “Ну что ж, может мне, по крайней мере, удастся закончить год на оптимистической ноте”.

Матч первого круга против Гилберта начался неплохо: я взял первый сет со счётом 7-5. А потом всё начало разваливаться. Медленно и бесповоротно Гилберт заразил меня своим негативным настроением. Он словно стал кривым зеркалом, которое отражало моё самое уродливое обличье. Когда я проиграл второй сет 4-6, мне уже просто хотелось побыстрее уйти с корта.

Но самый ужасный момент случился в начале третьего сета, когда я увидел, что несколько человек на трибунах болели за Гилберта. Они не делали ничего такого, просто подбадривали его, но меня вдруг переключило – и я пробормотал себе под нос антисемитское ругательство. Его никто не услышал, кроме меня самого. И я тут же подумал: “Всё, я точно сошёл с ума”.

Такое поведение полностью противоречило моему воспитанию и моим убеждениям – всему тому, во что я верил. Я не мог этого произнести – и всё-таки произнёс. Мало того, что я проигрывал Гилберту, так ещё и это – настолько низко я ещё не падал.

Я окончательно расклеился и проиграл сет 1-6. Я ушёл с корта, со стадиона «Гарден» (*«Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке*) и поехал к себе в квартиру на Ист. 90 стрит, которую я тогда сдавал своему другу Ахмаду Рашаду. Я зашёл внутрь и сказал: “Всё, Ахмад, с меня хватит. Я бросаю играть. Я больше не могу”. Это был последний турнир, который я сыграл за шесть месяцев.

Первые несколько недель после итогового «Мастерса» мы с Татум провели в поездках по стране, где я участвовал в выставочных матчах, в которых обязался сыграть. Я не получал от них удовольствия, но платили прилично, и стоило им закончиться, я тут же о них забывал. А потом мы вернулись в наш дом на побережье в Малибу.

Какое-то время я просто расслаблялся, глядя на волны, любясь растущим животом Татум, шатаясь по вечеринкам. Больше всего я любил проводить время в частном клубе под названием «On The Rocks», которым владел мой друг Лу Адлер. Клуб располагался этажом выше ночного клуба «Roxy Theater» на Бульваре Сансет в Голливуде. Он насчитывал всего пятьдесят членов, и в нём я и правда мог позволить себе полностью расслабиться. Именно здесь Татум организовала единственную в моей жизни вечеринку-сюрприз в честь моего 27-летия. Все больше и больше времени я проводил, общаясь со сливками общества. Я вжился в роль, она мне даже понравилась. Я был звездой, они были звёздами. Я был среди равных.

В то же время я начал осознавать, что я уделяю маловато времени тренировкам. Я было почувствовал себя много лучше, но затем мне стало не хватать движения. Немного поиграв в теннис, я почувствовал, что та боль, которую я обычно испытывал при игре, снова возвращается. Всё это время я не мог отказать себе в том, чтобы посматривать TV и спортивные новости, чтобы быть в курсе того, что творится в туре. Кроме того, я по-прежнему был в курсе всех теннисных сплетен и разговоров: начали поговаривать, что с Макинроем покончено. Он, дескать, вот-вот уйдёт из тенниса. Всё это было странно. Мысли о том, что караван идёт без меня, были не то чтобы болезненными, но и не слишком приятными. “Может, мне стоит вернуться? А если вернуться, то когда?” – думал я.

Я знал, чтобы вернуться, мне нужно было что-то менять. До 30 лет – максимума для теннисиста. Оставалось не так уж много времени. Мне вспомнился «US Open» в минувшем сентябре, как в финале Лендл сумел продержаться дольше, чем я. До того момента я подшучивал над тренировками, но после мне было уже не до смеха. Может, мне нужно было больше тренироваться?

Однажды вечером я сидел на крыльце веранды со старым другом Тони Грэхемом, который в прошлом выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе и какое-то время провёл в туре. Крыльцо выходило прямо на побережье, стоял прекрасный вечер: такие закаты на Тихом океане до глубины души поражают своей красотой. Начинался прилив. На берег набегали высокие волны.

Чуть раньше мы с Тони немного потренировались, а теперь, предаваясь философским мыслям, просто сидели на крыльце, любуясь волнами и великолепием закатного неба. Я как раз рассказывал ему о том, что матч с Гилбертом на «Мастерсе» казался мне знаком Божьим, который призывал меня остановиться. Я начал размышлять о своём будущем вслух. Тони шутя, ответил: “Бог пошлёт тебе ещё один знак”.

И в то же мгновение к крыльцу набежала волна, оставив у наших ног теннисный мячик. Тони поднял его. Мы удивлённо переглянулись. “Вот это да, вот тебе и знак!” – сказал он.

Готов поклясться, что весь оставшийся вечер ни одна волна и близко не добралась до крыльца.

Я хотел вернуть себе первое место в классификации, поэтому я начал тренироваться. Я хотел окрепнуть физически, чтобы быть на равных с такими игроками как Каррен и Беккер – и первый раз в жизни я занялся поднятием тяжестей. Все эксперты в области спортивных тренировок утверждают, что нужно быть ещё и гибким – и я начал заниматься йогой. Кроме того, первый раз в жизни я взял тренера (правда, ненадолго), Пола Кохена, который написал мне замечательное мотивационное письмо, когда я решил отдохнуть от тенниса.

“Я стану играть лучше”, – думал я, прыгая через скакалку и поднимая штангу, – “Я стану играть лучше”. Я был в этом просто убеждён. Я думал о Лендле, который играл в туре – и бил все рекорды, и упорно тренировался, вкладывая в тренировки все свои силы. С того момента я отказался от мороженого «Хаген-Дас» и от всех сладостей и пива. С того момента я перешёл на питание рыбой, белым куриным мясом, овощами и фруктами. Я снова начал терять вес.

Пять месяцев кряду утром я занимался йогой, днём теннисом, а вечерами ездил на велотренажёре и тягал тяжести – и так изо дня в день. В конце дня с таким напряжённым графиком я чувствовал себя изнурённым. Я уговаривал себя: “Они вернуться. Они вернуться. Они должны вернуться”. В конце концов, я тренировался как боксёр: когда я смотрел боксёрские поединки, я смотрел на боксёров и думал: “Боже, сколько же у них сил”. Я думал, что рано или поздно это произойдёт и со мной – что со мной случится то же самое, что и с Джимом Керри, который играл Энди Кауфмана в «Человеке на луне» – “А вот и я!”. Я думал, что, в конце концов, у меня появятся силы, чтобы их тратить. Но этого так и не произошло.

Наверное, я перестарался. В теннисе большую роль играет психология: тебе должно нравиться то, чем занимаешься, иначе ты не в состоянии преодолеть боль. А мне это никогда не нравилось. Ленду нравилось, но я-то не Лендл.

Однажды в один из первых дней, которые мы с Татум провели в моем доме в Малибу, мы перекидывались фризби (*летающая тарелка*), когда к нам подошёл сосед: “Эй, там кто-то окопался и вас фотографирует”. Я посмотрел туда, куда он показывал, и, к своему удивлению, в 50 ярдах (46 м) я обнаружил мужчину в песочном углублении, который направлял на меня огромный объектив. Я-то думал, что это частная собственность, но когда я подошёл к фотографу, он тут же сообщил мне, что на побережье ниже границы прилива доступ

открыт всем и каждому, поэтому ничьих прав он не нарушал. Наверное, мне стоило просто плюнуть на всё это и зайти в дом, но мне это всё показалось неслыханной наглостью! Я разорался и стал бросать в него песок. Смешно, но что мне ещё оставалось? Я был вне себя от бешенства, но имея дело с фотографами, я всегда следовал правилу: “Не бей его”. Можно делать что угодно: плевать, бросать песком, ругать на чём свет стоит, главное – его не бить, иначе тебя засудят. Этот фотограф работал на какие-то британские газеты и, в конце концов, у меня с ним установились приятельские отношения, но попрошу заметить, никак не дружеские. До сих пор помню, как его зовут. Когда Татум забеременела, он сказал: “Слушай, у тебя есть два варианта: или облегчить себе жизнь, или наоборот. Ты всё равно от нас никуда не денешься. Так что если тебе хочется создать себе лишние проблемы, пожалуйста, но...”. Оказалось, что он получал 1500 долларов в неделю просто за то, чтобы следить за мной, независимо от результата. Я подумал: “Кто же я такой, чёрт возьми? Всего лишь какой-то теннисист. Что вообще здесь происходит?”. Выяснилось, что ему платили за то, чтобы он был первым, кто бы заснял Татум с новорождённым. Я спросил, сколько же ему заплатят, если он сделает снимки? “50 тысяч долларов”, – ответил он. Тогда я заключил с ним сделку. Я предложил ему: “Слушай, давай я разрешу тебе сделать фотографии, а ты мне отдашь 25 тысяч долларов. Иначе я сам опубликую фотографии бесплатно”. Всё вышло, как он и говорил. Он сделал пару снимков через несколько дней после рождения Кевина и ограждал нас от всех остальных папарацци. Половину из его гонорара я пожертвовал на благотворительность: по крайней мере, я был доволен, что ему не досталось всей суммы, и что из этой неловкой истории вышла хоть какая-то польза.

Кевин Джек Макинрой родился 23 мая 1986 года в больнице Сент-Джон в Санта Моника. Этот день, и вообще весь этот период, был самым счастливым в моей жизни. Ничто не сравнится с рождением первого ребёнка. Во-первых, наблюдать за его появлением на свет – само по себе чудо. Ты думаешь: “Боже, как же это происходит?”. Потом наступает облегчение, что ребёнок здоров. Ты испытываешь благодарность, тебе хочется плакать, ты чувствуешь себя на вершине блаженства. Я был очень доволен, что мой сын родился именно в тот период, когда я взял перерыв от тенниса. Я был твёрдо убеждён в том, что я поступил правильно, я был уверен в том, что это положительно скажется на моей карьере. “Мне нужно расслабиться”, – подумал я, – “И набраться сил”. Я знал, что мне нужен перерыв. Я знал, что когда, в конце концов, вернусь в спорт, то буду готов показать лучшие результаты. Став отцом, я стал более широко смотреть на вещи. Я верил в то, что можно быть и отцом, и первым номером. И ни капли не сомневался в том, что смогу этого добиться. Мне казалось, что это одна из тех задач, пусть и сложных, которые мне уже приходилось решать на протяжении жизни. Я справился с их решением, чем же сложнее эта? В то же время рождение Кевина усложнило мою жизнь. Внезапно теннис перестал быть для меня всем в жизни. Временами мне даже казалось, что это всего лишь игра. Я стоял у окна в своём доме в Малибу и размышлял: “Как здорово! Пляж в Малибу. Заходящее солнце. Эти невероятные краски”. Профессия и жизнь вдруг перестали быть единым целым. Я пытался обхитрить себя. Я говорил себе: “Это как игра в одиночном и парном разряде. Как Кубок Дэвиса и «Уимблдон». Это не одно и то же”. Моя карьера была необыкновенно яркой, но разве можно было её сравнить с яркостью самой жизни? В тот самый момент – я тогда и сам не осознал произошедшего – та страсть, с которой я отдавал себя теннису, перешла в другое русло.

В 1986 году, когда я впервые за девять лет не поехал на «Уимблдон», помнится, мне пришла в голову мысль, что теперь теннисная



жизнь просто замрёт. Я практически убедил себя, что теннисный мир без меня просто рухнет.

Я считал это делом принципа: “Я не собираюсь мириться со всем этим безумием и не вернусь пока ситуация не изменится”. Я имел в виду папарацци, жёлтую прессу – то, как они все на меня накнулись. Ясное дело, частично я и сам был в этом виноват, тем не менее, мне казалось, что всё это совсем вышло из-под контроля.

В течение того года и последующего, в котором я пропустил «Уимблдон», до меня постепенно начинало доходить, что теннисный мир не только не прекратил своё существование, а напротив: в 86 «Уимблдон» повторно выиграл Беккер, а в 87 выиграл Пэт Кэш, а это значило, что игра переживала радикальные изменения – на корте воцарился силовой стиль. Внезапно я осознал: “Вот чёрт, они же играют «Уимблдон»”, а я, значит, сижу протираю штаны, так никому ничего и не доказав. У меня возникло чувство, что эти два года прошли впустую, но потом я понял, что было ошибкой даже думать об этом.

В конце июня 86 года – ещё шёл проходивший без меня «Уимблдон» – я сидел дома в Малибу, и вдруг раздался стук в дверь. Мужчина на пороге представился: “Я из газеты «News of the World»” – эта была одна из тех британских газет, которые всегда донимали меня во время «Уимблдона».

“Только не это! Это же мой дом! Да как они смели постучать в дверь моего дома!” – подумал я. У меня руки чесались дать ему в глаз, но мне хватило ума посмотреть через дорогу, ведь там как пить дать располагался фотограф, чтобы заснять, как я даю в глаз его коллеге-газетчику. И конечно, я не ошибся. Поэтому я обратился к репортёру: “Не будете ли Вы так любезны зайти внутрь, я бы хотел у Вас кое-что спросить...”. Он попятился назад. “Заходите же”, – повторил я. Он побежал прямо через калифорнийское шоссе.

Когда я, наконец, признался матери, что Татум беременна, первым же делом она спросила: “Вы же поженитесь?”. “Да, конечно”, – ответил я, хотя, сказать честно, меньше всего я сейчас думал о женитьбе. Нет, я в принципе был не против создать семью, но в тот период я сомневался в том, что формальности так уж много для меня значат.

Однако вскоре я понял, что у Татум на этот счёт как раз сомнений не было, поэтому не успел я и оглянуться, как пообещал матери, что мы повенчаемся по католическому обряду. Татум и в самом деле уже какое-то время пыталась перейти в католичество. Она занималась со священником, но, всё же её энтузиазм иссяк.

Мы обвенчались первого августа 1986 года в римско-католической церкви Св. Доминика, возле моего дома в Ойстер Бэй.

Перед церковью мы поставили шатёр, чтобы гости могли спокойно зайти внутрь. Я не собирался облегчать жизнь папарацци. Когда мы вышли из церкви, некоторые репортёры и фотографы заорали: “Улыбочку. Ну же, всего парочку снимков. Вы же счастливы? Ну что вам стоит?”. Между тем мне было не до улыбок. Был ли я счастлив или нет – не имело к этому всему никакого отношения. Может, это было и неправильно. До сих пор не знаю.

Нам всё-таки пришлось попозировать возле церкви. Я жалею, что согласился. У меня было



чувство, что меня вынуждают доказывать собственное счастье – какой же это, если подумать, идиотизм. Это были ужасные минуты. Потом фотографы захотели сфотографировать нас со всеми гостями и местными зеваками. И опять же я чувствовал себя ужасно неловко. Даже не знаю почему. Почему я чувствовал себя так скованно в такой радостный день? Однако тот день был для меня чем-то особенно сокровенным, а в церкви было кошмарно жарко, все эти толпящиеся снаружи журналисты, кружащие над головой вертолёт – я просто не мог расслабиться. Я был даже не против (до чего дошёл мой цинизм), чтобы мой “так называемый приятель” сам поговорил бы с прессой и сам сделал фотографии. Все это журналистское преследование жило своей жизнью – и не дало мне полностью насладиться свадьбой. В конце концов, сфотографироваться – по большому счёту это же такая мелочь. Думаю, если ты достиг той стадии, когда для тебя это не имеет значения, это действительно мелочь. Но я пока до него не дошёл. В том-то и беда. Для меня это всегда имело значение.

Нет, я не был готов закончить карьеру. Да, я мог себе это позволить. Но я просто хотел взять перерыв до того момента, когда я вновь бы начал ощущать радость от того, что я профессиональный теннисист. Профессиональный теннис – это прекрасное занятие, но оно стало приносить мне все меньше удовольствия, несмотря на то, что я по-прежнему зарабатывал большие деньги.

Первоначально я планировал возвращение тогда, когда я был бы к нему готов, но потом я начал волноваться из-за своих контрактов: «Nike» хотел, чтобы я играл восемь турниров в год, а «Dunlop» – как минимум шесть. Неужели я потеряю контракты и мне перестанут платить? А что же будет с рейтингом? Мне стоило переждать этот год, но я не выдержал. Я заставил себя вернуться из-за денег и из-за гордости. Это была классическая ошибка, которую совершают многие. Вместо того, чтобы подумать: не теряй уверенности. Возьми ещё год перерыва, а потом начнёшь все сначала – и будешь играть ещё лучше, чем раньше (да и ожидания были бы куда меньше), я запаниковал: как же, у меня падает рейтинг. И я вернулся тогда, когда был абсолютно к этому не готов – ни с психологически, ни с игровой точки зрения. Я решил участвовать в открытом турнире «Volvo», который проводился в Вермонте (*штат на северо-востоке США*), в городе Стрэттон-Маунтин в начале августа. Когда я сказал об этом родителям, я тут же понял, с каким облегчением они восприняли эту новость. Кажется, они и правда думали, что я брошу теннис. Мать сказала мне: “Теперь ты сможешь позволить себе купить памперсы для Кевина”. Я рассердился. “Мама, а сколько тебе денег хватит? Нет, ты скажи, сколько денег мне нужно заработать, чтобы ты перестала мне говорить такие вещи? Я хочу знать точную сумму. Пять миллионов? Десять? А может, пятнадцать? Или двадцать? Скажи мне сумму, чтобы, когда я заработаю столько денег, ты уволишь меня от разговоров на эту тему”. Здесь я должен сказать, что хоть мне и было сложно с Татум, я тоже был не подарок. Вместо того, чтобы отправиться в свадебное путешествие (Бог свидетель, без этого молодожёнам не обойтись), мы поехали на теннисный турнир. В пятницу мы поженились, а уже в следующий понедельник мы направились в Стрэттон-Маунтин. Я словно говорил ей: “Ну-ка, ну-ка, давай побыстрее поженимся, потому что я тебя люблю и хочу, чтоб ты знала, что я твой навеки и всё такое, но теперь мне нужно играть в теннис”.

Я думал, что мы остановимся в этом приятном городке, где я смогу вернуться в мир тенниса. Вермонт – такое чудесное место, мне так нравилось играть на этом турнире. Однако когда мы добрались, оказалось, что в лесу прятались папарацци, которые рвались запечатлеть первые фотографии молодожёнов. Вся ситуация была настолько безумной, настолько дискомфортной, что я чувствовал себя совершенно разбитым. Начнем с того, что положение моё было довольно шаткое: я был перетренирован, перенапряжен и одновременно слишком худой.

Находясь там, я дал несколько интервью, которые, как я сейчас понимаю, мне давать не стоило. Я очень старался быть честным – я всегда старался быть честным, но получилось, что я слишком откровенно высказался о том, как я был на тот момент растерян. Мне

казалось, что журналисты воспользовались моим состоянием, чтобы “состряпать” свои собственные версии того, что со мной происходит, не гнушаясь даже ложью. Именно тогда начали курсировать слухи, что раз я такой худой, значит, я принимаю наркотики. После того, как я расправился с юным Андре Агасси (ему было 16) в четвертьфинале, в полуфинале – какая ирония судьбы – я встретился с Беккером, на которого я наезжал во время смены сторон, ругая его, на чём свет стоит.

С высоты сегодняшнего дня, могу сказать, что я злился, скорее, не на него, а на весь свет – и что я зря выбрал адресатом своего гнева именно его, хотя матч от этого только выиграл. Я даже не помню точно, что я ему говорил – я вытеснил это из памяти. Вряд ли я блистал оригинальностью. “Ты не знаешь, с кем ты имеешь дело” или там “Да я из тебя котлету сделаю” (этого обещания я, кстати, не выполнил) Поверьте мне: я виноват во многих перепалках, но я не так уж часто был замешан в перебранках с соперниками. Даже жаль. А так время от времени соперник говорил мне: “Слушай, может, хватит орать на судью?” А я отвечал: “Да пошёл ты. Не суй нос не в свои дела”. Вот это и всё. Здесь же всё было куда серьезнее. Все мои нервы и злость обернулись против меня. Мы доиграли до тай-брейка в третьем сете, я вёл 6-3 и должен был подавать – 2 мяча. На первой подаче я сделал двойную ошибку. А на следующей я подошёл к сетке и красиво уложил мяч с лёта прямо в заднюю линию. Борис только номинально отбил его, и я уже был готов отбросить мяч, когда я услышал, что судья на линии выкрикнул: “Аут”. Я совершенно расклеился и проиграл матч. Мяч попал, точно попал – я был в этом уверен. Они украли у меня матч-бол. Я точно знал. “Они хотят поймать меня. Они хотят поиметь меня”, – вот какие мысли крутились у меня в голове. Они все против меня. Я был в неравной схватке со всем миром. Моё параноидальное “Я”, та часть моей личности, которая считала, что все – судьи на линии, судьи на вышке, соперники, репортёры, папарацци – все имели на меня зуб, теперь убеждалась в своей правоте.

Когда ты слишком часто говорил людям “отвали”, они, вряд ли потом захотят свернуть со своего пути, чтобы тебе помочь. Может, я когда-то и был неправ, когда протестовал против решений судей, уверен, что в результате той чудесной репутации, которую я себе заработал, многие судьи на вышке и на линии при возможности были не прочь посмотреть сквозь пальцы на то, что творится на корте или пропустить аут – конечно, не в мою пользу. Не было ни малейших сомнений в том, что мой мяч попал точно в линию. Однако он всего лишь задел линию, поэтому судья на линии вполне мог убедить себя, что мяч ушёл в аут. Если у тебя паранойя, это не значит, что у тебя нет врагов.

В следующем месяце всё покатило под откос. Я поехал на «Canadian Open» (канадский «Мастерс», сейчас Кубок Роджера) и проиграл Роберту Сегузо в третьем круге.

В конце августа, как раз перед началом «US Open», я физически дошёл до точки. Я буквально ощущал себя не в состоянии сыграть пятисетовик. Что-то было не так с обменом веществ. Я был слишком худой, выносливость была на нуле.

И это дало о себе знать в первом же круге турнира (я был посеян 9), в котором я проиграл Полу Аннакону. Впоследствии он станет постоянным тренером Пита Сампраса. В довершение всего, мы с Питером Флемингом застряли в пробке и нас дисквалифицировали с парных соревнований за опоздание на каких-то пару минут. Это было последним кошмарным доводом в пользу моей теории, что все были против меня. Все они хотели поиметь меня, начиная с самого первого турнира – в Страттон-Маунтине. У меня было чувство, что они противятся моему возвращению в тур. Тогда я сказал: “Ну, что ж, я вылетел из турнира – и чёрт с ним. Теперь я буду питаться чизбургерами с пивом!”. На этой новой диете я прытко выиграл три турнира подряд: в Лос-Анжелесе, Сан-Франциско и в городе Скотсдейле, в Аризоне. Но так продолжалось недолго – я испытывал огромное давление. Сначала в феврале 1986 я был вторым номером, а потом из-за турниров, которые я пропустил за полугодичное отсутствие, я опустился на 10 место. Кроме того, после

возвращения мне нужно было защищать огромное количество очков. В конце концов, в 1985 я выиграл и Страттон-Маунтин, и «Canadian Open», и вошёл в финал «US Open». А в 1986 году я прошёл в полуфинал в Страттон-Маунтин, третий круг в Канаде и первый круг в США. После чего, я опустился на 20-ю строчку мировой классификации.

Победа в трёх турнирах – неплохое начало, но если я хотел добиться своей ближайшей цели – квалифицироваться на итоговый «Мастерс», меня ожидал очень напряжённый турнирный график. Проблема же заключалась в том, что напряжённый график означал, что мне придётся много ездить. Татум с ребёнком ездили вместе со мной, и никто из нас не был в восторге от такой жизни. Мы отправились в Париж. Я должен был участвовать в турнире, который проводился на закрытом корте и проиграл в четвертьфинале квалификанту Серхио Касалю. Оттуда – в Лондон, где мне нужно было хорошо отыграть, но там я проиграл в первом же круге в матче с Патом Кэшем, который через шесть месяцев стал победителем «Уимблдона» (“У тебя не подача, а дерьмо”, – сказал он мне, когда он пожал мне руку у сетки. Потом выяснилось, что это он так шутил).

Мы вернулись в Нью-Йорк. Если бы я выиграл Открытый турнир Хьюстона, проводившийся в ноябре, у меня был шанс попасть на итоговый «Мастерс». Однако у нас с Татум был тяжёлый период. Когда я заикнулся ещё об одном турнире, она посмотрела мне в глаза и сказала, что если я собираюсь в Хьюстон, мне придётся ехать одному. Я снялся с турнира, и мы вернулись в Малибу. В этом году я сыграл всего в восьми турнирах. Если бы АТР разделила все очки, которые я набрал в 1986 году на количество турниров, в которых я играл (что логично), в их компьютере я был бы шестым номером. Но на тот момент формула, по которой они производили расчёты, требовала участия в 12 турнирах как минимум, поэтому-то я и стал 14-м в мире. И на итоговый не попал... Я был ужасно зол на жизнь.

На Рождество мы всё-таки устроили себе медовый месяц и отправились на Гавайи. Наконец-то у меня появилось время оставить в стороне весь тот бред, который происходил с августа по ноябрь. Я словно сделал глубокий вдох и сказал себе: “Ладно, давай начнём новый год с новыми силами и уж тогда зададим жару”. Мы остановились в Оаху в доме одного японца, с которым я познакомился за игрой в гольф. 1-го января мы проснулись прекрасным гавайским утром: синий бархат неба и свежее дыхание ветра. И тут Татум повернулась ко мне и сказала: “Я беременна”. “И 1987 туда же, что и предыдущий год!” – мрачно сказал я.

Глава 11

Между нами выросла стена. Дело было не только в бестактности моего ответа. Мы оба знали, что за ним стояло: сезон 1986 года прошёл для меня впустую, и я не мог позволить себе потерять ещё один.

Мы не собирались сразу же заводить ещё одного ребёнка, но и не особо старались предохраняться. Мы были ещё детьми – в чём-то взрослее своих лет, в чём-то совсем неопытные. Татум совсем недавно, в ноябре, исполнилось 23 года, а мне было 27. Кевин появился только после полугода наших усилий, поэтому у нас в головах прочно засело убеждение, что завести ребёнка для нас очень, очень непросто.

Что ж, в этот раз всё оказалось слишком просто.

Я серьёзно размышлял, стоит ли нам сохранять беременность. Татум хотела узнать моё мнение на этот счёт, и я сказал:

– Разве мы готовы к этому?

Татум возмутил этот вопрос, она не нашлась сразу, что ответить. Повисло долгое молчание, которое взорвалось бурной ссорой.

Все пары ругаются – от этого никуда не деться – но наши ссоры были отвратительны и разгорались мгновенно. Мы оба были с характером, а Татум отнюдь не была девочкой-фиалкой. Она росла сорванцом и умела постоять за себя: её отец был несостоявшийся боксёр, брат быстро пускал в ход кулаки. Когда наши размолвки стали чаще, я заметил, что как только я повышал голос, она отшатывалась, будто ожидая удара, хотя я никогда не бил её.

Думаю, Татум мерила всех мужчин по своему отцу, и это ставило меня в дурацкое положение. Сначала она видела во мне улучшенную версию Райана, но когда между нами начались ссоры, сравнение стало уже не в мою пользу. Она утверждала, что я нападаю на неё, но сама, надо признать, никогда не оставалась в долгу.

Мне всё больше и больше казалось, что ничего хорошего в этой беременности нет. Когда Татум ждала Кевина, я три последние месяца вообще не играл, и тогда нам это очень помогло, но я не мог бросить играть сейчас, когда с таким трудом возвращался в тур. Из-за нагрузок у меня начались проблемы со спиной, а порой я не мог элементарно сконцентрироваться.

В начале февраля случилась несчастье: у Татум началось кровотечение. Наш доктор сказал, что в 20% случаев такое кровотечение приводит к выкидышу, и я попытался внутренне к этому подготовиться. Буквально накануне я сомневался – нужен ли нам ещё один ребёнок, но во время визита к врачу я неожиданно для себя расплакался. Я понял, как я хочу этого ребёнка и как боюсь его потерять. К моему огромному облегчению, все оказалось в порядке.

Но моё отношение к карьере не изменилось – это лишь означало, что мне не так весело будет разъезжать по турнирам. Именно в это время я снова решил нанять тренера. На меня слишком много всего навалилось, и я нуждался в поддержке. Моей первой мыслью было обратиться к тренеру Борга, Леннарту Бергелину, и я до сих пор жалею, что не сделал этого – он бы обо мне заботился, как раз это мне было тогда нужно. Тем не менее, мне было неудобно его приглашать, потому что я все ещё не был стопроцентно уверен, что Борг ушёл окончательно. Кроме того, Борг с Леннартом были неразлучны все эти годы, и я с трудом представлял себя на месте Бьорна.

Лучше бы я обсудил всё с Боргом. Поменять тренера – обычное дело, в этом нет ничего такого уж странного. Но тогда я не мог трезво взглянуть на многие вещи. Возможно, я просто не хотел слишком много работать.

А возможно, в душе я знал, что магия, которая вела меня к вершинам, безвозвратно покинула меня.

Я пригласил Тони Палафокса.

Без сомнения, Тони был настоящим пробным камнем: наставник, друг, источник спокойствия, именно он (не считая Гарри Хопмана) сформировал меня как игрока. Его невозмутимый характер идеально мне подходил: когда я, ещё подростком, бесновался на корте, Тони просто стоял, помахивая ракеткой, и ждал, когда я кончу ругаться, и мы вернёмся к тренировке. Именно такое спокойствие мне в тот момент и было нужно.

Тони согласился стать моим личным тренером, но как только мы начали работать, я увидел, что дело не ладится. Он был словно рыба, вытасченная из воды – он предпочитал обычные упражнения на технику и был настолько робок, что не мог даже позвонить и назначить тренировку.

В мае Тони был со мной на Кубке Наций (*прим.ред. – Сейчас этот турнир называется Командный Чемпионат Мира*) в Дюссельдорфе. Я играл с Мирославом Мечиром и был на пределе – нервный и злой: публика освистывала меня и поддерживала Мечира. Я все думал: “Что не так с этими людьми? В прошлый раз, когда я здесь играл, они болели не за меня, а за Лендла, а теперь за этого чёртового Мечира!”. Это выводило меня из себя.

Мечир был мистер "Плавность" – он бегал, как олень и потрясающе владел своим телом. Мы выиграли по сету, в третьем я отставал с брейком, много кричал и возмущался, и, наконец, судья объявил:

– Штрафное очко, мистер Макинрой; гейм Мечира.

– Ну, всё, – пробормотал я и сказал судье:

– У меня болит плечо.

Подошёл Тони и спросил, что случилось.

– С меня хватит – ответил я, ушёл с корта и сам себя удалил с матча.

Я заявил:

– Не буду больше играть. К чёрту эту публику. Кончено.

Тони уехал домой.

Но я продолжал играть. Чем ещё я мог заниматься? Часто, когда ты на пределе, оказывается, что до конца ещё далеко.

Я продолжал искать помощи: после Тони меня какое-то время фактически тренировал Питер Флеминг, потом я опять работал с Полом Коэном, но интенсивность его тренировок была чересчур даже для меня. Однако ни я, ни мои помощники не могли добиться хоть какого-то успеха. К сожалению, я действовал вопреки своим инстинктам. Я качался, нанимал тренеров, пытался изменить свою игру – и все больше изменял самому себе. И я поплатился.

Со мной случилось то же самое, что в той или иной степени случается со всеми, кто был на вершине. Как только ты теряешь это место, начинается неконтролируемый спуск по спирали, и повернуть назад очень трудно. Это не быстрый, а постепенный процесс, и спускаясь, ты все время твердишь себе, что скоро все изменится. Но мало-помалу число неудач начинает превышать число успехов, и радость от занятия любимым делом уступает место боли.

Возможно, если бы я взял перерыв на весь 1986 год, моя жизнь была бы другой. А может быть, и нет.

Но кое-что имело для меня прежнее значение – это были деньги. Деньги значительно усложняют жизнь.

Возможно, Борг поступил верно – сразу сжёг за собой все мосты и заставил болельщиков скучать по себе. Я выбрал другой путь. Последние пять-шесть лет карьеры я был заурядным теннисистом мирового класса. Я не мог отказаться от таких денег. Чем бы ещё, чёрт возьми, я мог заняться? Быть восьмым, или девятым, или десятым номером в мире всё же лучше, чем где-нибудь протирать штаны.

В первом раунде «Ролан Гаррос» я проиграл двадцатилетнему аргентинцу Горацио де ла Пена.

Только две недели назад я легко расправился с ним в Риме. Это была ещё одна "последняя капля".

"К чёрту всё. Не буду играть «Уимблдон». Не могу", – сказал я.

Отчасти, я был даже рад этому своему решению. Дома у меня был один ребёнок, и ждал появления на свет другой. Я был нужен Татум. Конечно, мне пришлось найти причину снятия. Меня беспокоила спина, болело плечо, я чувствовал дискомфорт в бедре – обычное дело для теннисиста моих лет. Разумеется, я вполне мог бы играть с этими травмами.

Мне хотелось, чтобы мир догадался об истинных мотивах моего поступка, о том, что на самом деле я хотел увидеть своего маленького сына и беременную жену – чтобы люди поняли мои мысли и чувства. Мне хотелось показать всем, что в жизни есть вещи

поважнее Уимблдонского титула. Сам я ошупью подходил к этой мысли – сможет ли остальной теннисный мир понять её вместе со мной?

И конечно, я услышал в ответ:

– Макинрой опять выкинул номер.

В 1985 и 1986 годах, когда вступил в силу «Кодекс поведения», я решил не участвовать в Кубке Дэвиса. За это время Артура в должности капитана команды сменил Том Горман.

Том сам был довольно хороший игрок, хотя никогда не “выстреливал”, и, по моим ощущениям, он был весьма лоялен по отношению к Теннисной ассоциации Соединённых Штатов. Он определённо не стал бы раскачивать лодку и смотреть сквозь пальцы на Кодекс, а так как Кодекс не в последнюю очередь приняли из-за меня, я не ожидал от Тома телефонного звонка.

Однако, когда в 1986 году США в третий раз упустили Кубок, Теннисная ассоциация начала укреплять свои ряды. В начале 1987 года Горман позвонил мне и спросил, не могу ли я сыграть матч во встрече первого круга против Парагвая.

– Парагвая! – воскликнул я. – Я вам в Парагвае не нужен – вы легко выиграете вторым составом. Кстати, как там насчёт «Кодекса»?

– А что, если это не проблема? – спросил Горман – Ты будешь тогда играть?

– Не в этот раз, Том. Я вам не нужен.

Что ж, мы проиграли Парагваю. Туда поехали Аарон Крикштайн и Джимми Ариас.

Ариас вёл 5-1 в пятом сете пятого, решающего, матча и проиграл его некоему Уго Чапаку – примерно пятисотому номеру рейтинга! Я это хорошо запомнил – в это время я играл выставочный турнир в Лиссабоне, и кто-то сказал мне:

– Америка проиграла Парагваю 2:3.

– Ты шутишь! – изумился я.

Неожиданно перед нами встала угроза вылета из группы. Теперь мы должны были играть стыковой матч с Германией. По правилам Кубка Дэвиса, в случае проигрыша стыкового матча вы выбываете из группы шестнадцати лучших стран и на следующий год играете во второстепенных зональных соревнованиях. Вы должны с боем прорываться назад. А Германия была очень сильным противником – Беккер два последних года выигрывал «Уимблдон».

“Ну что же, надо знать меру”, – подумал я, – “Я возвращаюсь в команду”. Я скучал по Кубку Дэвиса – это был последний оставшийся мне островок командного спорта. Я позвонил Горману и сказал:

– Ладно, я буду играть.

– Я тебе перезвоню, – ответил он.

Что-то здесь было не так. Перезвонив, Горман сказал:

– Слушай, я беру тебя в команду, только ты должен за неделю до матча сыграть турнир в Саус Орэндж (*штат Нью-Джерси*).

Он говорил о турнире Джина Скотта в Саус Орэндж – о моём самом первом турнире в АТР туре: я играл его одиннадцать лет назад и набрал там свои первые очки. Милый турнир, но уж точно не моего уровня. И что это, в конце концов, за проверка?

– О чём ты говоришь? Что это должно доказать? – спросил я.

– Прости, я не могу тебя взять, если ты там не сыграешь, потому что я хочу, чтобы у тебя была пара разогревочных матчей, – объяснил Горман.

Я сосчитал до десяти:

– Том, я выиграл четыре Кубка Дэвиса и несколько мэйджоров. Как ты думаешь, я знаю, как мне лучше всего готовиться к матчам?

– Я тебе перезвоню, – ответил он.

Наконец Горман позвонил мне с предложением компромисса: Пол Анакон, Тим Майотт и я сыграем друг с другом, и два победителя будут в команде. Я проглотил свою гордость – она чуть не застряла у меня в глотке – и сказал: “Да”. Я хотел обратно в Кубок Дэвиса. В команду вошли я и Майотт.

И мы проиграли Германии со счётом 2-3.

Предполагаемый срок родов Татум пришёлся как раз на четвертьфиналы «US Open», и я был на взводе больше, чем когда-либо ещё в этом году – если такое вообще возможно.

Отказаться играть турнир я не мог. После пропуска «Уимблдона» я не мог позволить себе сняться.

Чёрт возьми, я оказался между двух огней! Играть или не играть? Я выбрал “играть”, и вся эта адская смесь вырвалась на корт во время матча третьего круга со Слободаном (Бобо) Живойновичем – моим “злым гением” по «Australian Open-1985». Я выиграл первый сет и подавал во втором при счёте 5-3. Не раз, а даже два раза удары Живойновича ложились за задней линией – я видел оба аута своими собственными глазами – но лайнсмэны молчали, что стоило мне гейма.

Мои отношения с официальными лицами турнира обострялись с каждым годом, начиная с 1977-го, но с тех пор, как я возвратился после перерыва, они резко ухудшились. Я признавал, что мои проблемы с судьями больше касаются меня, а не их. Не лайнсмэны были проблемой, проблемой был я сам.

Они ошибались очень часто, но я и раньше это знал. Теперь же я решил, что раз они не в состоянии принимать правильные решения, значит они пытаются навредить мне, и, следовательно, они мои враги. Я не думал: “Это просто люди, делающие ошибки”. Я думал: “Они вредят моей карьере, значит, каждый из них – мой противник, точно такой же, как игрок на той стороне корта”.

На Кубке Дэвиса Артур Эш всегда говорил мне:

– Слушай, все ошибки линейных судей, в конце концов, уравниваются.

Это была его теория: в конце года у тебя набирается сотня неверных решений против тебя, но одновременно и сотня неверных решений в твою пользу.

Мягко говоря, я был не согласен. Для меня был болезненным сам момент ошибки – практически всегда он был ключевым. Если линейный или вышечник делали ошибку, когда я уверенно вёл в счёте, это не имело значения (правда, никакое преимущество не казалось мне “уверенным”). Но бывали и действительно решающие моменты, например, брейк-пойнты (*прим.ред.– Ситуация, при которой принимающий подачу игрок, в случае выигрыша следующего розыгрыша мяча, выигрывает и гейм*) на моей подаче в тяжёлом сете.



Во втором сете матча с Живойновичем были как раз такие моменты. После второго удара за заднюю линию, который не заметил лайнсмэн, я закричал что-то непристойное, и судья на вышке сделал мне замечание. Живойнович сделал брейк, мы пошли меняться сторонами и я сообщил судье, в своих обычных выражениях, что я думаю о судействе в матче.

Штрафное очко. Живойнович подал три пушечные подачи (всё, что ему было нужно) и сделал счёт 5-5.

Я всё ещё кипел, и когда закончил свой гейм двойной ошибкой (теперь я отставал в сете 5-6), то проходя мимо судьи, высказал ему всё ещё раз. Но окончательно меня взбесил микрофон, который оператор «CBS» (*прим.ред.*– *Со временем Макинрой стал работать комментатором в «CBS»*) протянул к судейской вышке во время моей речи. И я задал жару этому оператору, а заодно и всей Америке – ёмко и кратко, как раз для телерепортажа.

Я выставлял себя полной “задницей” множество раз, но сейчас умудрился упасть ещё ниже – за полторы минуты перехода я выругался около шести раз, и каждое ругательство тянуло на полновесный штраф. Я говорю “около”, потому что, честное слово, я ни разу не смотрел запись, а тогда не считал.

– Штрафной гейм мистеру Макинрою. Гейм и второй сет Живойновича, счёт 7-5, – объявил судья.

Я остановился и задумался на мгновение. Я уже прошёл три этапа: предупреждение, штрафное очко и штрафной гейм. Следующим было удаление. Я вспоминаю этого судью – Ричарда Ингса, молодого человека двадцати двух лет с австралийским акцентом – со смешанными чувствами. С одной стороны, он был столь любезен, что объединил все мои оскорбления в одно, хотя мог бы удалить меня уже после второго ругательства. Уверен, он хотел сгладить ситуацию так, как это только возможно.

С другой стороны, он действовал так же, как большинство судей, которые судили меня – мягко. Ещё раз скажу, гораздо лучше было бы, если бы меня удалили в первый же раз, когда я слетел с катушек. Вероятно, потом это случилось бы гораздо реже, если бы вообще случилось. Но дело в том, что организаторы не хотели терять выручку от продажи билетов, в их задачи не входило воздавать мне по заслугам. К тому же, если я набирал слишком много штрафов, я пропускал следующий турнир, и это вредило именно турниру, а не мне.

В следующем сете я успокоился (одна из моих сильных сторон – умение собраться почти мгновенно), но проиграл тай-брейк. Потом Живойнович стал реже подавать первым мячом, и я выиграл два последних сета и матч. Но от победы всё равно остался неприятный осадок.

После этого я стал сдержаннее (удивительно, как мне это удалось, ведь Татум могла родить каждую минуту), но оказался побеждён уже не собственным темпераментом, а безжалостным временем. В четвертьфинале я играл с Лендлом, и “Иван Грозный” (*прим.ред.*– *Прозвище Лендла*) третировал меня крученными свечами – это было просто показательное выступление, я никогда не видел ничего подобного. Над моей головой пролетело не меньше пятнадцати мячей.

Лендл был мастером поединка: чуть только я начинал нервничать, он сразу это замечал.

Кроме того, когда стало темнеть, я впервые в жизни обнаружил, что плохо вижу мяч. Может, моё зрение испортилось? Может, это все объясняет? А может, Иван просто лучше?

После проигрыша я был вынужден признать, что стал жертвой Лендла из-за того, что плохо двигался. Меня опять беспокоила спина – у меня были боли в крестце. Иногда я с трудом доходил до корта. Я знал, что во многом это психологическая проблема, но что бы это ни было, боль была ужасной. Неожиданно я стал проигрывать в зале на ковре таким игрокам, как Виландер и Мечир. Другое дело на грунте –

там они имели передо мной преимущество – но на других покрытиях, даже на медленных, я должен был выигрывать, я это точно знал.

Я упорствовал в мысли: “Это невозможно. Я никак не могу им уступить”. Но это всё равно происходило.

Когда тело начало меня подводить, труднее всего было признать, что я уже не могу закрывать сетку так, как раньше. Неожиданно по теннисному миру поползли слухи: “Он уже не тот”.

Это было трудно принять, потому что в лучшие годы я был быстрее, чем можно себе представить. Борг бегал, как великолепный спринтер, Витас передвигался по-другому, мелкими шажками, но тоже очень быстро, а Йохан Крик был одним из самых быстрых людей, ступавших на теннисный корт. Можно назвать и других. Но я всегда чувствовал, что я из числа самых быстрых игроков, невероятно быстрых.

Теперь это было уже не так.

Так как я немного потерял скорость продвижения к сетке (и от сетки), то я все больше и больше должен был полагаться на свою технику. Это работало довольно хорошо, пока в игру не вступили сильно бьющие игроки. Первым был Беккер, потом появились Агасси и Самpras. Мне нелегко было обрабатывать их тяжёлые плоские удары с задней линии или принимать сильные подачи.

Когда я играл с Самprasом в полуфинале «US Open» в 1990 году, я был убеждён, что мне не нужно быть особо агрессивным, что я могу позволить себе оставаться на задней линии. Я думал, мои удары с задней линии достаточно надёжны для завершения розыгрышей. Сейчас это дико звучит, но тогда я полагал, что я просто подожду подходящего момента. Вместо того, чтобы входить в корт и чувствовать себя там неуверенно из-за моих проблем со скоростью, я планировал сделать один-два лишних удара, если это будет нужно.

Я думал, что у меня отличный шанс победить, что я смогу завершить свою карьеру пятым кубком. Как я ошибался! Но кто же знал? Питу было всего девятнадцать, как раз тогда ему предстояло впервые победить на мэйджоре. Он победил Лендла в четвертьфинале и Агасси в финале.

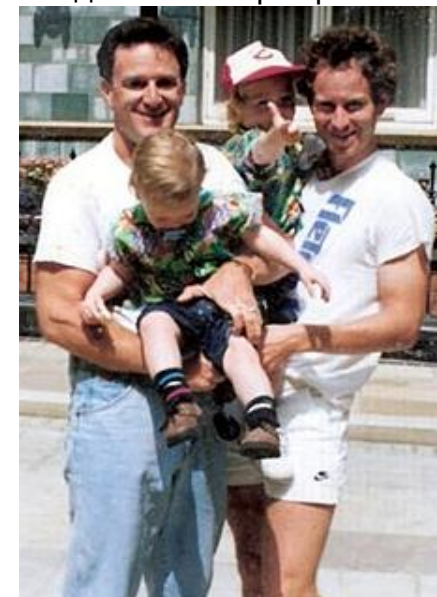
Думаю, мне не стоит себя упрекать – Пит оказался великим чемпионом. Но в тот момент я был очень разочарован своей слабой игрой и плохой подготовкой к матчу. Я не понимал тогда: если будущее приходит на смену прошлому, никакая подготовка не поможет.

После «US Open-1987» меня оштрафовали на 7500 долларов за мою речь во время матча с Живойновичем (плюс 350 долларов за испорченный ранее на турнире мяч). Так как в этом году я уже был оштрафован на 18000 долларов, это привело к отстранению от участия в турнирах на два месяца. Сумма моих штрафов за всю карьеру составила 80500 долларов, и почти половина – 38500 долларов – приходится на этот ужасный 1987 год.

Если посмотреть с другой стороны, год был прекрасный – 23 сентября родился Шон Тимоти Макинрой. И с этой точки зрения двухмесячная дисквалификация была желанным отпуском по уходу за ребёнком.

Это был короткий период спокойствия в нашей всё более бурной жизни. Теперь в доме было двое малышей – один младенец, другой только-только начинал ходить *(на фото Макинрой с сыновьями и тренером Полом Козном)*.

Хотя у нас были няни и другие помощники по дому, мы буквально сбивались с ног. Я пытался



реанимировать свою теннисную карьеру, Татум в свои 24 года только-только становилась по-настоящему взрослой, она пыталась понять, кто она такая и что же такое быть матерью.

У неё не было прочного фундамента для правильного восприятия материнства. У её матери были такие проблемы с алкоголем и наркотиками, что маленькая Татум её почти не видела. В это время основное бремя забот о детях нёс Райан (*отец Татум*), насколько ему позволяла карьера успешного актёра.

Но, по словам Татум, когда она стала подростком, Райан перестал интересоваться детьми, особенно после того, как начал встречаться с Фэрра Фосетт.

Та была абсолютно равнодушна к Татум и Гриффину и не желала быть им ни мачехой, хотя бы формально, ни кем-либо ещё. Когда Райан переехал к Фэрра, рассказывала Татум, они с братом частенько жили одни в доме своего отца на побережье в Малибу (*прим.ред.— По решению суда Татум осталась с отцом, а Гриффин — с матерью*).

И теперь она опять оказалась одна – почти все время – с двумя маленькими детьми и снова в Малибу.

У Татум было очень неоднозначное отношение к своей работе, а точнее, к отсутствию работы. Её карьера актрисы довольно резко оборвалась, как только она вышла из подросткового возраста. Всем детям-актёрам тяжело стать актёрами взрослыми – очень немногие успешно совершают этот переход. Когда Татум стала молодой женщиной, очарование ребёнка или подростка, которое она излучала с экрана, ушло. Её последний фильм «Исключительная ярость» был завершён как раз перед нашей с Татум встречей. Эта картина была быстро забыта, к облегчению всех её создателей, включая Татум, которая отказалась что-либо говорить о картине или как-то рекламировать её.

Иногда Татум думала, не лучше ли с этим покончить. Она часто спрашивала:

– Ты будешь меня любить, если я больше не вернусь к своей работе?

Коварный вопрос! Я бы сказал: “Это будет замечательно!”, но вдруг она всё-таки захочет работать? Тогда получится, что я не верю в её успех, а мне бы не хотелось оказаться в таком положении.

Но одно я знал точно – я не хотел, чтобы мы с Татум работали одновременно. Но даже такой ответ имел подводные камни – в сентябре я составлял своё турнирное расписание на весь следующий год, и потом был вынужден ему подчиняться. Я хотел бы планировать расписание так, чтобы Татум было удобно работать, но не думаю, что агенты и продюсеры Голливуда как-то принимали бы в расчёт мой теннисный график.

Впрочем, появление Шона делало этот вопрос чисто теоретическим. Сейчас, с двумя маленькими детьми на руках, Татум не могла вдруг явиться в Голливуд и заявить:

– Что ж, теперь я готова работать.

Тем не менее, она была озабочена своей карьерой. После рождения Шона Татум естественным образом поправилась и была одержима идеей сбросить вес. В той среде, где она выросла, быть стройной и красивой означало всё, в том числе и возможность получить работу, и в юности она безумно страдала из-за своих круглых щёк.

В начале 1988 года я стал всерьёз опасаться, что из-за этой одержимости она снова окажется в плену у своих вредных подростковых привычек.

Я предложил ей попробовать заниматься с тренером, и так как мы были дружны с Мадонной и Шоном Пенном, Татум наняла инструктора Мадонны Роба Парра. Мадонна была худа и успешна – может, что-нибудь перепадёт и самой Татум?

Умеренность не была сильной стороной Татум. Скоро она тренировалась, как маньяк, качалась и пробегала по шесть миль в день. Она была в изумительной форме, но я забеспокоился, когда она стала жаловаться на боли в коленях.

– Думаю, ты слишком много бегаешь по мостовой, – сказал я.

Но она и не подумала что-то менять.

И Татум по-прежнему была разочарована, что работа не падает на неё прямо с неба. На самом деле, она понимала: актрисе, чтобы получить работу, надо выйти из дома и приложить массу усилий – но как это сделать с двумя малышами на руках? Она винила во всем меня, а я считал, что просто так повернулась жизнь. Потом, когда наши отношения совсем испортились, Татум говорила:

– Это Джон не хотел, чтобы я работала.

Но это неправда, я не хотел, чтобы она снималась, когда я уезжал на «Уимблдон», но я старался её поддерживать. На самом деле, положение вещей было идеальным, оно позволяло Татум возвращаться к своей профессии, не заботясь о необходимости зарабатывать деньги. Разве не могла она быть счастлива, оттачивая своё ремесло, и мало-помалу утверждаться как взрослая актриса?

– Послушай, – говорил я, – в финансовом отношении у нас всё отлично. Я не чемпион, но мои заработки такие же, как в восемьдесят четвёртом году. Тебе не нужно работать ради денег. Почему бы тебе не начать с малого? Поработай в небольших проектах, с хорошими актёрами – так ты не затеряешься.

– Кто ты такой, чтобы мне указывать, – огрызалась Татум, – Я делаю то, что нахожу нужным.

И затем она ссорилась с ведущими актрисами того времени – Деми Мур и другими – и всё время получала отказы.

Однажды мы ужинали с Мадонной и Шоном.

Как раз в то время я уговаривал Татум брать уроки мастерства.

– Я не могу совсем не тренироваться и думать, что у меня есть хоть какой-то шанс выиграть «Уимблдон», – говорил я. – Тебе тоже нужно совершенствовать своё ремесло.

Я повторял это снова и снова – я старался быть тактичным. Она обрывала меня:

– Что ты понимаешь в кино? Мы не спортсмены.

И вот за обедом Мадонна сказала:

– Знаешь, я сейчас посещаю превосходный актёрский класс – тебе тоже надо попробовать.

– Замечательная идея! – обрадовалась Татум.

– Я твержу об этом три года, – думал я про себя. – Спасибо, что наконец-то дошло.

– Ты можешь делать карьеру и одновременно быть матерью – ты вполне справишься, – говорила тем временем Мадонна.

“Что ты, чёрт возьми, знаешь об этом?” – не удержался я от мысли. – “Ты одержима карьерой больше, чем все, кого я знаю”. Не говоря уже о том, что тогда у неё не было ни одного ребёнка!

У Татум шло прослушивание за прослушиванием – и не одной роли. Какое-то время спустя из-за огромного успеха фильма «Деловая женщина» на его основе решили сделать телесериал, и Татум пробовалась на главную роль. Она решила говорить с сильным бруклинским акцентом, и продюсер сказал:

– Мы согласны дать вам роль, только придите завтра ещё раз и говорите нормальным голосом.

Она пришла – и говорила с тем же акцентом. Я недоумевал – зачем она это сделала? Единственное объяснение, которое пришло мне в голову: на самом деле она не хотела получить эту работу, а может и вообще не хотела работать.

Мы прожили вместе восемь лет, и за всё это время Татум участвовала только в трёх проектах. Это была пьеса с Уильямом Хики, которая шла неделю. Это был странный независимый фильм «Little Noises» (*Слушки*) с Криспином Гловером, который вышел только на видео.

Ещё один проект предназначался для широкой аудитории – это был выпуск программы «After-school special» (*После школы про Это*) 1989 года с Дрю Бэрримор и Кори Фельдманом. Он назывался «Fifteen and Getting Straight» (*Пятнадцать лет, и всё становится ясно*) или (*Пятнадцать лет и новая доза при ломке*) и пропагандировал отказ от наркотиков.

Как раз в день рождения Татум – ей исполнялось 26 – я играл с Борисом Беккером в полуфинале парижского турнира в зале. Татум сидела рядом с кортом. А мы оба – и я, и Борис – заходились в непрерывном кашле.

Я всё объясню. Как только в 1985 году Борис ворвался на теннисную арену, он получил в раздевалке репутацию игрока, который всякий раз раздражается кашлем в ключевые моменты матча, например, когда ты подаёшь на брейк-пойнте, или когда ему самому нужно подольше отдохнуть перед своей подачей. Борис был рослым парнем, с широкой грудью, его кашель был глубоким и звучным – такой звук было трудно игнорировать.

То же самое происходило в Париже («*Paris Open*»), и перед полуфиналом я решил угостить Бориса его же стряпнёй. Игра началась, и как только Борис начинал кашлять, я отзывался ещё более громким и долгим кашлем. Возможно, это было по-детски, возможно, я делал это ещё из-за того, что Беккер сейчас был второй ракеткой и обошёл меня в рейтинге на две позиции. Кроме того, кашель был для меня просто новым способом досадить противнику, заменой обычных стычек на переходах. Я хотел преподать ему урок.

Разумеется, это имело эффект бумеранга. В одном только первом сете я передразнивал Бориса раз десять, и, как я это умел, настроил публику против себя: каждый раз, когда я кашлял, меня захлопывали и освистывали. Когда первый сет подходил к концу, Борис сказал мне на переходе:

– Довольно, Джон, отстань от меня. Я простудился.

– Ты простужен все эти четыре года, – ответил я.

Публика была против меня, Борис обозлён и теперь старался изо всех сил – я отлично подготовил почву для того, чтобы продуть матч. Это и произошло – я проиграл в трёх сетах.

В номере отеля Татум набросилась на меня:

– Как ты мог так издеваться над ним?

– Ты на моей стороне, или как? – отозвался я.

Думаю, я знал, что она не на моей стороне.

Но хотя я был уверен в своей правоте, в тот момент я решил не идти на принцип, а уступить своей жене. Я пошёл к Борису в номер – он жил в том же отеле – и извинился.

– Слушай, Борис, – сказал я, – прости меня. Всё произошло в горячке матча.

Борис был безупречно вежлив:

– Понимаю, – ответил он. – Всё забыто, не думай больше об этом.

Но из-за этой стычки с Татум в день её рождения, да ещё и в день важного матча, год закончился для меня на минорной ноте. Я начал 1989 год одиннадцатой ракеткой и пробился наверх до четвёртого номера рейтинга. Из-за этого поражения, а также из-за скорого поражения Беккеру на «Мастерсе», мой рейтинг опять поедет вниз.

С тех пор «Мастерс» никогда больше не будет проводиться на «Мэдисон Сквэр Гарден». С удивительной близорукостью АТР променяет престиж и внимание прессы на доллары и перенесёт «Мастерс» в Германию, так как Немецкая теннисная федерация предложит более выгодный контракт. Насколько я могу судить, это перемещение разрушило турнир. Это был конец эпохи.

Это был также конец моему месту в десятке – даже такую цель теперь ставить было бессмысленно. В начале 1990 года Гамильтон Джордан, исполнительный директор АТР, ввёл изменение в рейтинговые правила, которые шли вразрез с пожеланиями ведущих игроков. Новые правила “вознаграждали” теннисистов, играющих много турниров. Теперь у такого теннисиста учитывалось только четырнадцать турниров в году, хотя бы он сыграл их тридцать пять или больше. Эти правила точно не были предназначены для теннисистов с жёнами и детьми.

Я был не согласен с изменениями, они меня не устраивали как главу семьи – я знал, что они повредят моему рейтингу. В конце концов, я был уверен, что они повредят игре, и в глубине души считал, что Джордан нас просто-напросто предал. Если бы игроки были более организованы, мы могли бы начать бойкот турниров в знак протеста, но реакция на эти изменения была, в сущности, апатичной.

В январе 1990 года я играл в четвёртом «Australian Open» с Микаэлем Пернфорсом.

Мы обменялись сетами. В начале третьего сета я был не согласен с решением линейного арбитра-женщины и подошёл к ней. Я ничего не говорил, а только пристально смотрел на неё, подкидывая мячик на ракетке.

– Замечание по поведению, мистер Макинрой, – объявил судья. Это решение показалось мне спорным, и я несколько минут препирался с арбитром, но тот победил. Я успокоился и выиграл третий сет.

Я подавал в четвёртом сете при счёте 2-3, и мой форхенд не попал по ширине. Послеполуденный австралийский зной был невыносим – температура корта была 135 градусов (57°C) – и я рассвирепел. Я врезал ракеткой по корту. Обод треснул.

– Сломанная ракетка, мистер Макинрой, – объявил судья. – Штрафное очко.

Мой гнев ещё не утих. Я подошёл к судье и минуты две изливал ему свои чувства, затем потребовал супервайзера турнира. Материализовался супервайзер и спокойно сказал, что сломанный обод автоматически означает штраф. Так же, как и порча покрытия. Когда супервайзер пошёл назад, я крайне грубо и очень громко выругался. Зрители разинули рты – мистер Макинрой превзошёл сам себя.

– Словесное оскорбление, – произнёс судья. – Дисквалификация. Гейм, сет и матч – мистер Пернфорс.

Это была всего вторая и последняя дисквалификация за мою карьеру (первая была за опоздание на парный матч на Чемпионате Америки 1986 года). Я также вошёл в историю как первый игрок, дисквалифицированный на турнире «Большого шлема» в «Открытую эру».

Это произошло из-за моего идиотизма, но не только – ещё по неведению. Изучив мою карьеру, вы увидите, что в дюжинах матчей (таких матчей действительно было всего несколько дюжин, а не несколько сотен) я доводил дело до края: ещё одно нарушение – и меня удалили бы. Но в тот единственный раз, когда я шагнул за этот край, я на самом деле не знал, что делаю – я не знал, что правила изменились и теперь удаление следует за третье нарушение, а не за четвёртое.

В тот момент, когда слова слетали у меня с языка, я думал: “Ладно, я потеряю гейм”. Я полагал, что в четвёртом сете счёт станет 2-4, но у меня есть запас по сетам 2-1. Я был уверен, что выиграю матч. А когда судья произнёс “Гейм, сет, матч”, первое, о чем я подумал – это о своём агенте Серджио Палмиери, который забыл мне сообщить об изменениях правил.

Само собой, я не могу сказать: “Меня дисквалифицировали, потому что мой агент не рассказал мне об изменениях”. Конечно, я несу полную ответственность за этот инцидент. Тем не менее, я твёрдо уверен, что если бы я знал новые правила, то сдержался бы. Иногда меня заносило, но я всегда отдавал себе отчёт, куда именно меня занесло.

Я покинул Австралию, волоча за собой жену и двоих малышей, облепленный фотоаппаратами, которые хотели сделать последний снимок опозоренного Макинроя, бегущего прочь из страны.

Редко я был так рад возвращению в Малибу. Я носился со своей дисквалификацией несколько дней, но однажды утром я смотрел «CNN», чтобы узнать результаты из Австралии и увидел такое, что моя проблема тут же стала ничтожной.

Произошла трагедия – пассажирский самолёт компании «Avianca Airlines» потерпел крушение недалеко от Нью-Йоркского аэропорта Кеннеди. Я не поверил своим ушам, когда диктор сказала, что по непроверенным данным самолёт упал на дом Джона Макинроя в Ойстер Бэй. Я был ошеломлён. Первая моя мысль была о родителях, которые там жили. Потом я сообразил, что они отдыхают в Египте, а оба мои брата тоже где-то ещё.

В следующем выпуске показали беседу репортёра с моим соседом по Ойстер Бэй, первыми словами которого были:

– Самолёт не упал на дом Макинроя, но его двор используют как морг.

Все мои чувства смешались. Я одновременно испытывал облегчение, тревогу, сострадание к жертвам и стыд из-за беспокойства о своей собственности. Именно тогда я решил продать свой дом на Ойстер Бэй. Жизнь управляет рок.

Однажды летней ночью 1990 года Татум спросила:

– Как насчёт третьего ребёнка? Хочешь девочку?

Я только что вернулся с очередного турнира. Кевину было четыре, Шону почти три. Мне казалось, мы как раз начинаем брать свою жизнь под контроль.

– Не знаю, – ответил я нерешительно.

– Ну же, – сказала она, – что с тобой, трусишка?

– Трусишка? – удивился я. – Именно тебе придётся пройти через всё это, а не мне. А разве не ты всё время твердишь, как тебе

трудно строить карьеру? Ты думаешь, ещё один ребёнок решит эту проблему?

Как оказалось, эта дискуссия была чисто теоретической. 10 мая 1991 года Эмили Кэтрин Макинрой появилась на свет. Первое, что мы подумали: “Превосходно – у нас теперь два мальчика и девочка. Это решит все проблемы”. Но потом мы обнаружили, что это ничего не решало.

Может, мы были слишком испорчены. У нас было больше, чем достаточно, денег и славы, мы наслаждались всем, что они нам давали. Одновременно мы стремились жить, как нормальные люди, но это было попросту невозможно. Казалось, в доме никогда не было покоя. Слишком часто мои выходы на корте огорчали Татум и ставили её в неловкое положение – и по мере того, как напряжение в доме росло, эти выходы становились всё отвратительнее. Мне казалось, я нашёл выход – в марихуане. Я думал, это поможет мне расслабиться и лучше разобраться в своей жизни. К сожалению, эффект часто бывает обратным.

Всё было очень запутано: мы оба старались быть хорошими родителями и хорошими супругами, но её карьера переживала период затмения, а моя шла на закат – трудно быть снисходительным к другому, когда у самого проблем выше крыши. Мы любили своих детей, но нам всё труднее и труднее было заставлять себя быть добрее друг к другу.

Моим наивысшим номером рейтинга после возвращения был четвёртый номер в конце 1989 года. Я видел, что несколько игроков в туре сильнее меня – Беккер в свой хороший день, Эдберг, Лендл – но я также видел, что моя игра наконец-то возвращается. На это ушло три года. 1986 год я закончил четырнадцатым, 1987 – десятым, а 1988 – одиннадцатым. В 1989 год я играл не так много турниров, но добрался до места, за которое боролся. Я боролся, но не выигрывал главные турниры. Стучался в дверь, но не мог её открыть.

Моё развитие остановилось. Мои контракты становились всё смехотворнее. Самый характерный пример – моё идиотское решение в 1988 году: за неделю до «Уимблдона» играть вместе с Виландером на выставке для «ГОАП» – дублинской благотворительной организации. В чём был идиотизм? Начать с того, что я не играл на «Уимблдоне» уже два года, а эта выставка была весьма своеобразна: днём мы с Виландером играли в теннис, но кульминацией был вечерний боксёрский поединок между нами! Насколько я помню (после нескольких глотков текилы), мне единогласно присудили победу – я нанёс множество ударов – но затем я три дня не мог пошевелить руками.

Не стоит говорить, что турнир в Квинсе чуть лучше подготовил бы меня к «Уимблдону», на котором я уступил Уолли Мазуру во втором круге.

Быть предельно мотивированным мне не давали дети и Голливуд. Я стал больше ценить благополучие. Казалось, я не мог уже полностью сосредоточиться на работе. Уже не так важно стало звание первой ракетки – я утвердился на четвёртом месте. Я по-прежнему зарабатывал немалые деньги, я всё ещё был заметной фигурой в теннисе – я лишь не был лучшим. Да, я терял позиции, но раньше я всегда находил способы поправить положение. Этому помогала моя природная ярость победителя. Теперь, пожалуй, эта ярость покидала меня – я старался стать хорошим мужем и отцом.

Я старался изо всех сил. Но порой, в плохие минуты, я думал, что все мои усилия напрасны, и становится только хуже. Иногда я не мог удержаться от мысли, что зря трачу своё время. В конце концов, я мог винить только себя. Я сам выбрал такую жизнь и такую жену. Никто меня не заставлял. Я наивно думал, что в жизни нам по пути – может, так и было в начале. Татум, со своей стороны, тоже старалась, но, в конце концов, у неё не осталось сил всё это выносить. Она была так молода! Мы оба были молоды. Накопившееся раздражение я выливал на неё – хотя мог быть и посдержаннее.

Глава 12

– А чего вы ожидали? – говорил некий Макинрой на пресс-конференции перед полуфинальными матчами на «Australian Open» в январе 1991 года – “Эдберг против Лендла; Макинрой против Беккера”. Одно маленькое уточнение: это были не мои слова. Это Патрику Макинрою вскоре предстоит хорошенько напугать Бориса Беккера, выиграв первый сет на тай-брейке, перед тем как “упасть” в четырёх.

Приятный сюрприз девяностых годов – возвращение моего брата Патрика в теннис. У него была достойная юниорская карьера – одно время он был третьим в стране – но выступая за студенческую команду «Стэнфорда», особо не выделялся. Думаю, Патрик так ярко проявил себя в юниорах, потому что именно тогда на него впервые в жизни обратили внимание, а в колледже он слегка стушевался. Когда он учился в выпускном классе, наша мама велела ему забыть мечты о теннисе – настало время выбирать настоящую работу.

Я поговорил с ней.

– Слушай, – сказал я, – не дави на него. Он готов попробовать свои силы в профессиональном теннисе. Дело уже слишком далеко зашло – он будет жалеть всю свою жизнь, если не попробует. Все сравнивают Патрика со мной, но он и сам по себе кое-чего стоит. И я думаю, у него всё получится, если он займётся теннисом всерьёз.

В игре мы с Патриком отличаемся так же сильно, как и в жизни. Патрик – правша с двуручным бэкхендом, оставшимся у него с детства. Он любит оставаться на задней линии, а его коронный удар – приём подачи с бэкхенда. Он добродушен, и разговаривает всегда спокойно. Я – ну вы знаете, кто я такой. Как-то я уже говорил, что Патрик начал играть в теннис в гораздо более раннем возрасте, чем я, и одно время казалось, что он добьётся куда большего. Как-то наши родители повезли нас в Майами на «Orange Bowl» (*старейший и самый престижных детско-юношеский турнир*), где я играл в возрастной категории до 14 лет, а Патрик – до 12. Это в шесть лет! Он проиграл в первом круге (двенадцатилетнему верзиле) и уныло побрёл с корта. Какой-то зритель повернулся к моему отцу и сказал:

– Ему не стоит печалиться – у него ещё шесть лет в запасе.

И действительно, когда Патрику исполнилось двенадцать, он играл даже лучше, чем я в этом возрасте. Среди четырнадцатилетних и шестнадцатилетних он выступал уже похуже, но к семнадцати годам был значительно сильнее меня. В 1983 году он играл со Стефаном Эдбергом в юниорских полуфиналах «Уимблдона» и «US Open» – хотя Патрик проиграл оба матча, это были весьма упорные трёхсетовые поединки.

В самом начале карьеры Патрику несколько раз давали уайлд-кард (*прим.ред.– Допуск от организаторов в основную сетку турнира игроку, который по рейтинговому положению не попадает в неё*) на турниры АТР, хотя порой ему было неловко принимать их. В первый раз в туре мы играли друг против друга в 1985 году – в первом раунде турнира в Страттон Маунтен. Ему было девятнадцать, мне – двадцать шесть, и я был первой ракеткой. Я вёл себя, как положено старшему брату, и выиграл 6-1, 6-2.

В самом начале карьеры Патрик старался пробиться наверх, но у него это получилось, когда ему было уже за двадцать: он вернулся в тур и поднялся до 31-го номера в мире. Наибольшего успеха Патрик добился в паре, но и в одиночке порой выступал блестяще – он дошёл до полуфинала на «Australian Open-1991», а в 1995 году завоевал свой единственный титул в Сиднее. Позже в этом же году он отлично выступил на «US Open», дойдя до четвертьфинала, где оказал упорнейшее сопротивление Беккеру (я комментировал этот матч – само собой, я был слегка необъективен).

Легко мне было поддерживать Патрика, когда я уже ушёл из тура. Я как-то размышлял о том, что наилучший из возможных вариантов

проигрыша – это уступить другу или брату. Но как только дело доходило до драки – не тут-то было. Я всегда хотел, чтобы в моей семье и у моих друзей все шло хорошо – только не лучше, чем у меня. Я понял это, когда меня несколько раз победил Питер Флеминг. Первый наш с Патриком матч в Страттон Маунтен был неравным. Шесть лет спустя в Базеле (Швейцария), была уже совсем другая история.

В том году он дошёл до полуфинала Австралии – он уже был настоящий противник. К тому же это был третий круг, а не первый, и я был на взводе. До этого Патрик никогда не видел меня таким, и боюсь, это шокировало беднягу. Я не мог сдержаться. Я выложил всё, что мог – свирепые взгляды и всё такое прочее – и он в итоге дрогнул, как и большинство моих противников. К тому же, я его просто переигрывал, поэтому, вероятно, зря всё это проделывал. Но, Патрик, это был комплимент!

В феврале 1991 года мы играли в финале в Чикаго. Финал – это уже совсем другое дело. “Боже, если я проиграю Патрику, я пропал”, – думал я, – “Я сброшусь с «Сирс Тауэр»” (*прим.ред.*– «Sears Tower» – небоскрёб в Чикаго). Я не мог проиграть младшему брату!

В то же время мне было как-то неловко. К тому времени я выиграл 76 турниров, а Патрик – ни одного. Он заявил о себе в туре, но было не похоже, что он станет победителем турнира «Большого шлема». Я желал ему самого лучшего – но не за мой счёт.

Я совершенно запутался.

В этот раз я вёл себя прилично. “Просто играй”, – подумал я, – “Не бузи”. Но все равно, я готов был взорваться прямо на корте – практически невозможно было держать все это в себе. Я медленно плавился.

Игра была отличной. Он взял первый сет, 6-3, я выиграл второй, 6-2, а в третьем мы шли голова в голову до счета 3-3. Затем я сделал брейк. Я подавал на матч-пойнте, и в это время на трибуне зазвонил телефон. И тут я единственный раз в своей жизни (может, ещё пару раз такое и случалось) сказал что-то смешное. Я взглянул на отца, сидевшего рядом с кортом:

– Пап, мама звонит!

Все засмеялись. Засмеялся и Патрик:

– Передай, что я скоро буду дома! – сказал он.

Как я умудрился пошутить? В такой напряжённый момент мне нужно было хоть как-то разрядиться. Мне было неловко выигрывать, но и поражение было невообразимо. Я бы предпочёл вообще никогда с этим не сталкиваться.

Это был последний турнир, который я выиграл, и ради этого я победил своего родного брата.

После рождения Эмили у меня не было никакого “отпуска по уходу”. Через две недели я снова был в пути, от турнира к турниру. В конце мая я отбыл в Париж, где проиграл в первом круге Андрею Черкасову, крепкому ремесленнику из России.

В 1990 году я освободил место в команде Кубка Дэвиса для новой поросли – Агасси, Чанга и Джима Курье.

Но в июне 91-го я ненадолго вернулся, чтобы зажечь свой былой огонь, и выиграл два матча в нашей победной встрече с Испанией.

Огонь тем временем начинал трещать и дымиться. Я больше не мог одерживать крупные победы – иногда в упорном матче я выбивал действующего чемпиона или доходил до полуфинала значительного турнира, но затем проигрывал какому-нибудь новоявленному щенку. Я не только не брал крупные титулы – порой я не мог играть и на мелких турнирах. В 1985 году в «Квинс Клубе» я нагрубил какой-то женщине, бесцельно околавившейся возле тренировочных кортов. Оказалось, что эта дама – жена президента Клуба, и моё членство было аннулировано. Хотя через несколько лет меня восстановили в правах, былой позор не изгладился из моей памяти, и

я больше никогда не играл этот турнир, который так удобен для разогрева перед «Уимблдоном».

В этом году на «Уимблдоне» я с треском вылетел в 1/8 финала от руки Стефана Эдберга, который выставил мою игру у сетки совершенно беззубой. Помню, я думал: “Не пойми, какой форхенд, подача меньше ста миль в час – и готово, он выносит меня”.

На «Canadian Open» я проиграл в третьем круге Деррику Ростаньо.

В Нью-Хэвене я проиграл четвертьфинал юному мастеру подачи Горану Иванишевичу.

А на «US Open» того года в третьем круге я единственный раз в жизни проиграл девятнадцатилетнему Майку Чангу (в пяти сетах) – он использовал крученые свечи так же эффективно, как в своё время Лендл.

Я был бессилён, наблюдая, как эти закрученные мячи проносятся над моей головой и опускаются как раз перед задней линией. Как будто Чанг прочитал надпись у меня на лбу: “Я потерял скорость. Я не смогу быстро вернуться назад”. Эта моя беспомощность была ужасна.

Но я всё ещё мог гордиться тем, что все мои противники, даже молодые, всегда по-особому настраивались на игру со мной. Возможно, я был для них пробным камнем; возможно, они думали: “Сейчас я задам этому перцу!”. Мне нравится мысль, что причина кроется в том, что я великий чемпион. Однако такой энтузиазм явно осложнил мне конец карьеры – все вокруг, как акулы, жаждали моей крови!

Очередной турнир в зале (Англия, Бирмингем, ноябрь) подтвердил это. Мне дали уайлд-кард и заплатили за участие – в твёрдой уверенности, что я обеспечу им хорошее шоу. Но я определённо не отработал Бирмингему его деньги, проиграв в первом же круге немцу Александру Мронцу (позже он прославился, в основном, как бойфренд Штеффи Граф).

Я понял, что скатился ещё на одну ступеньку вниз. Когда я сходил с самолёта в Нью-Йорке, мой агент спросил:

– Слышал новость?

– Нет, – ответил я.

– Мэджик Джонсон (*прим.ред. – Баскетболист*) объявил, что у него СПИД.

Проигрыш Мронцу тут же отступил на задний план. Когда через несколько недель я играл в Лос-Анджелесе выставочный матч с Агасси, то уже не сомневался, что мне нужна помощь. Предыдущие тренеры действовали вопреки моей натуре, но когда бывший профи Ларри Стефанки подошёл ко мне после бесславно закончившего матча, я был готов его выслушать. Было очевидно: что бы я ни делал – ничего не помогало.

– Успех не придёт сам по себе, Мак, – говорил Стефанки. – К нему нужно быть действительно готовым.

В своё время Ларри был очень хорошим теннисистом, но что в нём ошеломляло, так это энергия и энтузиазм: он был ходячая чашка «Экспрессо».

Для подготовки своего последнего выхода на арену я создал Команду Макинроя: Ларри – тренер, Роб Парр, который раньше работал с Мадонной и Татум – тренер по физподготовке, а молодой канадец Дерек Ноблс – массажист. Для своей группы поддержки я снял дом в Малибу напротив моего и принял стартовую позицию для подготовки к Открытому чемпионату Австралии 1992 года.

Это сработало. Мы с Ларри полетели в Мельбурн, где я в третьем круге одержал блестящую победу над Борисом Беккером 6-4, 6-3,

7-5 – за месяц до того как мне исполнилось тридцать три года.

Я дошёл до четвертьфинала, где был бит Уэйном Феррейра – обидный конец такого многообещающего старта.

Тем не менее, это был несомненный шаг по направлению к былым победам.

Меня постигло ещё одно разочарование, когда во время турнира я узнал из газет, что меня не взяли в олимпийскую сборную. В 1988 году, когда теннис был включён в олимпийскую программу, отношение профессионального тенниса к Играм было весьма прохладным, и я предпочёл Олимпиаде обычные турниры. Сейчас же мои олимпийские дни были сочтены, и я надеялся, что Том Горман возьмёт меня в сборную как одиночника. Мы с ним обсудили этот вопрос, и Том обещал мне позвонить только в случае, если он решит пригласить меня для парной игры. Он не позвонил.

Я был в Австралии две с половиной недели. Я никогда не расставался с детьми так надолго и очень по ним соскучился. Я полетел на Гавайи встретиться с семьёй и подготовиться к первому кругу Кубка Дэвиса – матчу с Аргентиной. Это был мой дебют выступления в паре (*прим.ред.– Имеется в виду второй период его выступлений за сборную*). Как только я увидел Татум, я заметил, что она как-то странно со мной держится. Я списал это на своё долгое отсутствия, но следующие недели и месяцы лишь усилили это ощущение.

Наше отчуждение только возросло, когда заболел пятилетний Кевин.

Сначала мы подумали, что у него серьёзное отравление, но потом оказалось, что это редкая детская болезнь – аллергическая пурпура. Шесть недель он не ходил в школу. Это было жуткое время, казалось, оно должен было сблизить нас с Татум, а вместо этого мы всё больше и больше отдалялись друг от друга. Я был сбит с толку и забеспокоился.

Все эти переживания отнюдь не шли на пользу моему теннису. Всё чаще Команда Макинроя представлялась мне скорее громоздкой, чем полезной – хорошо было иметь возможность получать массаж каждый день, но иногда мне казалось, что я делаю это только из-за того, что плачу массажисту. Непростая обстановка у меня дома затрудняла сам тренировочный процесс. Ларри был великолепным тренером – в дальнейшем он будет работать с Марсело Риосом, Евгением Кафельниковым и Тимом Хенманом – но возглавлять целую команду у меня, в конце концов, не хватило душевных сил. К июню от этой команды остались только мы с Ларри.

В субботу четвёртого июля 1992 года я играл свой последний одиночный матч на центральном корте «Уимблдона». Вопреки всем недоброжелателям, я дошёл до полуфинала, где встретился с двадцатидвухлетним Андре Агасси, который ещё ни разу не выигрывал турнир «Большого шлема». Пятнадцать лет назад, практически день в день, состоялся мой полуфинал с Коннорсом – это было завершение поразительного пути по турниру, пути, который поднял меня на теннисный олимп.

Этот день тоже был завершением поразительного пути. Пятнадцать лет я был принадлежностью «Уимблдона», быть может – ужасной, быть может – прекрасной, но скучной – никогда. Моя персона порождала споры и сплетни, даже когда я ничего особенного не делал. Сам не желая того, я стал своего рода традицией «Уимблдона».

В этом году я не дал почву для разнотолков. Как и во многих других ключевых матчах, я не мог себе позволить расточать силы понапрасну. К концу встречи я уже едва справлялся с блестящим приёмом подачи Агасси и с его великолепными ударами с отскока: он играл по восходящему мячу в очень низкой точке, ниже, чем я в свои лучшие годы, и бил по мячу в два раза сильнее.

Финальный счёт был 6-4, 6-2, 6-3. У сетки я обнял Андре и сказал:

– И зачем только ты так внимательно слушал?

Недели две назад я дал Андре несколько советов по игре на траве, а тот оказался слишком сообразительным учеником. Но всё же он был ещё совсем желторотый: он забыл поклониться королевской ложе, и мне пришлось ему об этом напомнить. Торжество добродетели свершилось: на моем последнем уимблдонском матче я учил манерам следующее поколение!

На следующий день Андре выиграл свой первый титул «Большого шлема», победив в финале Горана Иванишевича.

Оказалось, торжества для меня ещё не кончились. Через два дня мы с Михаэлем Штихом победили в отложенном из-за темноты финале против Джима Грэбба и Ричи Ренеберга со счётом 5-7, 7-6, 3-6, 7-6 и 19-17. Это самый длинный финал «Уимблдона» по количеству геймов – 83!

Энергия зрителей, которых в дополнительный день пустили бесплатно, заставила меня забыть о том, как я, в сущности, вымотан и физически, и морально.

Не так плохо для старика.

Это был мой последний триумф. Моё выступление на «Уимблдоне» подняло мой рейтинг с 30 до 17 в мире, но я был поставлен перед фактом, что больше не выигрываю турниры. Этим летом я сказал Татум:

– Если в этом году я ничего крупного не выиграю, я перестану играть. Я уйду в тень и дам тебе возможность выйти на свет.

Татум не оставила мечту о возрождении своей актёрской карьеры. В сентябре 1992 года корреспондент спросил её о планах на будущее, и она сказала:

– Думаю, когда Джон завершит карьеру, он станет заботиться о детях, а я буду сниматься в двух картинах одновременно, буду сама выбирать сценарии и работать с кем хочу, наши дети пойдут в прекрасную школу, и мы будем жить долго и счастливо.

Я хотел помочь Татум осуществить её мечту, но нам следовало бы обсудить её воплощение. Эта мечта во многом совпадала с моей – безусловно, я хотел бы заботиться о детях гораздо больше, чем мне удавалось до этого – но Татум не учла, что по натуре я непоседа. Да, моя карьера в профессиональном теннисе подходила к концу, но я не хотел сидеть без дела, и если дело требовало поездок – что ж, так тому и быть. Если в вашу кровь проник этот вирус – если вы привыкли ездить по свету и чувствовать себя важной фигурой – не знаю, сможете ли вы когда-нибудь остановиться.

Я бы научился ценить свой дом, будь он счастливым. Но счастье давно его покинуло. Спустя годы, с невыносимой ясностью видно раздражение и разочарование, которые проглядывают сквозь эту голубую мечту Татум.

Под двойным грузом моих тщетных попыток возрождения карьеры и немалых трудностей, возникших с появлением третьего ребёнка, наш брак не выдержал – мы стали невероятно далеки друг от друга. Слишком часто, когда мы были вместе, вместо близости между нами вставали гнев и отчуждение. Если Татум была особенно раздражена, она предлагала мне убираться и делать все, что я хочу. И это было как раз то, чего я хотел меньше всего.

Потом наши отношения совершенно зашли в тупик, а я должен был неделя за неделей уезжать на турниры. Когда я был молод и свободен, эти поездки приносили только радость, но сейчас я путешествовал с болью в сердце. Я был страшно одинок тогда – это не



извинение, а лишь жалкая попытка оправдаться – и я пустился во все тяжкие.

Чем дома занималась Татум, и с кем она проводила время – я не знал и старался об этом не думать.

В октябре я был в Сиднее (Австралия) на турнире в зале. На тот момент моя игра была крайне нестабильной: я то блистал, как в прежние годы, то проигрывал тем, чей класс оценивал крайне низко. Я и свой-то класс уже едва ценил. В Сиднее я проиграл Эдбергу в четвертьфинале. Пристойный результат, но не более того.

Как-то вечером из Нью-Йорка позвонила Татум (когда Кевин и Шон пошли в подготовительный класс школы, мы решили перебраться на восток, а Малибу оставили как прибрежную резиденцию). В ходе разговора она обронила, что у неё в планах вечер в рамках предвыборной компании Билла Клинтона. Этот вечер будет проводиться в какой-то художественной студии, там будет играть Стивен Стиллс (*прим.ред.– Известный гитарист*)... Я едва прислушивался к привычному журчанию её голоса, как вдруг Татум произнесла три слова, которые навсегда изменили мою жизнь.

– Ты не приглашён, – сказала она.

Теперь я был весь внимание:

– Я не приглашён? Почему?

Татум тут же попыталась сделать хорошую мину при плохой игре:

– Ты можешь пойти, но ты сам не захочешь, я уверена. Там соберутся совершенно неинтересные тебе люди. Я пригласила только несколько своих друзей из актёрского класса.

“Друзья из актёрского класса” – эта фраза прочно засела в моей голове. Теперь мне никуда было не деться от мыслей, которые я так упорно от себя гнал.

И тут без всякого перехода Татум сообщила, что её мать попала в автокатастрофу и лишилась двух пальцев на руке.

Я захохотал. Я не мог сдержаться. Эти слова так дико прозвучали в контексте нашего разговора. Её бедная мать, Джоанна Мур, вела настолько скандальную и безалаберную жизнь, что уже ничто не могло меня удивить.

– Какое следующее сообщение ты для меня приготовила? – поинтересовался я.

Татум рассвирепела – надо сказать, я её понимаю.

– Как ты можешь быть таким бездушным? – закричала она.

Я попытался как-то сгладить ситуацию, но сам понимал, что уже слишком поздно.

Прилетев из Австралии, я взял напрокат машину и поехал в Палм-Спрингс, где жила мать Татум. Джоанна действительно потеряла два пальца – я до сих пор сомневаюсь, что дело было в автокатастрофе. По её словам, она выпала из машины, перелетела через ограждение и насыпь, скатилась на дно двадцатифутового оврага (6 м) – и осталась совершенно невредимой, если не считать потерю пальцев.

Разговор зашёл о Татум и о наших испорченных отношениях.

– У неё сейчас трудный период, но ты просто будь рядом, – сказала Джоанна. – Просто будь рядом, и всё закончится хорошо.

Казалось, она знала гораздо больше, чем говорила – и уж точно больше, чем знал я. Я уехал от неё в расстроенных чувствах.

Оставшиеся дни октября мы провели в ледяном молчании: Татум, очевидно, на что-то решилась. В конце месяца мы решили официально разъехаться – мысль о разводе была для меня невыносима, хотя в глубине души я понимал, что этот шаг неизбежен.

Я был опустошён.

Меня убивало, что я должен играть – в ближайшее время, по крайней мере, никуда от этого было не деться. У меня были обязательства перед тремя турнирами: Париж (в зале), Антверпен и Кубок Большого Шлема в Германии, а кроме этого я должен был играть в финале Кубка Дэвиса против Швейцарии в Форт-Уэрте.

Одновременно пришёл конец и моему браку, и моей карьере, но почти никто, кроме меня и Татум, об этом не знал. У меня словно выбили почву из-под ног. Я не знал, как жить дальше, но жить было как-то надо.

В Париже я в прямом смысле слова плакал на переходах. Я закрывал голову полотенцем и притворялся разозлённым. Никто ничего не заподозрил – я вечно был чем-нибудь раздосадован. Я не мог рассказать правду и искать сочувствия – мне казалось, что этим я уроню своё достоинство. Меня спасло то, что в Париже был Патрик – ему одному я мог хоть немного рассказать о том, что со мной происходит. Мы играли вместе пару – всего третий или четвёртый раз в туре. Я проиграл в одиночке во втором круге, а мы с Патриком никогда раньше не добивались особых успехов, но игра с братом придавала мне столько сил, что мы выиграли турнир!

Потом я один поехал в Антверпен и опять проиграл во втором круге. Полгода у меня всё валилось из рук.

Финал кубка Дэвиса в Форт-Уэрте принёс мне кратковременное облегчение. Я привёз с собой группу поддержки: родителей, братьев, всех своих детей, няню, своего агента Серджио Палмиери. Каждый из них был мне необходим. За несколько дней до этого я был в гостях у Андре Агасси в Лас-Вегасе и сказал ему:

– Не знаю, смогу ли я играть в Кубке Дэвиса – у меня просто нет сил.

Новость о нашем расставании просочилась в прессу – несколько фотографий Татум, отрывающейся со своими новыми друзьями, раздуло огонь – и репортёров интересовало только это. Перед своим первым матчем (я должен был играть пару с Питом Самprasом) я пытался тренироваться и проводить время с детьми, увёртываясь от докучливых вопросов.

Это напряжение сказалось, когда я наконец-то оказался на корте. На стадионе царил хаос, который я так любил на Кубке Дэвиса – американские фанаты размахивали флагами и дудели сигнальными рожками на швейцарских болельщиков в национальной одежде, которые, в свою очередь, скандировали лозунги и гремели коровьими колокольчиками – но сейчас внутри меня был ещё больший хаос. Я сделал двойную ошибку на сет-боле во время тай-брейка первого сета, а во втором сете опять потерял свою подачу при счёте 5-4, и мы с Питером проиграли этот сет на очередном тай-брейке.

Я был взбешён и унижен одновременно. Этот Кубок Дэвиса был для меня последним; я не мог проиграть свой последний матч – и кому? – швейцарцам! (Тогда они впервые добрались до финала). Я принялся орать на Питера, стараясь завести его, переругивался с Якобом Хласеком и Марком Россе – швейцарской парой. Каким-то образом нам удалось вытащить третий сет – 7-5.

Когда мы пошли в раздевалку на десятиминутный перерыв, я был в состоянии аффекта. Страх, гнев, разочарование и боль внутри меня образовали такую адскую смесь, что у меня буквально дым валит из ушей.

“Мы пойдём и надерём им задницу!”, – орал я на Пита, Джима Курье и Андре Агасси, – “Мы пойдём и надерём им задницу!”

Я выкрикивал это снова и снова, как воинский клич, пока не охрип.

И когда мы с Питом вернулись на корт, мы как раз это и сделали.

Каждый раз, когда мы выигрывали очко, Агасси и Курье кричали:

– Дайте ответ! – эту короткую фразу я иногда использовал в перепалках с арбитрами.

“Пит – представьте себе, Пит Сампрас!”, – кричал и вздымал свой кулак. Болельщики на трибунах сходили с ума, сигнальные рожки заглушили коровьи колокольчики. Мы выиграли последние два сета 6-1, 6-2. Когда матч закончился, Пит крепко меня обнял:

– Мак, я люблю тебя, – сказал он.

Вечером мой голос восстановился, а на следующий день я вновь кричал до хрипоты, когда Джим победил Хласека в четырёх сетах.

Нужны какие-то официальные сообщения о разрыве? Мне – нет.

Когда всё было кончено, я взял большой американский флаг и побежал по стадиону, круг за кругом, размахивая флагом высоко у себя над головой, а публика бесновалась на трибунах. Я никогда не был так счастлив.

Затем я вновь превратился в несчастнейшего человека. С родителями, братьями и детьми я вернулся в Нью-Йорк и на следующий же день полетел в Германию на «Кубок Большого шлема». Я не представлял, как буду играть в теннис: я едва передвигал ноги.

В аэропорту «Кеннеди» я пошёл купить себе что-нибудь почитать, чтобы во время перелёта отвлечься от преследовавших меня постоянно мыслей. И первое, что бросилось мне в глаза, был журнал «People» с нашими фотографиями на обложке и заголовком «Конец любовному союзу». Я купил его, сам не желая того – я не мог удержаться – и прочёл статью. Я не могу припомнить ни строчки, эта статья слишком разозлила меня. Основной упор делался на то, что в разрушении брака виноват именно я, так как не давал Татум делать карьеру.

Через месяц после нашего расставания мы с Татум пошли на премьеру фильма «Малкольм Икс» на Манхэттене. Мы всё ещё жили в одной квартире, вместе с детьми, но в разных комнатах. Это был очень странный период нашей жизни, и я понятия не имел, чем он закончится. Поэтому, когда Татум предложила сходить на премьеру вместе, я ответил:

– Почему бы и нет?

Полагаю, что точно так же, как десять лет назад, когда я лелеял тайную мечту о возвращении Борга, сейчас меня не оставляла крошечная надежда на то, что мы с Татум снова будем вместе.

Я пожалел о своём согласии сразу же, как мы пришли в кинотеатр. О чём я только думал? Повсюду были фотоаппараты, разгорячённые репортёры, выкрикивающие свои вопросы. По одной ей ведомой причине Татум просто сияла этим вечером, а мои кривые улыбки пбили все рекорды по притворству. Когда погас свет, на меня нахлынули привычные горестные мысли: “Почему мы не вместе? Почему она совсем не страдает – пусть даже она думает, что все делает правильно?”

Когда картина закончилась, Татум посмотрела на меня даже с долей сочувствия.

– Однажды ты скажешь мне спасибо, – произнесла она.

Поначалу до меня не дошёл смысл этих слов. Потом я догадался, что она имела в виду. Она была убеждена, что приносит мне одни неприятности и не может быть такой женой, какая мне нужна – я буду счастливее с другой. Но в то время я даже представить себе не мог



рядом с собой никого, кроме неё.

Кроме того, меня задел её тон. Я тогда был совершенно разбит, а она казалась счастливее, чем когда бы то ни было за последнее время, и в её словах сквозило превосходство. Это выглядело так, как будто моя слабость придавала ей сил.

Меньше всего мне хотелось приклеиться к Татум, как банный лист, и терпеливо ждать, пока она окончательно определится. Я желал либо разрешить наши проблемы, либо расстаться по-хорошему.

Вернувшись с «Кубка Большого шлема», я сказал, что намерен жить в своей квартире, и если она действительно хочет разойтись, пусть съезжает. Она съехала. Всё было кончено.

Мне и сейчас трудно всё это осознать, а тогда я был шокирован и уничтожен внезапностью нашего разрыва. Я признавал свою ответственность, но одновременно я с негодованием обвинял Татум – как она могла так поступить, ведь я же сказал ей, что собираюсь завершать карьеру, и теперь она сможет больше работать!

Я задавал себе снова и снова один и тот же вопрос: “О чём я думал раньше? Если всё должно было так закончиться, почему я когда-то считал, что у нас всё хорошо сложится?”. Я не находил ответа, и это терзало меня. Говорят, любовь слепа – теперь-то я это понял. Раньше я думал, что Татум – необработанный алмаз, я ограню его и помогу засиять во всем блеске. Теперь это казалось ужасной глупостью.

Я никогда в своей жизни столько не плакал – как только я начинал обо всём этом думать, тут же подступали слёзы, и я не мог остановиться, пока не выплачусь.

В начале февраля умер Артур Эш, и это ещё больше придавило меня. У нас с Артуром были разногласия, даже конфликты, но я безмерно уважал его как человека, как чернокожего, как позитивную силу для мирового тенниса. Я слишком поздно понял, что он величайший представитель нашего спорта, я почувствовал, что должен постараться продолжить его дело.

Как только я вернулся в декабре из Германии, Татум уехала на съёмки телефильма – усиливая впечатление, что я всегда препятствовал её карьере. Она настояла взять с собой на весь двухмесячный срок полугодовалую Эмили. Я считал это огромной ошибкой, но ничего не мог поделать. Все это время я спал с Кевином и Шоном в одной комнате. Иногда кто-то из них просыпался и видел слезы на моем лице, и однажды утром Кевин сказал:

– Папа, я больше не хочу, чтобы ты плакал.

В 1993 году я, наконец, глотнул свежего воздуха и начал новую жизнь. Теперь, когда я был свободен от турниров, я мог посвятить своё время различным рискованным начинаниям, которые уже были у меня на примете. Одним из этих занятий было комментирование матчей.

На «US Open-1991», через пару кругов после того, как Майкл Чанг забросал меня свечками до смерти, я зашёл в комментаторскую кабину к моему другу Витасу Герулайтису, который начал многообещающую карьеру теннисного комментатора. Я думаю, в то время Витас был на голову выше практически всех комментаторов; я считал (и до сих пор считаю), что в большинстве своём они просто отвратительны: самоуверенные, сухие, высокопарные и банально скучные – на выбор.

А вот Витаса никак нельзя было назвать скучным. Он не только знал теннис вдоль и поперёк – у него был удивительный дар оставаться в эфире самим собой, с акцентом Квинса и всё такое. У него был разговорный стиль и весёлая, язвительная манера

изложения – он просто затягивал вас в матч.

В тот вечер был четвертьфинал между Джимми Коннорсом и молодым долговязым датчанином Паулем Хаархусом.

Хотя Джимми получил уайлд-кард на этот турнир в возрасте – подумать только! – тридцати девяти лет, он задал Хаархусу жару. Витас комментировал матч вместе с Тедом Робинсоном. Я совершенно не разбирался в ведении репортажей и поэтому безо всякого страха вступил с ними в непринуждённый разговор в эфире.

В какой-то момент Джимми начал выкидывать свечи Хаархусу, тот в ответ стал забивать смэши, а Джимми догонял каждый мяч и выкидывал следующую свечу. И так продолжалось до тех пор, пока Джимми не завершил розыгрыш невероятным ударом навывлет в движении, из-за которого публика совершенно обезумела. Это был грандиозный розыгрыш – я не видел на «US Open» ничего подобного.

И вот этот потрясающий матч (Коннорс победил в четырёх сетах), и положил начало моей комментаторской карьере «Вещанию США» (*USAB*) я так понравился, что они предложили мне контракт. В 1992 году мы подписали договор, исходя из моих возможностей – я тогда всё ещё играл в туре. Я также заключил контракт с «NBC» о ведении репортажей с «US Open» и с «Уимблдона». В обоих контрактах указывалось, что я приступаю к репортажам с момента вылета из турнира в одиночном разряде. К сожалению, у меня было всё больше и больше возможностей вести репортажи!

Теперь, в 1993 году, мой график был совершенно чист. Я перезаключил контракт с «Вещанием США». Когда-то давно я дал зарок, что по окончании карьеры ни за что не стану комментатором и никогда не буду играть в ветеранском туре. Никогда не говори “никогда”.

В начале года я рассматривал возможность стать тренером Андре Агасси, но меня смущало, что у меня останется мало времени для общения с детьми – теперь, когда я уже не играл, я имел возможность видеть их неделями без перерыва. Вопрос отпал сам собой, когда Агасси нанял Панчо Сегура. (Позднее после скорого фиаско с Серхи Бругейра, а затем с Борисом Беккером, я понял, что быть тренером, повсюду ездящим с игроком – это не моё. Я хорошо умею менять подгузники, но только не великовозрастным детинам).

Ещё одним начинанием была музыка. В старшей школе я был впечатляющий (по моему мнению) гитарист, порой я присоединял свой голос к друзьям, которые объединялись в рок-группы. Когда я начал свою карьеру в туре, то был вынужден часами сидеть без дела в отелях по всему миру, и мне пришло в голову вновь взять в руки гитару.

В 1981 году я купил чёрную гитару «Les Paul» (*марка первой цельнокорпусной электрогитары*), и в приступе отчаяния разбил её на той же неделе, после того как мы с моим другом Гэри Фенчиком (*прим.ред.– Игрок американского футбола*) сходили на концерт Бадди Гая в Чикаго.

Затем я приобрёл белую «Fender Stratocaster» 1962 года, ранее принадлежавшую Эллиоту Истону из группы «Карз».

Мне удавалось ухватить там – аккорд, тут – песню, и довольно скоро я немного умел играть. Совсем немного.

Со временем я стал брать уроки игры на гитаре у моих друзей, например у Карлоса Сантаны, Эдди Ван Халена, Стивена Стилса, Алекса Лайфсона и Билли Сквайера.

Уроки игры на бас-гитаре я брал у Билла Ваймана из «Rolling Stones», а на фортепьяно – у легендарного автора песен Джимми Уэбба. Кроме того, я импровизировал со Стиви Рэй Воном, Бадди Гаем и Джо Кокером, а также с Ларсом Ульрихом из «Металлики» (его отец Торбен когда-то играл в туре и выступал в Кубке Дэвиса за команду Дании). Я бы с радостью сказал, что ко мне перешла капелька блеска этих удивительных музыкантов – но увы! Должен признать, что я продвинулся от ничтожества до... посредственности.

Теперь Татум переехала в другую мою квартиру на Восточной 90-ой улице, и когда дети были у неё или в школе, апартаменты были в полном моём распоряжении – все четыре этажа, не считая потрясающей двухъярусной башни с круговым обзором на Манхеттен. Я превратил эту башню в музыкальную студию. Мои приятели-музыканты, и великие, и совсем неизвестные, часто заглядывали ко мне поиграть джем (*прим.ред.– Музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определённого соглашения*), а я начал пописывать песни. Весной и летом я даже всучил несколько песен своим друзьям, которые работали в клубах Даунтауна (*прим.ред.– Даунтаун – центральная часть города, где расположены главным образом деловые объекты города*).

Моя деятельная натура скоро подтолкнула меня в совершенно новом направлении. Мэри Карильо (*прим.ред.– Теннисистка с которой Макинрой выиграл «Ролан Гаррос-1977»*) не подозревала, во что это выльется, когда весной 1977 года она таскала меня по парижским музеям. Как то субботним вечером 1980 года я пробежался по галереям Сохо вместе с Витасом, который в то время коллекционировал фотореалистов. Мы зашли в галерею «Мейзеля», где Витас купил несколько вещей, и я был в восторге от увиденного. Мне захотелось вслед за Витасом что-нибудь купить, но я удержался: я не хотел тратить большие деньги на то, в чём плохо разбирался. В результате, около года я ходил по выставкам и музеям в каждом городе, куда приезжал на турниры, и постепенно развивал свой вкус.

Я понял, что меня привлекают, в основном, новые американские художники – такие разнотипные, как Элис Нил. Я купил полотна фотореалиста Тома Блэквелла и постепенно делал другие приобретения.

Приближаясь к завершению карьеры теннисиста, я всё с большей ясностью понимал, что когда-нибудь, возможно, захочу открыть собственную галерею. Мне хотелось бы заняться этим бизнесом, но я не был уверен, что хочу связываться с куплей и продажей предметов, цена которых может резко подняться, а может и упасть, как кирпич с крыши. В 1992 году я купил жилой лофт (*прим.ред.– Помещение заброшенной фабрики, переоборудованное под жильё*) в старом здании чугунно-литейного завода на Грин стрит, в Сохо. Когда я стал жить один, я начал превращать этот лофт в галерею.

Хотя я и до этого покупал картины, я понимал, что у меня не получится с наскока преуспеть в содержании галереи. Я уже немного разбирался в живописи, но почти ничего не понимал в покупке и продаже предметов искусства. И вот в конце 1992 года Ларри Саландер предложил мне неоплачиваемую работу в галереях «Саландер – О’Райли» в Верхнем Ист-Сайде. Нельзя стать гитаристом без знания базовых аккордов, нельзя стать галеристом без знания всей подноготной этого бизнеса.

И всё же мне часто бывало одиноко. После разрыва с Татум у меня порой бывали свидания, но они оставляли после себя ужасающую пустоту, а в то же время я пока не был готов к чему-то более серьёзному. К тому же на эти свидания я ходил с опаской – я избегал всякой публичности во время развода. Развод обещал быть долгим и запутанным – если быть точным, он продолжался более 22-х месяцев.

На рождественские каникулы я забрал детей с собой в Малибу. Казалось бы, что может быть лучше Манхеттена на Рождество? Но в тот год мне всё казалось унылым, и всем нам хотелось побольше солнца и веселья.

Вскоре после приезда мне позвонила Лили Гросс, моя здешняя знакомая. Она сказала, что Корки Грейзер – бывшая жена кинопродюсера Брайана Грейзера – устраивает на Рождество праздник для своих друзей и их детей. Хочу ли я притащить туда свой выводок?

– Конечно, – ответил я. Это звучало заманчиво.

– Там будет Патти Смит со своей дочерью, – сказала Лили со значением, чуть интригуя.

Что ж, это было интересно. В восьмидесятые годы мне нравилась группа Патти Смит «Скандал». Её хит «Прощай» был тогда одним из моих любимых, и я знал, что недавно она выпустила сольный альбом, который разошёлся миллионным тиражом. Её голос казался мне сильным и сексуальным, я видел её клипы...

Это было интересно.

На празднике была толпа народу, множество детей, бегающих вокруг ёлки. Ёлка стояла около большого панорамного окна, выходящего на блистающий под солнцем океан – картина была слегка сюрреалистичной. Как обычно, было полно голливудских персонажей, несколько хорошо знакомых лиц, но меня влекло к Патти, которая казалась ни на кого не похожей.

Я сам из Нью-Йорка и всегда узнаю земляка – я тотчас же понял, откуда Патти родом. Она сказала, что выросла в Квинсе. Я ответил, что тоже оттуда. Патти переехала на побережье год назад, а её дочка Руби пошла в первый класс. Она “навечно” развелась с отцом Руби, музыкантом Ричардом Хеллом. Она приехала на запад не только из-за того, что готовит альбом с продюсером из Лос-Анджелеса, но ещё и потому, что жизнь одинокой матери с шестилетней дочерью в Даунтауне Манхеттена слишком богата приключениями. Она была свидетелем перестрелок и поножовщины недалеко от дома, ей пришлось дать пощёчину мужчине, который приставал к ней на улице, когда она вела Руби за руку.

У неё были все присущие выходцам из Нью-Йорка претензии к Лос-Анджелесу – бесконечный флирт и отсутствие искренности доводят её до бешенства – но у неё есть небольшой домик в каньоне Топанга, стиральная и сушильная машины, автомобиль, а её дочке нравится школа... Всё могло быть куда хуже.

Она мне понравилась с первого взгляда. За годы своей славы и бесславия я научился безошибочно определять, кто передо мной: восторженный поклонник, человек, которому от меня что-то надо или некто, считающий меня придурком. Патти не принадлежала ни к одним, ни к другим, ни к третьим. Она была искренна, умна и сексуальна, но она была женщина, не девочка. За её плечами был жизненный опыт и знание – что почём. Кроме того, я рвался в музыканты, а в этой области Патти производила на меня глубочайшее впечатление.

Итак, я рассказал ей о себе, просто и прямо. Она знала, кто я такой, поэтому я не стал вдаваться в историю, а рассказал о последних событиях в моей жизни. Я сказал, что интерьер в моём лофте в Сохо почти завершён, и через несколько недель я открываю свою галерею. Я рассказал о конце моей карьеры и о конце моего брака, о том, как я спал в одной кровати с детьми, как Кевин сказал мне, что я не должен больше плакать. Я не старался поразить её или вызвать жалость – я просто открывал ей свою душу.

Подбежал кто-то из моих детей и перебил нас. Мы одновременно улыбнулись. Я знал, что между нами возникла связь, и знал, что она тоже это знает. И в то же время мы оба считали, что серьёзные отношения – это сейчас не для нас (сами себе не признаваясь, что именно этого нам больше всего недостаёт). Все было слишком сложно. Даже улыбаться друг другу было сложно. Толпа развела нас по разным углам комнаты. Вскоре я увидел, как Патти, улыбаясь, разговаривает с каким-то незнакомцем – и тут же невзлюбил его. Поймав себя на этом, я покачал головой.

Вечеринка подходила к концу, и я не мог позволить Патти просто так уйти. Я проложил себе путь через толпу детей и родителей и предстал перед ней.

– Встретимся как-нибудь? – предложил я и постарался улыбнуться как можно веселее. – Я пробуду здесь ещё десять дней. Я

свободен до Нового года.

Она вздохнула:

– Завтра я уезжаю во Флориду. В Ки Вест. На самом деле я не хочу уезжать, но ничего не поделаешь – я обещала другу.

– Не хотите – так и не надо, – сказал я.

Она покачала головой:

– Если бы всё было так просто.

Мы смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Я не был уверен, что правильно понял её намёк, и не был уверен, был ли какой-то намёк вообще.

– Слушайте, – наконец сказала Патти, – я часто бываю в Нью-Йорке. Мне бы хотелось увидеть вашу галерею – возможно, я туда заскочу.

Теперь был мой ход, я ясно понял это позже. В тот момент я должен был достать бумажку и карандаш, записать свой телефон и вручить ей. Но я вдруг испугался, замкнулся – на тот момент я не был готов к переменам. Вместо этого я улыбнулся и кивнул:

– Это было бы замечательно.

Она улыбнулась в ответ, взяла Руби за руку и вышла из комнаты.

Глава 13

Если у кого-то и были сомнения, что моя профессиональная теннисная карьера закончена, то я развеял их в феврале 1994 года в Роттердаме на последнем, как оказалось, своём турнире. Там я проиграл в первом круге шведу Томасу Густаффсону, занимавшему на тот момент десятую строчку в рейтинге.

Но настоящее разочарование ждало меня в полуфинале парного разряда, где Борис Беккер попросту отбыл свой номер – и мы проиграли. Если бы я выиграл тот матч и следующий, то побил бы рекорд всех времён в парном разряде, принадлежавший голландцу Тому Оккеру (забавно, что чтобы достичь этого, в финале надо было бы побеждать голландскую же пару Пола Хаархуса и Якко Элтинха).

Мне было уже тридцать пять лет, и я на законных основаниях мог участвовать в соревнованиях для ветеранов и вскоре так и поступил, совершив свою первую поездку в Россию вместе с Боргом, Коннорсом и Виласом на турнир в Санкт-Петербург для четырёх игроков. Это была депрессивная и немного жутковатая поездка. Всё началось с того, что при посадке в салоне нашего самолёта «Аэрофлота» вдруг мигнули огни. Окончательное же отрезвление наступило, когда я обнаружил, что Эрмитаж, знаменитый художественный музей Санкт-Петербурга, не отапливается и изрядно обветшал, а вестибюль нашего отеля кишмя-кишит проститутками, более озабоченными тем, как бы им выбраться из России, чем возможностью подзаработать. Сам турнир был не менее странный. Казалось, организаторы не хотят пускать никого кроме своих друзей и членов их семей, отказывая в пропуске людям, которые стояли снаружи и могли себе позволить купить билеты. К сожалению, последних было не так уж и много. Мы играли в практически пустом зале (*прим.ред.– На пресс-конференции Макинрой выразил недовольство не только холодом в Эрмитаже, но и неправильным произношением своей фамилии в России: Макинрой вместо Макинроу*).

Намного успешнее прошёл мой первый – хотя надо признать, что он был бесплатный – музыкальный концерт в Париже во время Открытого чемпионата Франции. Янник Ноа (*французский теннисист – победитель «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разрядах*) начинал свою собственную карьеру в качестве певца и автора песен (в дальнейшем его записи стали во Франции бестселлерами) (*прим.ред.– 11 сентября 1992г во время первого выступления Янника Ноа в Нью-Йорке, Макинрой спел вместе с ним три песни*).

Он проводил первое из теннисно-музыкальных мероприятий в поддержку своей детской благотворительной организации, которые впоследствии стали проводиться ежегодно. Группа Джона Макинроя: ваш покорный слуга в роли ведущего вокала и на ритм-гитаре, молодёжь Крис Скьянни на ведущей гитаре и Рик Новатка на ударных и, – только в этой поездке, – Мэтт Крамер на бас-гитаре – выступила перед четырьмя тысячами человек!

Это было отличное начало моей рок-н-рольной карьеры, и дела пошли ещё лучше, когда через пару дней мы стали всего лишь вторым исполнителем (после, хотите – верьте, хотите – нет, «Принца»), выступившим вживую в Ла Бандуш – большом парижском ночном клубе. К моему изумлению, во время нашего выступления на сцену запрыгнул сам Джо Кокер (*английский певец, работающий в жанрах блюз и рок*) и спел вместе с нами несколько песен.

Я не был уверен, что мы пробьёмся наверх, но воодушевился, когда Серджио Палмьери (*директор международного турнира в Риме*) организовал в июле для нашей группы двухнедельные гастроли по Италии. Деньги были не очень большие: шестнадцать тысяч долларов на четверых. Но это были деньги. Мы играли не бесплатно, а как настоящая группа, с серьёзным графиком: двенадцать концертов за четырнадцать дней в Сардинии и приморских курортах на западном побережье полуострова.

Это были настоящие гастроли. В моём первоначальном плане для группы я был на втором плане. Опять же движущей силой было желание быть в команде: я просто хотел играть на ритм-гитаре, возможно, сыграть несколько сольников, поработать на подпевке, ну и всё. Идея состояла в том, чтобы моё имя и присутствие подкрепляли весомый вклад всей группы.

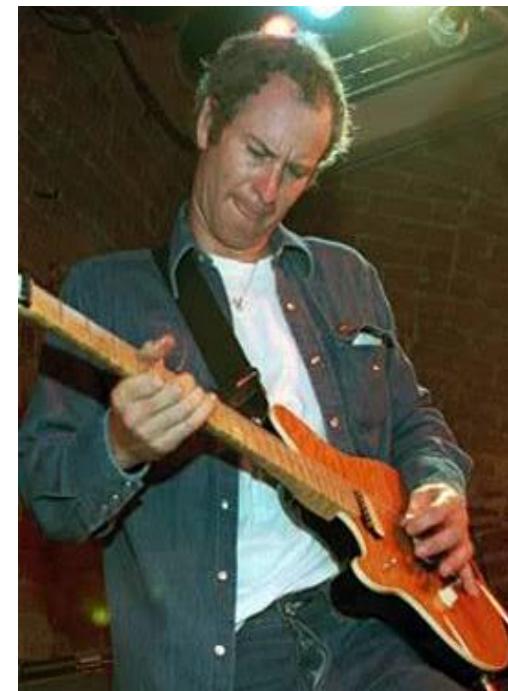
Одной из моих ошибок было то, что я предполагал – где-то есть хороший неизвестный певец, способный играть ведущую роль в группе, который будет рад возможности поработать со мной, считая что моя энергия, энтузиазм и скандальная слава приведут нас обоих к успеху.

Я никогда не мыслил себя в роли ведущего гитариста или певца. Когда дело дошло до выступлений я, как в той шутке про невозможность одновременно идти и жевать жвачку, не мог сконцентрироваться на том, чтобы одновременно петь и играть на гитаре. Я задерживал дыхание, потом вступал не вовремя или не в тон музыке или брал неверную ноту.

Я считал, что если мы будем гастролировать там, где люди не понимают по-английски, некие шероховатости будут не важны – зрители просто будут рады меня видеть. Они придут посмотреть на Джона Макинроя, который поёт и играет на гитаре. Я знал, что чтобы выйти на хороший уровень надо начать с плохого и ради этого был готов немного пострадать.

Но я не представлял себе масштаб этих страданий.

Когда мы репетировали в июне в Нью-Йорке, я привёл в группу нового человека, который гастролировал с несколькими серьёзными



рок-музыкантами. Я полагал, что его профессионализм станет тем самым “клеем”, который скрепит всю команду. Уже многие годы он был в завязке, но именно сейчас сорвался. Я не придавал этому особого значения до тех пор, пока мы не добрались до места нашего первого концерта в приморском городке Рапалло, в приятном клубе, где когда-то по слухам, выступал Фрэнк Синатра. Когда мы приготовились играть первый номер, я огляделся по сторонам и обнаружил, что наше связующее звено куда-то сгнуло.

Я обнаружил его в баре, уже изрядно поддавшего. Когда я сказал ему, что мы сейчас будем играть «Мне грустно» – простенький 12-тактный блюз, который мы играли уже десятки раз, он спросил меня в какой он тональности. Я растерянно моргнул:

– Ми.

– А какие смены ритма?

У меня всё внутри оборвалось. Когда ваш весьма опытный товарищ по группе задаёт такие вопросы, это означает, что назревают неприятности. Но я и представить себе не мог истинный масштаб этих проблем.

Он был нашим фундаментом. Без него мы не могли сделать мало-мальски пристойное представление. И если вы не верите в себя сами, в вас не поверит никто. Вскоре зрители потеряли к нам интерес. Нас освистывали, в нас чем-то кидали. Это было сущим кошмаром, а вскоре все стало ещё хуже.

Где-то в середине гастролей он пропал. По графику в полдень мы должны были отправиться на очередной концерт в Форте ди Марми. К половине второго его нигде не могли найти. На смену беспокойству пришёл цинизм. Мы попросили Катю Лесмо, ассистента Серджио, обзвонить все больницы и полицейские участки. Как и ожидалось, он обнаружился в реанимации местной больницы. Позже нам сказали, что полиция нашла его в бессознательном состоянии лежащим лицом вниз на тротуаре около ночного клуба. Он утверждал, что кто-то подмешал ему ЛСД в напиток. Поразительно, но в тот вечер он всё-таки сыграл на концерте! Рок-н-ролл воистину бессмертен.

Остаток гастролей стал для нас тестом на выживание. Наконец, после двух недель мучений мы улетели домой, поджав хвосты. Я не читал итальянские отзывы. Впервые в жизни я был рад, что не выучил иностранный язык.

В начале августа вскоре после того, как я вернулся в Нью-Йорк, мой развод стал свершившимся фактом. Я чувствовал, что забот у меня стало меньше, впрочем, как и денег на чековой книжке, но в сердце по-прежнему зияла дыра. Вскоре мне позвонила Лили, моя знакомая из Калифорнии. Она звонила, чтобы узнать, когда я собираюсь на запад, но, как только я услышал её голос, как-то само собой подумал о Патти Смит. Прошло уже семь месяцев с того момента, как я встретил Патти на Рождество, но с тех пор мы ни разу не разговаривали. Я всё надеялся, что она как-нибудь заглянет ко мне в галерею, но этого так и не произошло. Я даже ездил в Лос-Анджелес играть в выставочном матче, но так как в это время я типа встречался с кем-то другим, и, так как мы с Патти не виделись и не разговаривали, я решил, что всё равно ничего из этого не выйдет, и не стал ей звонить.

Ну и дурак же я был! Элементарно испугался. Я часто прятал свой страх под маской бравады либо показного безразличия, и это был тот самый случай. С того момента как мы с Татум разъехались, ни одна женщина не произвела на меня такого сильного впечатления, как Патти, так не запала мне в душу, и я просто боялся, что она мне откажет, стоит мне к ней подступить.

Так что в середине разговора с Лили я, как можно более небрежно обронил:

– А как там Патти Смит?

Небольшая пауза.

– Патти? Да всё у неё хорошо, – сказала Лили. В её тоне мне послышались какие-то нотки, которые я не мог толком расшифровать. У женской мафии свой секретный язык.

– У неё ведь кто-то есть, так же?

В голосе Лили вновь зазвучали странные нотки.

– Да вроде нет, – пропела она.

– Это интересно.

– Да что ты?

С тех пор эта мысль завладела всем моим существом, но я всё ещё побаивался, а я этого терпеть не мог. Я старался не думать о Патти, но безуспешно.

Я поехал на «US Open» комментатором-ветераном, у которого было за плечами четыре года опыта. Это был захватывающий турнир: первый сеяный Пит Сампрас в четвертьфинале неожиданно уступил Хайме Йсаге, а несеянный Андре Агасси победил Микаэля Штиха, выиграв чемпионат.

А неделю спустя Агасси обыграл я. Это произошло на выставке в Финиксе, через пять дней после того, как он выиграл «US Open», и я предполагал, что Андре подустал и был слегка на спаде – ну и что с того? Мне было 35, и я обыграл в теннисном матче 24-летнего победителя «US Open». Есть ещё порох в пороховницах!

Выставки довольно забавны: на них всегда присутствует некая неопределённость: то ли это забава, то ли серьёзный теннис. В данном случае, я думаю, Андре решил, что сможет убить сразу двух зайцев: приятно провести время, продемонстрировав, что я неплохо играю и, тем не менее, выиграть. Я понимаю, что вероятно, он в какой-то степени игрался со мной, но потом, когда он расслабился, я поддавил и дальше уже на кураже довёл дело до конца. Думаю, он был слегка раздражён после матча.

Я же, напротив, был весьма доволен собой. Хотя и был тёртый калач и знал, что я не был властелином Вселенной, выиграй я «Уимблдон», и ничтожнейших из тварей, проиграй я его, но мне нелегко не поддаться искушению основывать свою самооценку на достигнутых результатах.

Особенно в случае больших побед.

А эта победа казалось мне довольно весомой. Внезапно захотелось её отпраздновать. Добравшись тем вечером до гостиничного номера, я позвонил Лили в Лос-Анджелес и попросил у неё номер телефона Патти. Для этого пришлось собрать всю имеющуюся у меня на тот момент смелость. На следующее утро в аэропорту Финикса – перед выставкой в Мехико я направлялся на пять дней в Лос-Анджелес, где мне предстояло сыграть с Боргом и Герулайтисом – я набрал побольше воздуха в лёгкие и позвонил Патти. Не знаю почему, но мне казалось, что субботним утром я попаду на её автоответчик, точнее, в глубине души я даже на это надеялся.

Но трубку взяла она сама, слегка сонная и раздражённая.

– Патти? – спросил я. – Это Джон Макинрой. – Тут такое дело, я пару дней буду в городе – и подумал вот о чём, как вы смотрите на то, чтобы встретиться?

Крошечная пауза.

– Я только за, – ответила она. – Сегодня вечером я собираюсь на тусовку лесбиянок. Пойдёте?

Теперь настал мой черёд замолчать. Она что, на что-то намекает?

– Мм... конечно, – ответил я. – А вы уверены, хм, что это будет уместно, если я приду?

Она рассмеялась.

– Это не то, что вы подумали, – сказала она. – Просто у моей подруги день рождения, так уж получилось, что она лесбиянка. И там будет полно геев, но уверена, что там будут и люди традиционной ориентации. Если вам от этого станет легче.

Мне стало легче уже от одного того, что я просто услышал ободряющие нотки в её голосе.

Я заехал за ней в Топанга Каньон на закате, золотом тихоокеанском закате, и мы поехали по побережью на вечеринку. Было странно: мы не виделись восемь месяцев и теоретически нам было что обсудить. Но я всё ещё ощущал усталость от матча с Агасси и от перелёта с последующим вождением машины, и сил разговаривать просто не было. Я объяснил это Патти и извинился за свою молчаливость.

– Да ничего, – сказала она. – Я на самом деле тоже вымоталась.

Большую часть дороги мы молчали, но странность заключалась в том, что молчание было комфортным – как у давних знакомых, которым это не доставляет никаких неудобств.

День рождения оказался большой голливудской вечеринкой, на которой люди немного отличались от тех, которых я привык видеть на таких тусовках, но это определённо был Голливуд. Там был Бак Генри. И Том Скотт, саксофонист из Л-А Экспресс, со своей женой Линн – как оказалось, они были близкими друзьями Патти. Когда мы зашли вдвоём, все вдруг начали аплодировать: позже Патти рассказала мне, что давным-давно она решила отказаться от свиданий и всюду ходила с Томом и Линн. Дошло до того, что её стали называть “миссис Скотт номер два”. В тот вечер она позвонила и сказала: “Я приду не одна, и только угадайте, с кем?”.

Вечеринка была приятной, и я чувствовал себя там с Патти совершенно расслабленно. В какой-то момент мы сидели в гостиной в компании каких-то людей, и я приобнял её. На удивление, этот жест получился совершенно естественным. К счастью, Патти это вроде бы тоже понравилось.

Я начал зевать, и она шутливо подтолкнула меня в плечо:

– Это невежливо, – сказала она.

– Извините. Я уже совсем спёкся, – сказал я

– Наверное, лучше будет отвезти вас домой.

Я очень устал, поэтому попросил её сесть за руль. Она, слегка нехотя, согласилось.

– Зачем вы здесь живёте? – спрашивал я её по дороге. – Ваше место в Нью-Йорке.

Я говорил полушутя-полусерьёзно. Серьёзность заключалась в том, что мне хотелось проводить с ней больше времени, гораздо больше, но мои дети ходили в школу в Нью-Йорке, а Руби – здесь. Всё складывалось хорошо по многим направлениям, вот только логистика подводила.

Я высадил Патти около её дома, и мы долго целовались перед её входной дверью.

– Это было очень, очень приятно, – сказал я. – Я очень хочу снова с тобой увидеться.

– Ладно, – ответила она.

– Как насчёт завтрашнего вечера?

– Ого, ничего себе, какой ты приткий, мистер Макинрой.

– Не зря же мне платят такие бешеные бабки.

На следующий день мне нужно было лететь в Сан-Франциско на выставочный матч против Майкла Чанга, выручка от которого предназначалась его благотворительной организации в области залива Сан-Франциско. По дороге туда я всё время думал о Патти. Я поглядел на расписание самолётов и просчитал, что если матч закончится до восьми, я смогу полететь обратно в Лос-Анджелес и доехать до её дома. Я сгорал от нетерпения и был даже готов по такому случаю позволить Чангу размазать меня по корту.

Когда я добрался до зала, где должен был состояться матч, Майкл сообщил мне, что все билеты проданы. Это казалось хорошим знаком – все знаки были хорошими. Подумалось, что наконец-то удача повернулась ко мне лицом. Надевая в раздевалке теннисные туфли, я ощущал эйфорию.

И тут кто-то вошёл и сказал мне, что умер Витас.

Детали были неизвестны, но позже я узнал, что его тело обнаружили воскресным утром в гостевом домике Марти Рейнса в Саусгемптоне. Марти занимался строительным бизнесом, и мы с Витасом давно его знали. Я купил свою квартиру на 90-й улице через его фирму. Очевидно, Витас приехал в Хэмптонс, чтобы сыграть на благотворительном теннисном мероприятии, решил вздремнуть в домике Марти и не проснулся.

Меня как громом поразило. Ведь вот только в июле Витасу исполнилось 40 – он всё ещё был молод. Когда-то давно я сильно о нём беспокоился, но в последнее время он, казалось, наладил свою жизнь – стал внимательнее относиться к своему здоровью, и первые мои естественные подозрения как-то не вписывались в этот сценарий.

Витас Герулайтис и Джон Макинрой перед выставочным матчем, август 1994 года (Позже выяснилось, что Витас умер во сне от отравления угарным газом в результате неправильно подключённого обогревателя в домике у бассейна).

Я оцепенел. Думал только: “Боже, это ужасно. Этого просто не может быть”. В таком оцепеневшем состоянии я вышел на корт. Я что, собираюсь играть в теннис? Судя по всему, да. Я начал разминку с Майклом на автомате, как делал миллион раз до этого – форхенды, бэкхенды, удары слёта, над головой. “Мистер Макинрой выиграл подброс монеты и выбрал подачу”.

Всё так же в оцепенении я выполнил подачу. Эйс. 15-0. Снова подача. Снова оцепенение. 30-0. Ещё два очка. “Гейм, мистер Макинрой. Он ведёт один – ноль”.

Я просто не мог промахнуться. Не могу это объяснить. Я не пропускал ни единого удара. Сковывавшее меня напряжение испарилось. Ничего казалось не имеет больше никакого значения. Я заметил странное выражение лица у Майкла: он старался изо всех сил, но что бы он ни делал, против меня он был бессилен.

Я выиграл первый сет 6-4, набирая ход, и, не успев опомниться, повёл 5:1 во втором. Было пять минут восьмого. Я позволил Майклу приличия ради взять пару геймов, а потом матч был закончен – 6:4, 6:3. Я уничтожил Майкла Чанга, пятую ракетку мира. Обыграл его вчистую.

Я принял душ, оделся, поехал в аэропорт, и, чуть не опоздав на рейс, полетел в Лос-Анджелес. Добрался в Малибу к десяти и позвонил Патти.

– Можно мне прийти к тебе? – спросил я. – Мне очень нужно с тобой увидеться.

– Ну, сейчас как-то поздновато, – ответила она. – Я уже в пижаме. Почему бы тебе не прийти завтра?

– Мне нужно увидеть тебя немедленно, – сказал я.

– К чему такая спешка? – спросила Патти. – Почему тебе обязательно надо прийти сейчас?

– Потому что у меня есть предчувствие в отношении нас с тобой, а сегодня ночью умер мой друг, и мне очень нужно тебя увидеть, – сказал я.

– Ладно, – ответила она.

Я пришёл, и с тех пор мы не расставались.

Я снялся с показательного турнира в Мехико и оставался рядом с Патти вплоть до перелёта на восток на похороны Витаса на Лонг Айленде. Это был длинный день, окутанный пеленой слёз. Джимми Коннорс, Мэри Карильо и сестра Витаса Рута произнесли трогательные прощальные речи, посвящённые Витасу, но в тот момент, когда я мог встать и сказать что-нибудь сам, я не смог шевельнуться. О чём жалею и по сей день.

В ту неделю мы с Патти сблизились навсегда, но постоянная физическая близость (которая, как я понял, просто необходима в отношениях), установилась не сразу. В конце концов, она жила в Топанга Каньон, а я жил на Сентрал Парк Уэст. Руби начала ходить в четвёртый класс начальной школы Топанга, а Кевин с Шоном были соответственно в третьем и втором классе в Тринити, в то время как трёхлетняя Эмили только-только пошла в детский сад в Родеф Шолом на Аппер Уэст Сайд.

Это, может, и звучит как сериал «Семейка Брэди», но нам было не смешно. Начало выдалось нелёгким.

Какое-то время мы встречались, живя на разных концах континента: иногда Патти прилетала в гости на восток, а иногда я забирал детей на каникулы и вёз их в Малибу. Когда мы умудрялись встретиться, всё было замечательно, но порознь, что случалось большую часть времени, дела шли хуже. Даже когда мы встречались, то сталкивались с трудностями и приходилось приспосабливаться: любая пара знает, что нужно притереться друг к другу, а когда находишься за тысячи километров друг от друга, это очень сложно.

И более того. Сражение за право оставить у себя детей между Татум и мной было затяжным и неприятным. Большая часть его освещалась вездесущими таблоидами, что ещё более усугубляло проблемы, особенно для мальчиков, которые уже были достаточно взрослыми, чтобы понимать происходящее.

Татум пыталась добиться полной опеки над детьми, обосновывая это моей эмоциональной грубостью – проблемами с темпераментом, как будто у неё самой не было таких проблем – и моими частыми отлучками по теннисным делам, что делало меня плохим отцом.

Я возражал, что хотя я и путешествовал по делам, я больше не играл в профессиональном туре. Я прекратил играть в туре не потому, что моя карьера была на закате, а потому что понял, что никак не смогу быть нормальным отцом для своих детей, если буду проводить вне дома тридцать недель в году.

Вскоре после того, как мы разъехались, я попросил своего тогдашнего помощника сходить в общественную библиотеку Нью-Йорка и просмотреть все дела по детям при разводах, которые там имелись. В подавляющем большинстве случаев для детей было бы лучше, если бы отец проводил с ними как можно больше времени, но на практике происходило по-другому. Как показывали эти дела, совместная опека была наилучшим вариантом для детей как с той точки зрения, как дети переживали развод родителей, так и с той точки зрения, сколько времени с ними проводили мать и отец. Во время слушаний я постоянно говорил Татум: “Покажи мне хотя бы одно дело, где мать получила бы право полной опеки над детьми в том случае, если отец финансово независим и работает с девяти до пяти”. Не было таких дел.

Я проделал это исследование, потому что хотел найти подтверждение – для себя и для неё – тому, что я чувствовал сердцем: я не хотел быть отцом, разлученным со своими детьми. Даже после того, как суд принял решение о совместной опеке, мы постоянно конфликтовали по поводу деталей договорённости, и каждый раз, когда я говорил что-то недоброе, Татум угрожала новым опекунским процессом по поводу моих проблем с характером.

Вот во, что влипла Патти.

К тому же она вступала в отношения с человеком, всю жизнь стремившегося стать рок-музыкантом. Поначалу Патти не хотела разрушать моих иллюзий. В то время она даже написала для меня песню под названием «Хотела бы я быть тобой», где противопоставляла с неким удивлением моё увлечение музыкой и её неприятие этой затеи.

Практически с самого начала мне казалось чудесным совпадением то, что Патти Смит была ведущей певицей – именно то, что я искал с того самого момента как взял в руки гитару Лес Пол. Но чем больше я на неё давил, тем сильнее она сопротивлялась. Когда я впервые предложил: “Слушай, давай я сыграю в твоей группе?”, она ответила: “А почему бы нам не сыграть в миксте на «Уимблдоне»?”. Я тогда ещё подумал: “Боже, неужели я так плох?” Патти и в теннис-то не играла!

В своей собственной музыкальной карьере она зашла в тупик. Несмотря на успех её второго сольного альбома, названного её именем, в 1992 году (сингл «Иногда одной лишь любви бывает недостаточно», в котором она пела вместе с Доном Хенли из Иглз возглавил список хитов).

Патти почувствовала, что ей не хватает мотивации и надоело записываться. Она решила отдохнуть, чтобы хорошенько всё обдумать.

В начале наших отношений Патти попросили исполнить тематическую песню для фильма. В октябре 1994 года она записала «Посмотри, к чему привела любовь», которую записала совместно с Кэрл Байер Сэгер, Джеймсом Ингредом и Джеймсом Ньютоном Ховардом.

Эта песня была использована в теме к фильму Арнольда Шварценеггера «Джуниор», который вышел в прокат несколько месяцев спустя, и, вскоре после этого, к изумлению Патти, песня «Посмотри, к чему привела любовь» была номинирована на премию Оскар.

Затем нас ждало фиаско, становившееся, казалось, неизменным спутником всей моей музыкальной карьеры. После моих многочисленных приставаний по поводу совместных выступлений Патти решила пойти на небольшую уступку. К моей величайшей радости, она сказала, что позволит мне сыграть на акустической гитаре аккомпанемент к её исполнению песни «Посмотри, к чему привела любовь» на телетрансляции с вручения премии Оскар – перед миллиардной аудиторией!

Я выучил зубок эту песню, отрепетировав её вдоль и поперёк с бас-гитаристом из своей группы Джоном Мартарелли, очень

хорошим гитаристом. Патти вместе с Руби поехали на восток на школьные каникулы, а потом мы вместе со всеми детьми полетели на запад на большую трансляцию.

По расписанию мы должны были репетировать в день прилёта. Наш самолёт приземлился чуть раньше положенного срока, и мы решили перед репетицией в студии отвезти детей на пляж. Однако мы задержались, опоздали и были встречены на входе режиссёром трансляции Гилом Кэйтсом, который сказал нам, что оркестр уже отрепетировал песню.

– Вы репетировали песню без певца? – спросил я, не веря своим ушам.

Кэйтс как-то странно посмотрел на меня, но ничего не ответил.

Я повторил вопрос, на этот раз с большим напором. И опять Кэйтс промолчал.

– Пошли отсюда, – скомандовал я Патти.

По дороге обратно я похвалил себя за сдержанность, но Патти посчитала, что я устроил сцену на пустом месте. В тот же вечер нам позвонил помощник Кэйтса и сказал, что если я намерен играть с Патти, то её заменят на трансляции на Джеймса Инграма. По словам помощника я являлся “отвлекающим фактором”.

Патти решила, что я не стану никого отвлекать. Она будет петь, а я буду смотреть. Вечером, когда состоялась трансляция, я гордо сидел в пятом ряду и нервничал гораздо больше, чем, если бы играл сам. Патти спела прекрасно, но победил Элтон Джон с песней «Можешь ли ты сегодня почувствовать любовь» из фильма «Король Лев».

Спустя месяц – “Посмотри, к чему привела любовь” – мы ожидали прибавления в семействе.

По множеству причин мы не горели желанием пожениться. Патти просто не знала, что такое счастливый брак. Её мать бросила отца, когда Патти была совсем ещё маленькой девочкой, так что она никогда не жила в полной семье. Вдобавок отец умер, когда ей было всего восемь лет. С отцом своей дочери Патти рассталась, когда Руби была ещё младенцем и, как и её собственная мать, научилась справляться сама. Это было то, что она знала и к чему привыкла.

А о своих причинах я уже рассказывал. Когда вы прошли через боль, трудности, лавирование, адвокатов и тяжёлые эмоции, связанные с горьким, долгим разводом, ощущение такое, как будто вы прошли через семь кругов ада. Вы не можете сдержать зависти, слыша истории спокойных разводов, когда вы встречаете мужчин, которые говорят: “У нас с бывшей женой хорошие отношения”. Где-то в глубине души вы думаете: “Да ни в жизнь!”. И лучший способ избежать всего этого состоит в том, чтобы никогда не жениться.

Внебрачные дети тоже всё усложняют. Но мы с Патти были намерены связать свои жизни друг с другом. Я твёрдо решил, чтобы буду ей верен. Мне казалось, что альтернативы этому просто нет. И пусть я даже стану аномалией в кругу женатых теннисистов-мачо, то так тому и быть.

В сентябре Патти и Руби переехали ко мне в Нью-Йорк. Мы были семьёй из четырёх, а периодически и из семи человек. Большая квартира больше не пустовала.

Конец 1995 года принёс с собой маленькое достижение и большое чудо. Маленькое достижение заключалось в том, что побывав на гастролях на Гавайях, в Японии, Южной Америке и США, моя группа стала самой “разъездной” группой в истории музыки, не заключившей ни с кем контракта!

Чудом стало рождение 27 декабря Анны Смит Макинрой. За девять недель до окончания срока беременности Патти почувствовала

боль в животе. Ощущение было такое, будто она потянула мышцу, но через день или два ребёнок перестал шевелиться. Мы поехали к врачу, чтобы перестраховаться, а в результате Патти госпитализировали в больницу Леннокс Хилл. Две недели она сумела продержаться, чтобы плод продолжал своё развитие, а потом доктора сказали, что медлить больше нельзя.

Анна родилась на семь недель раньше срока в разгаре самой снежной зимой в истории Нью-Йорка и провела первый месяц своей жизни в Леннокс Хилл. Наконец, поблагодарив всех докторов и персонал больницы, и неласково обошедшись с папарацци, дежурившими на входе, мы с Патти принесли Анну домой.

В октябре 1996 года я стоял в гостиной ничем не примечательного дома, такие обычно бывают у людей среднего класса, в тихом пригороде Йоханнесбурга в Южной Африке и жал руку Нельсону Манделе. Я запоминаю рукопожатия, особенно важные. Мохаммед Али и Ларри Холмс разочаровали меня слабой хваткой, как у дохлой рыбы. Возможно, боксёры берегут свои руки. Пит Роуз и Джо Тайсман чуть не сломали мне пальцы. Но Нельсон Мандела не был похож на остальных. У него была большая рука, мягкая, но сильная. Это трудно объяснить, но у меня было ощущение, что от его руки исходит какое-то волшебное тепло.

Это была моя первая давным-давно задуманная поездка в Южную Африку. Я приехал туда для выступления в ветеранском турнире, и со мной была Патти. Там также были Бьорн Борг и Янник Ноа, который – и в этом я думаю, была некая справедливость – и выиграл турнир. Патти, Бьорн со своей девушкой, Янник со своей тогда ещё женой и ещё несколько человек стояли в гостиной дома Манделы. Но он пожимал руку именно мне и говорил, какая это честь для него встретиться со мной.

Мне пришлось сдержаться, чтобы не оглядеться по сторонам и не спросить: “Кому вы это говорите?”. Я знал, хоть и не мог до конца в это поверить, что он разговаривает со мной. Мы сели на диван и поговорили несколько минут. Он сказал, что слышал, пока был в тюрьме в Роббен Айленд, как я в 1980 году отказался играть в Сан Сити. И затем сказал поразительную вещь: что он вместе с другими узниками слушал трансляцию моего уимблдонского финала 1980 года против Борга. У меня аж мурашки побежали по коже. Но я знал, что основной причиной того, что я сижу на диване господина Манделы, было моё инстинктивное решение за пятнадцать лет до того поступить по зову совести, не соблазнившись деньгами. Иногда наши поступки действительно не проходят бесследно.

Конец 1996 года выдался непростым: у моей бывшей жены продолжались проблемы с наркотиками, и Кевин, Шон и Эмили, которые проводили тогда с нами много времени, очень о ней беспокоились. Бывали дни, когда я уезжал на соревнования ветеранского тура – это стало случаться всё чаще – и Патти приходилось одной управляться с пятью детьми в возрасте от двух до двенадцати лет. Ей приходилось ходить на школьные собрания в слегка помпезную школу для мальчиков Тринити, и она чувствовала себя не в своей тарелке.

– Это слишком странно, – говорила она мне. – Я такая вся рокерша-подружка – и в Тринити. Я не могу всем этим заниматься и оставаться всего лишь твоей подружкой.

Тем временем мои дети спрашивали Патти, собираемся ли мы пожениться.

Я давно уже увливал от всех разговоров о женитьбе. Обычной моей тактикой было сменить пластинку, но в этот раз пластинку заело. Этот вопрос нужно было решать.

Вперёд и только вперёд – я решил. Я любил её. С кем ещё я хотел бы провести остаток своих дней? Должен признаться, что моё предложение не было каким-то сногшибательным. Да, я встал на колени, но это было перед нашим стареньким холодильником «Тролсон» на кухне. Я снял кольцо, которое я ей подарил в начале наших отношений, и, держа его в руках, спросил, согласна ли она

выйти за меня замуж.

Патти сказала да.

И я тут же добавил: “Мне ведь не надо дарить тебе ещё одно кольцо?”. Деликатность – моё второе “Я”.

Однако всё хорошо, что хорошо кончается: я вручил ей кольцо для помолвки, как положено, на Рождество, которое мы отмечали в Сан-Валли.

Мы решили устроить очень маленькую свадьбу, пригласив только близких членов семьи и только тех друзей, которые смогут быстро приехать. И мы собрались пожениться на острове Мауи, на Гавайях, чтобы провести там медовый месяц.

Примерно через неделю после этого позвонил Бьорн и предложил сыграть с ним показательный матч в Хьюстоне. Я сказал ему, что соглашусь, если он со своим одиннадцатилетним сыном Робинотом приедет ко мне на свадьбу. Я подумал, что это будет хороший повод познакомиться для наших детей, а заодно и мы с Бьорном сможем пообщаться. На том и договорились.

Моя врождённая сдержанность и хорошее воспитание не позволяют распространяться о подробностях моей холостяцкой пирушки. Скажу лишь, что помню оттуда две вещи: стриптизёрши были уродливы, а выпивка текла рекой. Если целью этого мероприятия было то, что на следующее утро я был совершенно разбитым, то вечеринка увенчалась грандиозным успехом. Думаю, что доконали меня сигары.

Тем не менее, я был в состоянии улыбнуться и сказать “Да” на следующий день, 23 мая 1997 года, под навесом на лужайке дома наших старых друзей Либби Титус и её мужа Дональда Фэйгена из группы «Стили Дэн».

Навес был ограждён растительностью, скрывавшей церемонию от назойливых фотографов таблоидов со специальными объективами, которые устроились в лодках чуть вдалеке от берега. В тот день лил проливной дождь, и я внутренне улыбнулся: отчасти оттого, что заставил фотографов помучаться, но ещё и оттого, что дождь приносит удачу молодожёнам.

На этот раз я был доволен.

Хоть теперь мы и носили кольца, без шероховатостей не обходилось – впрочем, у какой счастливой пары их не бывает? Причиной одной из самых больших проблем был я сам, точнее, мои настойчивые попытки стать рок-музыкантом.

Я полагал, что моё увлечение музыкой приносит свои плоды. Я был доволен: счастлив, что женился и что женился на Патти Смит. Я брал уроки вокала и писал музыку. Поменял название своей команды на «Джонни Смит Бэнд» в честь Патти. Я нанял несколько настоящих музыкантов и настоящего продюсера Эдди Крамера, который славился тем, – и для меня это было лучшей рекомендацией – что работал вместе с моим любимым исполнителем: левшой Джимми Хендриком. Я сделал несколько записей. Мы продолжали давать концерты.

Реакция зрителей была получше, чем на том злополучном итальянском туре. Слегка получше. (На одном из концертов люди стали кидать в нас теннисные мячи. На другом после первой песни кто-то из зрителей выкрикнул в наш адрес: “Позорники!” – и наша аппаратура взорвалась. Был ли это Божий промысел?)

Теперь, когда мы были женаты, все наши дети большую часть времени жили с нами. Анна подрастала. Патти всё меньше нравились мои музыкальные амбиции. Её раздражало (по делу!), что я играю в ветеранском туре, одновременно занимаясь своей художественной галерей и играя на концертах со своей группой, в то время как она дома занимается своим ребёнком, нашим общим ребёнком и моими собственными детьми. Она чувствовала, что музыка отвлекает меня от дома, тогда как именно дома я и был ей нужен больше всего.

В один прекрасный день она мне сказала: “Знаешь, ты делаешь то, что должна делать я. Это не твоя работа, а моя. И у меня нет даже пяти минут подумать о своей работе, потому что тебя нет дома, и ты занимаешься пятнадцатью другими вещами”. Патти посмотрела мне в глаза: “Ничего не выйдет. Ты не сможешь продать море записей. И люди не решат вдруг, что ты великий музыкант. Настало время остановиться”.

Я упрям, и ещё некоторое время продолжал играть. То был скорее отпор, а не ссора. Потом пошли ссоры, и я умолял её спеть со мной на наших концертах. И как-то раз на тусовке в парижском клубе во время «Ролан Гаррос», она сдалась и поднялась на сцену. И на середине её песни я пошёл в зал вместе со своей гитарой, не ведая, что нельзя отвлекать внимание зрителей от певца.

Бесследно это не прошло. В конце концов, Патти сказала мне так: “Во-первых, я никогда не работала с тем, с кем у меня были отношения, и не собираюсь. Во-вторых, Бог не захотел, чтобы ты был одним из величайших теннисистов в истории, а затем вдруг стал Китом Ричардсом. Ну, не сложилось”.

Я посмотрел на себя в зеркало и понял, что она права. У меня по-прежнему есть гитары, я всё ещё порой импровизирую со своими друзьями, но с концертной деятельностью покончено раз и навсегда. Да, мир может вздохнуть с облегчением.

Глава 14

Ещё в 1993 году Джимми Коннорс организовал тур чемпионов для игроков старше 35, достигших высоких результатов в ходе своей профессиональной карьеры – тур, который ещё называют ветеранским. Джимми, который был совладельцем тура вместе с предпринимателем Рэйем Бентоном, в том году по-прежнему набирал очки в рейтинге АТР и даже в возрасте 41 года был непростым соперником, почти не потерял в скорости и по-прежнему безумно хотел побеждать. Соответственно первые несколько лет в туре ветеранов он направо и налево громил почти всех. А потом появился я. Первый раз я принял участие в турнире ветеранского тура в апреле 1995 года в Москве и выиграл. Но жизнь у меня была такая запутанная, что первые пару лет я смог поучаствовать всего в нескольких турнирах, а Джимми, будучи совладельцем, участвовал в них постоянно, собирая урожай побед. Однако когда мы с Патти поженились, и моя жизнь немного устаканилась, я начал всё больше играть и всё чаще выигрывать.

Патти задала мне правильное направление. Заметив, как плохо я воспринимаю поражения, она сказала: “Если ты собираешься играть в туре, играй как следует”. 1998 год выдался отличным, я обошёл Коннорса и выиграл больше всех турниров. Джимми это не понравилось. У нас с ним всегда были сложные сопернические отношения, начиная с нашей первой встречи в раздевалке «Уимблдона» и вплоть до сегодняшнего дня. Джимми – странный человек: сейчас он твой лучший друг, а через минуту уже с тобой не разговаривает. Он живёт своей жизнью, сумев избежать подводных камней, присущих жизни знаменитостей – по большей части ему удалось остаться вдали от света софитов и заработать при этом большие деньги (в 1997 году он в итоге за кругленькую сумму продал свою долю в ветеранском туре концерну «Интернэшнл Менеджмент Груп» (*International Management Group*), сохраняя, тем не менее, контроль над составом участников в тех турнирах, в которых он играл сам.

Джимми был по-настоящему азартной натурой. Существует даже легенда, что несколько лет назад он играл с Мартиной Навратиловой и обязался использовать только один вид подачи, а ей можно было использовать и коридор. Он поставил на кон весь свой гонорар за участие в турнире на свою победу в двух сетах – и ведь победил. Мне всегда казалось, что их с Питом Роузом разлучили во младенчестве, только Джимми достиг куда большего. Наши разногласия дошли до точки в сентябре 1998 года на финале в Далласе в

матче, который стал одним из самых интересных из всех сыгранных мной в ветеранском туре. Стояла жуткая жара, он вёл в первом сете 3-2. Мой мяч попал в аут, во всяком случае, так сказал судья на линии. Вы уже знаете, что случилось потом? Я подошёл к судье на вышке и повёл себя в своём репертуаре – согласитесь, это уже практически входит в цену билета. Публика даже разочаровывается, если я хотя бы раз не взорвусь за время матча (смешно то, что раньше меня штрафовали, когда я выходил из себя, а сейчас – если я не выхожу из себя). Но в данном случае я был искренне вне себя, так как Коннорс на том этапе был моим основным соперником, и мне совсем не улыбалось, чтобы он так влёгкую выиграл очко. Я настаивал на своём, но судья на вышке так и не присудил мне очко. И надо же было такому случиться, что как раз в тот момент, когда Коннорс уже вернулся на свою половину корта и приготовился подавать, кто-то выкрикнул:

– Джимми, играй честно!

– Кто это сказал? – заорал он в ответ.

Но никто не признался. Джимми кипел, а потом, походив минуту туда-сюда, бросая грозные взгляды на зрителей, предложил:

– Пусть тот, кто это сказал, поднимет руку!

Никто руку не поднял, и тогда руку решил поднять я. Мне просто хотелось подшутить (ну, для разнообразия), чтобы разрядить ситуацию, но Джимми почему-то не развеселился.

– Всё! – закричал он, – с меня хватит!

Он последовал к своему стулу, схватил сумки и прошествовал прочь с корта. Наступила мёртвая тишина. Никто не знал, что же делать дальше. Прошло несколько минут. В конце концов, судья на вышке сказал:

– Коннорс дисквалифицирован. Гейм, сет, матч – Макинрой.

Публика негодовала, но никто и не думал уходить. Все нервничали. И я не исключение. Я стоял и не знал, что делать. Мне не хотелось, чтобы всё вот так закончилось. Спустя несколько минут я снова услышал:

– Гейм, сет, матч – Макинрой.

Вся эта ситуация начинала меня раздражать. И тут какой-то парень из публики выкрикнул:

– Вот поэтому-то от тебя и ушла жена!

Я выругался. Ситуация выходила из-под контроля, но при чём тут я? Я взял микрофон у судьи на вышке и сказал:

– Послушайте, мне не нужна такая победа, я готов играть. Я официально заявляю, я не хочу, чтобы меня засчитали победителем из-за дисквалификации соперника. И я готов ждать, пока он не вернётся.

Джимми по-прежнему не было. Тем временем тот парень на трибунах продолжал оскорблять меня. Я подумал: “Нет, я не собираюсь это терпеть”. Я пошёл в раздевалку – Коннорс сидел на стуле. Я сказал:

– Джимми, что происходит? У нас бывали стычки и похуже. В чём дело? Он ответил:

– Да мне просто надоело. Я слишком стар для всего этого дерьма. Мне это попросту больше не нужно. Тогда я сказал:

– Слушай, ну давай не будем. Это же, прямо скажем, не «Уимблдон», это ветеранский тур!

Я напомнил ему, что нас ждёт три тысячи человек, которым не терпится досмотреть финал – не можем же мы их оставить

практически ни с чем после каких-то 20 минут игры.

– Забудь, не пойду я играть.

Но я видел, что он начал слегка смягчаться. Я поговаривал его ещё немного:

– Ну давай, Джимбо, пойдём на корт и сыграем! Он странно на меня посмотрел и сказал:

– Ладно, я буду играть, если ты выиграешь со счётом 6-3, 6-2. Что?! Услышать такое от самого Джимми Коннора? Может, он хотел меня запутать? Я ответил:

– Забудь, пошли на корт играть.

На выставочных матчах и раньше бывало, что когда один из нас чувствовал себя неважно, первый сет в матче мы играли в полную силу, потом тот, кто выигрывал первый сет, проигрывал второй, а потом мы разыгрывали третий. Таким образом мы старались развлечь публику, чтобы у них не осталось чувства, что они зря пришли на матч. Ни у одного из нас не было ни малейшего желания просто выйти на корт и разыграть выставочный матч со счётом 6-1, 6-2. Нет, всё было по-другому. Мы по-настоящему боролись – мы играли. Но Джимми был неумолим. Он улыбнулся улыбкой азартного игрока.

– Хорошо, один сет выиграешь ты, один сет – я, но победа останется за тобой. Я не знал, что и думать:

– Слушай, давай просто сыграем, а?

Но он не ответил – просто взял сумку и зашагал на корт. Под громкие аплодисменты. Мы сыграли первый сет – дело дошло до тай-брейка, который остался за мной. Мы показывали очень даже неплохой теннис. Джимми вернулся в игру. Затем во втором сете он снова начал проигрывать. Он потерял концентрацию. Он даже не садился на перерыве при смене сторон, громко рассказывая мне:

– Я собираюсь слить матч, надоело, буду просто стоять, и делать двойные ошибки.

И все это слышали. Ужасно неловкая ситуация. А потом вдруг (вечно это “вдруг”) Джимми начал лупить удары на вылет, выигрывая очко за очком. Причём не то чтобы он прилагал какие-то особенные усилия – такое впечатление, что он внутренне поставил на матче крест, тем не менее, когда у него начали проходить удары, он вошёл во вкус. В итоге он выиграл матч на тай-брейке в третьем сете. Когда игра закончилась, я сказал себе: “Ни за что не пожму ему руку”. Но когда я поднял глаза, то увидел, что он уходит с корта, не предложив пожать руку мне! И здесь он меня переплюнул. А публика принимала всё это за чистую монету. Я так расстроился из-за произошедшего, что даже не пошёл на пресс-конференцию (опасаясь, что скажу что-нибудь, о чём потом буду сожалеть – т.е., например, расскажу, что случилось на самом деле) и сразу поднялся к себе в номер. Матч начался в два, а в пять у меня был рейс на самолёт. При нормальном раскладе у меня должна была остаться куча времени, чтобы успеть на самолёт, но из-за задержки и прочего бреда я опоздал. Причём до этого я же пообещал детям, что “Папа будет дома вечером, утром он отвезёт вас в школу”, и теперь просто кипел. Чтобы улететь домой, мне пришлось ждать до утра, а когда я в аэропорту Далласа купил газету, увидел, что заголовки гласили: «Джимми спас положение!».

Мы с Джимми были главными козырями в ветеранском туре: многие годы Борг то участвовал в нём, то нет, но по большей части он был не в состоянии набрать свою прежнюю форму и выигрывать. Теперь же, когда Джимми тоже начал терять интерес (кроме того, ему вот-вот должно было исполниться 46), бремя ответственности за тур всё больше ложилось на мои плечи. Я не возражал стать гвоздём программы, да я и любил соревнования (а также деньги, которые они приносили), но в то же время я был обеспокоен. Мне казалось, что у этого тура есть будущее, что теннису необходим турнир, где могли бы встречаться ветераны. Однако когда набираешь людей в тур,

очевидно, что далеко не все в нём будут спортсменами одного уровня. Я играл множество матчей против соперников, которых я побеждал, и которым было совершенно всё равно. Всё чаще и чаще я выходил из себя и не знал, то ли я вёл себя так, потому что этого от меня ждали, то ли я действительно был не в состоянии себя контролировать. Иногда я чувствовал себя словно в цирковом представлении, которое вызывало все меньше и меньше интереса. Мне хотелось чего-то большего.

И, о чудо из чудес, мои желания начали сбываться. В июне 1998 Патти снова забеременела, но начиная с декабря за ребёнка пришлось бороться: на этот раз врачи сказали, что последние четыре месяца Патти нужно будет провести лёжа на спине. В начале 1999 года Татум проходила курс реабилитации от наркотиков, Кевин, Шон и Эмили нервничали за состояние здоровья своих матерей – обстановка в доме Макинроев накалялась. Мне пришлось отказаться от поездок на турниры и выставочные матчи. Первый раз в жизни на мне оказалось пятеро детей. К нашему огромному облегчению, 28 марта 1999 года в больнице Леннокс Хилл у нас родилась здоровая девочка Ава Чарли Макинрой весом 7 фунтов 11 унций. Теперь в нашей семье стало 8 человек. Восемь! Я вспомнил то время, когда я юный и свободный профессиональный теннисист страстно мечтал о детях. Будь осторожен со своими желаниями... Мне нравилось быть отцом. Но быть отцом означало самый тяжёлый труд из всего того, чем мне доводилось заниматься в жизни. Когда у тебя дети разных возрастов: от совсем малыша до подростков, ты чувствуешь себя словно заведующим лабораторией, проводящей множественные эксперименты, все опасные и легко возгорающиеся, но вполне возможно жизненно важные взрывоопасные, но жизненно важные. Каждый день преподносил ситуации, которые довели бы до белого каления и святого, а что уж говорить о Джоне Макинрое. Конечно, временами я не выдерживал (да и сейчас такое случается), но когда ты несёшь ответственность за других, а тем более за маленьких, приходится быстро учиться способам овладеть собой. Как бы тебе ни хотелось выпустить пар, на первом месте всегда оказываются потребности тех, кто от тебя зависит. В сорок лет я все ещё работал над собой. И – подумать только – делал успехи!

В этом году я ехал в «Уимблдон» с новой задачей. Наряду с TV обязательствами я собирался снова сыграть на турнире в миксте – впервые с 1979 года. Я был взволнован: ведь мне предстояло играть в паре с легендарной теннисисткой всех времён и народов – самой Штеффи Граф. Столько лет агент Штеффи говорил моему агенту о её желании сыграть со мной в миксте. Я же всегда отвечал:

– Если ей так хочется со мной сыграть, пусть сама мне и позвонит. За две недели до этого мы совершенно случайно столкнулись друг с другом на «Ролан Гаррос» в зале для игроков во время её финального матча с Мартиной Хингис, когда в игре наступил перерыв из-за дождя – я как раз его комментировал. Во время нашего разговора мать Штеффи, Хайди, сказала:

– Ты знаешь, Штеффи всегда мечтала сыграть с тобой в миксте на «Уимблдоне». – Штеффи, это правда? – спросил я.

– Да, – ответила она. Тогда я сказал:

– Хорошо, давай сыграем, но у меня два условия: давай постараемся сыграть как можно лучше и доведём дело до конца.

Казалось, что нашу игру предвкушали с большим нетерпением. Матчи в первых кругах шли при заполненном стадионе, зрители были полны энтузиазма, и мы играли на славу. В четвертьфинале мы встретились с Винус Уильямс и Джастином Джимелстобом, которые за год до этого выиграли два турнира «Большого шлема» в миксте. В первом гейме я подавал и



заметил, что Винус стоит в корте на приёме. Меня это повеселило. В первом гейме я подал три невозвращаемых подачи: одну в корпус, другую глубоко по линии и третью прямо по средней линии. Я видел, что она хочет принять мою подачу с размахом и на смене сторон я даже похвалил её:

– Мне нравится, как ты стоишь на приёме, – сказал я ей, – может, встанешь ещё ближе? Теперь это развеселило и Штеффи.

Мы были так раскованы, что наряду с полной энтузиазма поддержкой зрителей, которые до отказа заполнили Центральный корт, это помогло нам выйти в следующий круг в двух сетах.

В полуфинале мы должны были играть с Йонасом Бьоркманом и Анной Курниковой. Все подходили ко мне – и знакомые, и незнакомые – взволнованные предстоящим матчем. В четверть шестого дня я вышел из будки «NBC» (*мировая телевизионная сеть со штаб-квартирой в Нью-Йорке*), ужасно огорчённый из-за того, как я тускло, как мне казалось, провёл трансляцию, но я сказал себе: “Послушай, забудь об этом. Подумай лучше о победе в ещё двух матчах в миксте на «Уимблдоне»”. И тут помощник продюсера передал мне записку, в которой было написано: “Позвони Штеффи”. Я позвонил ей из раздевалки. Её голос звучал несколько приглушённо:

– Джон, прости. Для меня это слишком большая нагрузка, да и сейчас уже чересчур поздно – я снимаюсь с игры.

Она сказала, что ей нужно побережиться для завтрашнего финала. Раз в жизни я даже не нашёлся, что сказать, я потерял дар речи. Пять минут я просто сидел, не в силах сказать ни слова. А потом начал злиться. День подходил к концу, и в раздевалке, кроме меня, было всего двое. Я повернулся к ним и сказал:

– Нет, вы только представьте, как эта стерва со мной поступила?! Этими двумя были Андре Агасси и его тренер Брэд Гилберт. Как оказалось, я многого не знал. Только позже мне стало известно, что эти двое, скорее всего, ещё до меня были в курсе решения Штеффи сняться с микста. Андре и Штеффи уже начали втайне встречаться и именно в тот день собирались поужинать вместе. Не знаю, перевесило ли её желание увидеть Андре желание играть в нашем матче, но раз они поженились (2000г.) и родили детей, я их – так уж и быть – прощаю.

Великолепным днём, 10 июля 1999 года, я стоял перед 4000 человек на просторной лужайке «Международного зала теннисной славы» в Ньюпорте, на Род-Айленде.

Я был на седьмом небе от счастья с преисполненным чувством огромной благодарности. В этот день меня приняли в «Зал», и так как у меня всегда было очень острое чувство принадлежности к истории игры, этот день значил для меня не меньше, чем любой другой день в карьере. Меня попросили сказать речь на четыре-пять минут. Как частенько случалось со мной в прошлом, я проигнорировал совет официальных лиц. Доктор Эрик Хейден, выдающийся конькобежец, олимпийский чемпион (и мой друг, с ним меня познакомил мой старый приятель по колледжу Кенни Марнерум) предоставил мне слово, представив меня так:

– Он является, наверное, самым противоречивым игроком в современном теннисе. Он вывел нитье на новый уровень. Думаю, нам нужно повременить с тем, чтобы принимать его в «Зал теннисной славы», пока он не принесёт свои извинения.

И тут меня понесло – и несло 45 минут.



– Вы тоже считаете, что я должен извиниться? – обратился я к зрителям. – Не-е-ет! – ответил хор из четырёх тысяч человек. – Я так и думал! – сказал я. – К чёрту их всех! На лужайке были и мои родители, Марк с женой Дианой, их трое детей, мой брат Патрик. Конечно же, Патти, которая прекрасно выглядела в белом платье, она держала на руках малышку Аву, рядом стояли красавица Руби, Кевин и Шон, которым очень шли их синие блейзеры, чудесные Эмили и Анна.

Были и множество других гостей, которые много для меня значили: Питер Флеминг, бывший мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс, Даг Сапуто, Тони Палафокс, старый друг по Стэнфорду Билл Мейз. Я поблагодарил родителей за то, что они привели меня в эту великую игру – теннис, воодушевляя и поддерживая меня на этом пути. Я поблагодарил Рода Лэйвера за то, что он стал для меня источником вдохновения. Я упомянул всех – тех, кто был с нами, и тех, кто уже покинул наш мир, всех тех, кто сыграл важную роль в моей теннисной карьере: от Тони до покойного Гарри Хопмана, от Юджина Скотта до Тони Траберта и покойного Артура Эша. Я упомянул покойного Фрэнка Хаммонда и выразил свою убеждённость, что он должен быть в Зале славы. Я назвал Питера Флеминга идеальным теннисным партнёром и идеальным другом. Я отдал должное моим великим соперникам Боргу и Коннорсу. Я даже упомянул самого Господа Бога.

– Если вы верите, что над нами кто-то есть, – сказал я, – то тот человек, там наверху, почему-то хотел, чтобы я играл в теннис... Хотите верьте, хотите нет, но думаю, Бог неплохо проводил время, наблюдая за моими выходками... Я никогда, думаю, не умел скрывать свои чувства. Мой запал и способность выкладываться на корте, думаю, всегда были на виду. Но по большому счёту, я не думаю, что кто-то особенно бы убивался, если бы я не смог играть. Я так и не смог избавиться от ярлыка «Второго Настасе или Коннора». Нет, я не считаю, что я столь же плох, как они, но я был очень к этому близок. Однако надеюсь, что в конечном итоге я запомнюсь именно тем, как я играл. Мой друг, художник Эрик Фишл, тоже присутствовал на этом событии. На протяжении многих лет Эрик показывал мне, чем живёт мир искусства, а в обмен на уроки рисования я давал ему уроки тенниса (его уроки с обнажёнными моделями были куда веселее). Я попросил Эрика нарисовать мой теннисный портрет, чтоб подарить его «Залу славы» – и мы представили картину (шесть на семь футов (1,83×2,14 м)) в ходе церемонии. К несчастью, картина была слишком велика, чтобы поместить её в «Зале». Зато теперь она висит в гостиной моего летнего дома на Лонг-Айленде. На следующий год из многих сотен проектов скульптуры в память Артура Эша был выбран именно проект Эрика. Теперь эта статуя стоит перед национальным теннисным центром во «Флэшинг Мидоуз». Новый президент Теннисной ассоциации США Джуди Леверинг тоже присутствовала на церемонии в Ньюпорте. А два месяца спустя на пресс-конференции в «Теннисном центре Соединённых Штатов» во «Флэшинг Мидоуз» она назначила меня 37 капитаном команды Кубка Дэвиса США.

– Я думаю, что Джон на настоящий момент – лучшая кандидатура на пост капитана Кубка Дэвиса. Больше мне добавить нечего. Нет никого в мире, кто бы с большей страстью, чем Джон, относился к Кубку Дэвиса или к теннису вообще. Пожалуй, он лучший игрок Кубка Дэвиса во всей истории тенниса. Он выиграл 59 матчей и проиграл всего 10. Это выдающийся результат. Думаю, он добьётся не меньшего успеха и на посту капитана и будет трудиться с той же страстью и энергией, которыми он отличался, будучи игроком. Джон безусловно является самой запоминающейся фигурой в теннисном мире, самым ярким сторонником Кубка Дэвиса и тенниса. Думаю, всем этим и обусловлен мой выбор. Он уважительно относится ко всем теннисистам, ко всем, кто связан с теннисом. Я считаю, что это прекрасный выбор, как для Кубка Дэвиса, так и для тенниса вообще. Джон стал в один ряд с такими блистательными именами, как Билл Тилден, и Билл Талберт, и Тони Траберт, и Артур Эш...

Вот это компания. Это уж точно, компания что надо, и я был преисполнен необыкновенной гордостью, что теперь я тоже стал одним из них. В течение двух месяцев я был удостоен двух почётных званий. Мне казалось, что я вышел на новый уровень не только в карьере, но и в жизни. Первое из званий останется со мной навсегда. А второе было ещё и работой, причём как я знал из собственного опыта,

играя в своё время под началом трёх разных капитанов, работой очень нелёгкой. Я был одновременно и номинальным лидером, и политиком, что требовало недюжинных дипломатических навыков. Игроков нужно было отговорить от участия в турнирах, выставочных матчах и прочих материально выгодных мероприятиях, чтобы выступить за свою страну, причём за куда меньшие деньги, чем те, которые они могли бы заработать в других местах. Их нужно было упросить выкроить неделю своего времени для изматывающего и физически, и эмоционально мероприятия вместо того, чтобы использовать эту неделю для того, чтобы восстановить силы. Кроме того, четыре недели Кубка Дэвиса редко вписывались в график турниров того или иного игрока. Сколько раз я был свидетелем того, как Коннорс и Витас отказывались от участия в Кубке Дэвиса, и я понимал, что меня, вероятнее всего, ждёт такая же реакция со стороны Андре Агасси и особенно Пита Сампраса. В начале и середине девяностых на протяжении нескольких лет на Кубке Дэвиса были памятные матчи с участием Пита, включая те два пятисетовика в 1992 в парах, в которых он играл с вашим покорным слугой. Наверное, вершиной его участия в Кубке Дэвиса был финал в России в 1995, где он выиграл оба своих одиночных матча (включая тот, который он играл в первый день с Андреем Чесноковым и где его одолели судороги в пятом сете) и доминировал в парах – и всё это в залах на грунте, который русские специально положили, чтобы обезвредить его игру. Так же само поступили со мной и французы в Гренобле в 1982 и тоже просчитались. Он завоевал нам этот кубок, и я знаю, что он спрашивал себя, где же признание? Где же портрет на обложке журнала «Sports Illustrated»? Думаю, у Пита постепенно выработалось такое отношение к Кубку Дэвиса: “Раз всем плевать, то зачем оно мне надо?”. И, разумеется, другая сторона этой ситуации: если плевать первому номеру в команде, тогда плевать и всем остальным. Тебе не должно быть всё равно, даже если плевать остальным. Это как с той историей о комике: конечно, тебе бы хотелось, чтобы в зале была тысяча зрителей, но если в нём всего один человек, стоит ли продолжать представление? Ответ: “Шоу должно продолжаться!”. Если ты веришь в идею Кубка Дэвиса, в то, что ты представляешь в нём свою страну, иногда приходится чем-то жертвовать.

Я помню свой собственный конфликт, когда я не мог играть из-за «Кодекса поведения» в 1985 и 1986 годах. Тогда я считал это делом принципа, но сейчас я спрашиваю себя, а правильно ли я поступал. Я думал, что если уж Андре, Пит и Майкл Чанг хоть к кому-то прислушаются, то этим человеком буду я. Но я знал, что меня ждёт настоящая битва. Я её проиграл. В какой-то степени я проиграл тем самым силам, которые помогли мне разбогатеть – теннисным агентам. Те агенты, которые работают на каждом большом турнире, причём как для теннисных игроков, так и для TV-показов и рекламных акций – и здесь в силу вступает проклятый конфликт интересов: все они видят слишком мало преимуществ в том, чтобы их подопечные играли за свою страну. И когда Сампрас или Агасси говорили: “А почему мне должно быть не наплевать на Кубок Дэвиса?”, за его плечом всегда, словно злой дух, сидел агент и приговаривал: “Да какое тебе до них дело? Всем плевать! Лучше сыграть в Гонконге, там “зашибёшь” вдвое больше!”. Думаю, что Джуди Леверинг, первая женщина-президент американской теннисной ассоциации, была и есть хорошим человеком, которая искренне хотела изменить ситуацию: выбрать меня на пост капитана, имея в запасе куда менее спорные кандидатуры, которые были очень и очень заинтересованы в этом посту – это было смелое решение. В итоге я смог довести команду до середины горы, но не сумел затянуть её на самую вершину.

Кубок Дэвиса вызывал у меня смешанные чувства: я был рад, что мне представилась возможность снова выступить за свою страну, мне нравился дух товарищества в команде, мне нравилось быть лидером. Я был старшим из трёх братьев – и эта роль была для меня естественной. Но я терпеть не мог то, что мне приходилось чуть ли не стелиться перед теннисистами, уговаривая их принять участие в Кубке Дэвиса, чтобы обнаружить, что в последнюю минуту они всё-таки решили не играть. Меня можно, конечно, считать кем угодно, но я всё-таки не коммивояжёр. Я был вне себя, когда мне отказал Майкл Чанг – и не один раз, а дважды: первый раз в тот отчаянный момент, когда и Тодд Мартин, и Сампрас снялись прямо перед матчем первого круга с Зимбабве, а потом в июле против Испании, нашего

соперника в полуфинале (ну, в защиту Чанга нужно сказать, что конфликт в полуфинале был вызван тем, что у него был запланирован мастер-класс для его религиозных групп. Тем не менее, я не мог не задаваться вопросом: если уж кто и должен был простить за участие в матчах за свою страну, то разве не религиозная группа?).

Я не выносил того, что капитан не мог достаточно контролировать такие, казалось бы, банальные вещи как теннисные мячи или же тренировочные корты. Я хотел сам тренировать свою команду, но быстро выяснил, что тренеры игроков из всех сил охраняли свою сферу влияния и возражали против моего вмешательства. Сидя на трибуне рядом с кортом и наблюдая за игрой, я часто с тоской вспоминал о тех днях, когда я с ракеткой в руке мог изменить ход целого матча. А что я мог изменить, сидя на трибуне? (Не говоря уже о том, как я не выносил просто сидеть на месте, которое казалось мне самым плохим с точки зрения зрителя: я вертел головой туда-сюда, туда-сюда, словно герой плохого рекламного ролика, посвящённого теннису). Все чаще и чаще я вспоминал бедного Артура Эша: как он сидел на стуле возле сетки с непроницаемым, как маска, лицом, когда я неистовствовал на корте. Он настолько глубоко прятал эмоции, что я тогда и представить себе не мог, какое отчаянье он, должно быть, испытывал. До тех пор, пока сам не оказался на его месте. Проиграв Агасси в пятисетовом полуфинальном марафоне на «Australian Open» в январе 2000, Сампрас обратился к врачу турнира с жалобами на плечо. Врач посоветовал сделать перерыв от тенниса на несколько недель. Он позвонил мне по телефону, когда я был в ресторане с Эриком Фишлем и его женой Эйприл Горник, с которыми мы обсуждали новости теннисной жизни и мира искусств. В ресторане было шумно и много людей, так что я с трудом разбирал оправдания Пита. Они меня не слишком убедили, и Пит тут же обвинил меня в том, что я ставлю под сомнение его честность. Я повесил трубку с тяжёлым чувством. После этого разговора наши отношения стали натянутыми.

К счастью, в феврале, когда мы играли в первом круге против Зимбабве, Андре Агасси на кураже после победы в Австралии, несмотря на усталость и душевное смятение, вызванное болезнью в семье, несмотря на непрекращающуюся барабанную дробь, сопровождавшую все матчи от первого очка и до самого конца, показал по-настоящему чемпионскую игру.

После того, как Рик Лич и Алекс О'Брайен полностью выложились в напряжённом парном матче и, тем не менее, проиграли в пятом сете со счётом 6-8, судьба решалась в последнем матче третьего дня – и она была в руках Криса Вудрафа по прозвищу «Деревня», который должен был встретиться с Уэйном Блэком.

В первый день – это было первое выступление Криса в Кубке Дэвиса – он буквально застыл, словно олень при свете автомобильных фар, и потерпел сокрушительное поражение против брата Уэйна Байрона. Я был подавлен и удручён во время первого матча, а теперь от Криса зависела судьба всей встречи. Когда счёт был один-один по сетам, а в третьем он уже проиграл подачу, Крис выглядел усталым и запаниковавшим, поэтому я решил показать ему себя во всей красе:

– «Деревня», не смей упускать этот чёртов матч! – заорал я ему. – Терпи! Ты можешь, можешь его выиграть! И, вдохновившись моей тирадой, он действительно смог: он оставил за собой два последних сета 6-2 6-4, победив в самом важном матче своей карьеры, и принёс нашей команде победу во всей встрече. Мне казалось, что за неделю я состарился на целый месяц – я задавался вопросом, насколько меня ещё хватит на этом посту. Тем не менее, у меня было чувство, что я всё-таки чего-то достиг, раз мы добились успеха. В своём TV-интервью после матча (с Патриком Макинроем) я посвятил победу Артуру Эшу, семилетняя годовщина смерти которого пришлась на этот день. Так как наша четвертьфинальная встреча с республикой Чехия в апреле должна была состояться в «Лос-Анджелесском форуме», и я был уверен в том, что нам потребуются наши самые сильные теннисисты, мне удалось убедить (читай «умаслить») сыграть Пита Сампраса.

Он привнёс во встречу несколько больше драматизма, чем мне бы того хотелось. После поражения в своём первом одиночном матче (Андре опять выиграл два своих матча), ему нужно было победить Славу Доседела, чтобы вывести нас в полуфинал. Первый гейм на своей подаче он сыграл любо-дорого посмотреть: подача летела навывлет, и Доседел выглядел раздавленным. После смены сторон при счёте 2-1, уже сделав брейк в первом сете, Питу показалось, что он потянул мышцу на ноге. Шло к тому, что он откажется продолжать игру. Не успел он ничего сказать, когда я отвёл его в сторону:

– Послушай, Пит, сниматься нельзя, – сказал я ему, – нужно продолжать игру. Если ты так и будешь хорошо подавать, ты станешь героем и через полтора часа уйдёшь с корта.

Ему удалось сыграть, преодолевая боль, и победить. Он ушёл с корта, улыбаясь. Полуфинальная встреча с Испанией была бы очень напряжённой, даже если бы мы играли сильным составом. Однако в июле, в тот день, когда Сампрас седьмой раз выиграл «Уимблдон», он позвонил мне и сказал, что не в состоянии выступить в Кубке Дэвиса. До этого мне позвонил Андре Агасси, который сообщил мне, что по пути из аэропорта домой после проигрыша Патрику Рафтеру на «Уимблдоне» он попал в автокатастрофу. А Майкл Чанг отказал мне за две недели до того. То есть в моем распоряжении были лишь герой встречи в Зимбабве Крис Вудраф, Ян-Майкл Гамбил, который не был грунтовым игроком, и Винс Спэйди, который хоть и был в двадцатке сильнейших, но проиграл 21 из 22 последних матчей. Зрители в Сантадере не отличались вежливостью, стояла невыносимая жара, и ловить нам было нечего. Положение наше было настолько отчаянным, что я даже подумывал, не сыграть ли мне в паре, правда, сомневаюсь, что это бы помогло. Ну, в результате мы сыграли, как смогли, но команда соперников была на голову выше нас и переиграла нас по всем статьям – мы проиграли со счётом 5-0. В этом году Испания впервые завоевала Кубок Дэвиса. Несмотря на то, что Винса Спэйди везли в больницу с тяжёлым обезвоживанием и настроение у всей команды было хуже некуда, мне хотелось как можно скорее уехать. Я чувствовал себя разбитым и обессиленным: все, что могло пойти наперекос на той неделе, пошло наперекос. И мне очень хотелось поскорее увидеть детей. Из Испании я улетал в противоречивых чувствах. С одной стороны, будучи капитаном, я должен был остаться с командой. С другой, как отец я должен был быть с семьёй. Я полетел в Париж, а на следующее утро – «Конкордом» в Нью-Йорк. Сразу по приезде я направился в Массачусетс, чтобы повидаться с мальчиками, которые были в лагере, а потом в тот же вечер вернулся в Манхэттен. На следующее утро я снова был в пути, направляясь в Коннектикут, чтобы проведать Руби, которая тоже была в лагере, и услышал сообщение по радио: ««Конкорд» потерпел крушение при взлёте в Парижском аэропорту, все пассажиры и экипаж погибли». В какой уже раз кошмарная трагедия дала мне понять, насколько же мелкими являются мои собственные теннисные неудачи. Я ещё больше оценил, каким же я был счастливчиком. После нервотрёпки Кубка Дэвиса мои выступления в ветеранском туре и работа комментатором на «US Open» казались сущим пустяком. В пятницу первой недели «US Open», когда я комментировал ночной матч, мне передали конверт. В нём было письмо от учредителя – Дональда Трампа собственной персоной. Его ложа находилась прямо рядом с комментаторской кабиной. Он предлагал мне миллион долларов за то, чтобы я сыграл с одной из сестёр Уильямс в одном из его отелей. Я рассмеялся. В начале недели в журнале «New Yorker» напечатали статью авторства Калвина Томкинса с вырванной из контекста цитатой, которая наделала много шума. Так как сестры Уильямс уже несколько лет твердили на всех углах, что они в состоянии обыграть высококлассных теннисистов-мужчин, Томкинс спросил моё мнение по этому поводу. Я ответил, что любой приличный игрок, будь то хороший игрок университета, ветеран или профессионал, способен их обыграть. Теперь этот спор вышел на новый виток: миллион долларов. «Неплохое начало», – подумал я. Когда я вернулся домой, мы с Патти от души посмеялись над всей этой историей. Но история набрала обороты, когда Трамп позвонил в газету «New York Times» и в воскресенье в ней появилась статья о возможном матче. Несколько дней спустя семья Уильямс одумалась и выступила с заявлением, что они не хотят

играть со “стариком”. И вновь меня одолевали очень противоречивые чувства. С одной стороны, у меня не было ни малейшего желания играть с женщинами. Я всегда придерживался мнения, что мужской и женский теннис – это два разных вида спорта. И я не считал себя дельцом типа Джимми Коннора или Бобби Риггса. С другой стороны, мне была не чужда мужская, да и просто теннисная, гордость. Мне претил тот недостаток уважения, которое семья Уильямс демонстрировала по отношению к мужскому теннису вообще и ко мне в частности. Я знал, что если до того дойдёт, то у меня не возникнет ни малейших сложностей, чтобы победить и Винуса, и Серену. Но я по-прежнему считаю, что женский и мужской теннис – это разные виды спорта. А несколькими годами ранее у меня случился похожий скандалчик, связанный с моей старой приятельницей Мэри Карильо, которая в восьмидесятые годы сделала карьеру комментатора. В начале девяностых я сказал какому-то журналисту, что, по моему мнению, мужчины лучше, чем женщины, подходят для комментирования мужских матчей. Эту фразу тут же подхватила газета «USA Today» и из мухи мгновенно получился слон: нас с Мэри изобразили противниками, тогда как мы давно дружили, а из меня ко всему сделали какого-то неандертальца-женоненавистника.

Суть же того, что я тогда сказал, в том, что, по-моему, женщины не вполне способны понять, что творится в голове у теннисиста-мужчины – и то же самое касается мужских комментаторов в отношении теннисисток-женщин. Мне казалось, что теннисные аналитики должны были в своё время играть не хуже, чем те теннисисты, игру которых они анализируют. И поскольку Мэри, в частности, в своей теннисной карьере так и не достигла особых высот, я считал, что вряд ли она могла рассказать зрителям что-то вразумительное об игре теннисистов из первой десятки. Вам будет приятно узнать, что мои взгляды с тех пор претерпели изменения, и за это нужно сказать спасибо моим дочерям. Наблюдая за тем, как взрослеют мои девочки, я по-новому взглянул на женский спорт, и на те возможности, которые открылись для девочек и женщин благодаря таким первопроходцам как Билли Джин Кинг. Кроме того, до меня дошло, что теннис по телевизору носит развлекательный характер, и что трансляция теннисных турниров должна развлекать зрителей. Мэри – хороший пример комментатора, который не является звездой тенниса, но чья искромётная личность и острый ум украшают и наполняют энергией теннисные трансляции. А для тенниса, чем больше энергии, тем лучше. Должен признать, однако, что я далеко не всегда любил работать в комментаторской кабине втроём (я сейчас не имею в виду никого конкретно). Может, вы ещё не заметили, но я люблю поговорить! Только происшествие, которое случилось в супер-субботу на «US Open-2000», заставило меня изменить своё мнение.



Я, Мэри и Дик Энберг (*американский спортивный комментатор*) находились в кабинке «CBS», комментируя полуфинальный матч Сампраса с Хьюитом, когда мне передали записку. К моему изумлению, в ней было написано, что в соседней ложе находился президент Клинтон, который бы хотел со мной поговорить. Если бы я работал только с Диком или с Мэри, я бы просто не смог отлучиться. А так – пожалуйста! По пути ко мне присоединились Патти, Кевин и Анна и все вместе мы провели с президентом полчаса за очень информативной беседой. Спустя какое-то время меня поймали операторы «CBS», и кто-то заметил, что я не разговаривал, как обычно, а слушал – это мне так не свойственно. Они засекли время, и оказалось, что я молчал целых восемь минут – новый рекорд!

Президент Клинтон произвёл на меня огромное впечатление (чего нельзя сказать об Анне, которая просто умирала со скуки). Он знал о теннисе куда больше, чем я мог предположить, да и вообще он столько всего знал, что с ним было приятно пообщаться (то есть, скорее, послушать). Невероятно, но спустя короткое время мне передали записку. Я был уверен, что мой продюсер Боб Мэнсбах хотел, чтобы я вернулся в кабину. Мне как-то сложно было представить, что я смогу произнести: “Извините, мистер президент...”, так что я не стал её читать.

Однако через пять минут президенту тоже вручили какую-то записку – наверняка немного поважнее моей, и пока он её читал, я решил почитать свою. Я не ошибся.

– Мистер президент, могу ли я попросить Вас уволить моего продюсера? – спросил я. – Он просит меня вернуться в комментаторскую кабину.

Мы оба от души посмеялись над этим инцидентом. Когда я вернулся, Мэри и Дик завидовали мне белой завистью – и я, конечно, не отказал себе в удовольствии их подразнить.

– Что он сказал? – снова и снова спрашивали они.

– Простите, я не могу это разглашать, – отвечал я.

Вскоре после этого «US Open» мне позвонил Андре Агасси и сообщил, чтобы я не рассчитывал на него в 2001 году. Участие Пита Сампраса было в лучшем случае под вопросом. Таким образом, когда мы в сентябре встретились с Арленом Кантаряном, главой американской теннисной ассоциации, он предложил, что в грядущем году ставку нужно делать на молодёжь, упомянув таких восходящих звёзд, как Марди Фиш, Энди Роддик, Тейлор Дент и Джеймс Блейк. Я же сказал Кантаряну, что для того, чтобы Кубок Дэвиса стал что-то значить для американцев и американских теннисистов, этому турниру необходимо больше руководствоваться интересами болельщиков и игроков. Я был уверен в том, что если в формат и график проведения турнира не будут внесены существенные изменения, мы должны будем сняться с турнира. Кроме того, я добавил, что был серьёзно настроен организовать национальную теннисную академию, чтобы работать с молодёжью. Кантанян автоматически покивал, сказав, что идеи неплохи, но после этого он со мной так и не связался.

Последующие несколько месяцев я и думать не хотел о Кубке Дэвиса. В ноябре я встретился с будущим президентом Американской теннисной ассоциации Мервом Хеллером и с Джуди Леверинг, якобы чтобы обсудить, как будет проводиться Кубок Дэвиса в следующем году. Тогда-то я и сделал официальное заявление, что после долгих раздумий и поисков я решил оставить свой пост. Они не сопротивлялись.

Вот на такой, не очень оптимистичной ноте я ушёл. Однако моё разочарование было слишком велико – я не получал от работы никакого удовольствия. Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься теми вещами, особенно серьёзными, важными вещами, которые не приносят тебе удовольствия. Я хотел проводить больше времени с женой и шестью детьми, а не биться головой об стенку. Будучи юристом, отец помог мне в своё время оформить трёхгодичный договор с условием оценки моей деятельности и моими соображениями по поводу Кубка Дэвиса, а также предусматривающим прекращение договора в том случае, если я полагал, что эти составляющие были не на должном уровне. Я считал, что в первый год я показал лучшее, на что был способен. Я был рад пожертвовать всю свою зарплату в мой фонд. Сейчас, однако, минусы перевесили плюсы. Как бы я ни любил Кубок Дэвиса, оказалось, что я не годился для той роли, которую мне пришлось выполнять. Пришло время прощаться.

Многие и в СМИ, и в теннисном мире подвергли меня резкой критике за это решение. Однако я всё-таки считал, что наши шансы в Кубке Дэвиса возрастут, если кресло капитана займёт вместо меня кто-нибудь другой.

И какую же замену мне нашли!

13 декабря 2000 года американская теннисная ассоциация назначила 38 капитаном команды Кубка Дэвиса Патрика Макинроя. Капитан Патрик! Вот это ирония судьбы! Какую же бурю чувств я испытал. Но преобладала всё-таки гордость.

Если бы тогда, когда «Всеанглийский теннисный клуб» отказал мне в членстве, мне сказали, что однажды я сыграю с Бьорном Боргом в Букингемском дворце, я бы ответил: “Да-да, а ещё я буду играть в ветеранском турнире и комментировать женский теннис”.

Тем не менее, несмотря на утверждение Пэта Кэша, что я смогу проникнуть в Букингемский дворец только одним способом: перебравшись через ограду, во время Уимблдонского турнира 2000 года, в воскресенье первой недели, когда матчи традиционно не проводятся, я проехал сквозь дворцовые ворота к корту в центре роскошного парка, и мы с Бьорном непринуждённо разыграли выставочный матч в благотворительных целях перед небольшой группой приглашённых, среди которых были принц Эндрю (*младший сын королевы Великобритании*) и его жена Сара Фергюсон (*прим.ред. – Находились в разводе с 1996г., однако продолжали жить в одном поместье и совместно воспитывали двух дочерей*).

В тот день мне очень не хватало принцессы Дианы (*первая жена принца Чарльза, погибшая в 1997г.*): когда мы до этого несколько раз встречались, она относилась ко мне с большой теплотой, сочувствуя моим проблемам с прессой в период моего развода, тогда как ей самой доставалось в сто раз больше, чем мне.

Чопорная старушка Англия – в конце концов, и я не устоял перед твоими чарами.

«Уимблдон-2011». Весь вспотевший после тренировки, я зашёл в ночную студию «BBC» (*Британская широкоэвещательная корпорация*), чтобы поучаствовать в обсуждении четвертьфинального матча между Гораном Иванишевичем и Маратом Сафиным. Я часто приезжал в последний момент, но в тот вечер, сидя перед камерами, вдруг почувствовал, что меня очень отвлекает то, что с меня буквально льётся пот. Я свернул интервью с Джоном Инвердейлом, что было мне несвойственно, не вдаваясь в подробности матча. “Горан по своему обыкновению подавал с огромной скоростью, – сказал я, – а Марат пытался качать с задней линии, как это обычно делают грунтовые игроки на траве”. По моему мнению, исход в матче был предопределён: трава очень подходила Горану, а Сафин был совершенно не уверен в своих шансах, возможно, он был доволен уже тем, что вышел в четвертьфинал. Это был скучный матч, о чем я и сказал.

Канал «BBC» на протяжении многих лет предлагал мне поработать на них во время «Уимблдона», и в 2000 году «NBC» наконец дала согласие на то, чтобы я вещал для обеих телекомпаний на том условии, что приоритет останется за «NBC». До того момента сотрудничество с «BBC» шло даже лучше, чем я ожидал. Дэвид Гордон, мой продюсер, посоветовал мне быть собой, чувствуя, что британская публика была готова изменить своё отношение. И он оказался прав: зрители встретили меня положительно.

Этот случай был моим первым промахом.

Мне было слегка не по себе, когда я вышел из студии, но потом я забыл о случившемся. После победы Горана в третьем круге над Энди Роддиком, я зашёл в раздевалку и сказал ему, как я за него рад.

– У тебя получится! – сказал я ему, неосознанно повторяя те самые слова, которые когда-то говорил мне отец.

В глубине души, однако, я очень сомневался, что у него есть хоть один шанс на победу.

У меня с Гораном долгая история взаимоотношений. Впервые мы сыграли в начале девяностых, когда его карьера только начиналась, а моя была на закате. Его сильнейшая подача левши – он подавал из какой-то странной полусогнутой позы и вкладывал в удар всю свою мощь – была краеугольным камнем его игры, и когда у него шла подача, ни я, ни кто другой были не в состоянии с ним совладать. И с задней линии, и с лёту он играл сильно, но нестабильно. Этот высоченный хорват был одним из немногих игроков, которые в матчах со мной имели в активе больше побед, чем поражений.

Но мне он нравился. Мне нравились такие люди, как он: эксцентричный, прямой, вспыльчивый и не без причуд. Наверное, типичный левша. Характер у него был таким же, как и удары с задней линии – неровным. В 1991 году мы играли вместе пару на «Уимблдоне», и я так и не понял, как же так произошло, что мы вели с перевесом в сет и брейк, а потом он будто выключился, и в результате мы проиграли.

Мне казалось, что мы друзья, но в нём было что-то такое неуловимое. Дважды я играл в ветеранских турнирах в Хорватии, где он был кумиром, и был разочарован, что мы так с ним и не встретились. Горан пообещал, что он мне покажет Загреб, но так и не позвонил.

Тем не менее, я продолжал за него болеть. На фоне той повальной правильности, которая воцарилась в теннисе в девяностых, Горан был словно глоток свежего воздуха: потенциально великий игрок, матчи которого всегда были полны драматизма. Однако слишком часто драматизм оборачивался фарсом или же трагедией, когда он растрачивал шанс за шансом. Я ему очень сочувствовал в «Уимблдоне-1988», когда будучи посеянным 14, он упустил прекрасную (и, как мне тогда казалось, последнюю) возможность выиграть титул в пятисетовом финальном поединке с Самprasом.

И вот сейчас в 2001 году он снова вернулся – и сценарий этого возвращения был настолько странным, насколько и невероятным. Горан занимал 125 место в мировой классификации, когда то ли из чувства сентиментальности, то ли потому, что на его матчах никогда не приходилось скучать (а может, по обеим причинам вместе) «Всеанглийский теннисный клуб» дал Горану уайлд-кард. Как же они об этом пожалели!

Он протаранил сетку (*турнирную сетку*), победив вспыльчивого Энди Роддика в третьем круге, потом Грегa Руседски в четвёртом и Сафина в четвертьфинале. А потом в полуфинале (уверен, что Уимблдонский турнирный комитет дружно искусал себе все локти) справился с надеждой всей Англии, Тимом Хенманом, в трёхдневном, откладываявшемся из-за дождя марафоне. В «Уимблдоне-2001» было что-то судьбоносное для Иванишевича. В своей пресс-конференции после победы над Хенманом, всё ещё уязвлённый моими комментариями к матчу с Сафиным (которые я сам к тому моменту благополучно забыл), он высказал всё, что обо мне думает.

“Джон Макинрой был моим кумиром”, – сказал он, – “Он был теннисистом, на игру которого я всегда любил смотреть, но как человек мне он никогда не нравился. Он сказал, что я владею всего одним ударом. Получается, или я гений, или же мои соперники не умеют играть... Он несёт бред. А кому нужен сейчас Джон Макинрой?.. Он идиот”.

Я был ошеломлён. Эти Уимблдонские две недели выдалась для меня особенно нервными. Мой старый друг Ричард Вейсман взял Патти, Руби и Эмили с собой на фотоохоту в Ботсвану, я был очень рад за них, но одновременно и нервничал, ведь Ботсвана – это так далеко. На мне оставались две маленькие дочки, который были со мной в Лондоне – и я разрывался между обязанностями отца и комментаторской работой.

Не облегчало жизнь и то, что уже несколько дней я пытался дозвониться Патти на сотовый, но без толку. В наши дни можно дозвониться практически куда угодно, но видимо, саванна Ботсваны препятствует сигналу. Кроме того, я оставил проспект, посвящённый сафари, дома в Нью-Йорке, поэтому я даже не знал, с какой компанией они поехали. Я был растерян и смущён. С одной стороны, я был уверен, что с ними все в порядке, но воображение разыгралось не на шутку.

И на этом фоне мне приходилось много работать, что даже хорошо. Мне было интересно попробовать заниматься одной и той же работой, но разными способами. На «BBC» не было никакой рекламы, а это значило, что я продолжал комментировать и во время смены сторон. Это меняло ритм трансляции, делало стиль комментариев более естественным, разговорным, так как я мог останавливаться там, где считал нужным.

Американское телевидение, как все мы знаем, куда более капризно в отношении мёртвого эфира, хотя слишком много болтовни во время матча – тоже не дело. В работе на американском TV весь фокус в том, чтобы найти нужную пропорцию. Мне нравится шутить, говорить то, что думаю, не обходя острые углы. Когда на «Уимблдоне-1996» на корт выбежал обнажённый мужчина, Дик Энберг лихорадочно подавал мне знаки ничего об этом не говорить. А что сделал я?

– Нам нужно посмотреть повтор с разных ракурсов, – сказал я зрителям.

Тирада Горана была совсем не к месту. Накануне финала Иванишевича с Патриком Рафтером (второй раз с 80-го года, когда в финале встретились мы с Боргом, из-за дождей его перенесли на понедельник) я был в полном раздрае. Неделю я не мог дозвониться Патти, и ту ночь вместо того, чтобы спать, я ворочался с боку на бок (и плакал). Мне пришлось встать в половине шестого, чтобы подготовить Анну, Аву и их няню к самолёту в Нью-Йорк. К тому времени, когда за мной прислали машину, чтобы довезти меня на матч, я едва держался на ногах. Моё состояние усугублялось ещё и тем, что газеты пестрели сообщениями о схватке Иванишевича и Макинроя. Меня высадили, где обычно, на стоянке возле 14 корта в «Уимблдоне». Выйдя из машины, я услышал, как десять тысяч подростков и молодых людей, преимущественно австралийцев и хорватов одновременно исполняли гимны своих стран – никогда мне не приходилось слышать такого пения перед турниром. Ещё неделю назад эта молодёжь и не мечтала попасть на финал «Всеанглийского клуба», но в понедельник утром они были здесь, полные сил и запала болеть за своих любимцев.

Стоило мне зайти на территорию «NBC», мой продюсер Джон Макгинесс тут же спросил:

– У тебя всё в порядке? Ты просто ужасно выглядишь.

После этого он сообщил мне, что канал «BBC» хотел взять у меня интервью на корте. Когда я вышел на корт, чтобы поговорить с ведущей «BBC» Сью Баркер, зрители на Центральном корте, завидев меня, встретили меня дружным рёвом. Впервые за эти дни я воспрял духом.

Однако, стоило мне вернуться в кабину, мною вновь овладели волнение и усталость, и мне снова пришлось бороться с собой. Я комментирую от души, а в тот день на душе у меня скребли кошки. Во время перерыва после первого сета я по инерции схватился за мобильник и в сотый раз попытался дозвониться Патти.

И на этот раз у меня получилось! Она была в аэропорту Йоханнесбурга.

У меня словно гора с плеч свалилась. Я едва сдержал слёзы, когда рассказал ей, как я весь испереживался.

– Джон, дурачок, это же сафари. Мы были в Ботсване. Тут не поговоришь по сотовому, когда тебе вздумается, – сказала она.

Я расправил плечи и с лёгким сердцем вернулся к работе, но мне не пришлось много говорить. Энергия зрителей была настолько наглядной, что я предоставил возможность игре говорить самой за себя.

Горан бросился на траву и посмотрел в небо, когда он выиграл пятый сет и свой первый «Уимблдон». Я прекрасно знал, что он сейчас чувствует.

Этой ночью я летел в Нью-Йорк с улыбкой на лице. На следующий день Патти прилетела из Йоханнесбурга. Когда она вошла в дом, мои глаза наполнились слезами: никогда я не любил её больше, чем в тот момент.

Вот это и есть главное в жизни, подумал я тогда.

Несколько месяцев назад, когда я вместе с дочкой Анной смотрел телевизор в кабинете, раздался телефонный звонок. Анна даже подпрыгнула. Я поднял трубку. Голос на том конце провода мгновенно показался мне знакомым: “Джон, это Джимми Коннорс”.

Я не разговаривал с ним уже несколько месяцев – с тех пор, как мы участвовали в одном из ветеранских турниров в Стэнфорде. Мы должны были сыграть в финале, но Джимми сказал, что он травмировал спину. Это был последний из нескольких турниров, с которых он снялся в том году. Думаю, что истинной причиной снятия было его раздражение из-за того, что с тех пор, как он продал свою долю концерну «Интернэшнл Менеджмент Груп», тур изменился: если раньше в нём играли 12 теннисистов по олимпийской системе отбора, то сейчас в нём участвовали 8 по круговой системе. Таким образом, спонсоры и организаторы могли выжать из нас, по крайней мере, три матча.

А может, он просто не хотел играть со мной, ведь во время наших последних встреч я разбивал его на голову. Но в этом телефонном разговоре всё было забыто. Он был так взволнован. Его агент был готов поддержать парный матч: Сампрас с Агасси против нас с ним.

– Ты серьёзно? – спросил я.

Джимми сказал:

– Ты будешь отвечать за три-четверти корта, а я как-нибудь справлюсь на приёме, ну и свою подачу удержу, не хуже, чем Агасси. Но ты же куда более сильный парный игрок, чем Сампрас, я-то знаю. Ну как, согласен как-нибудь с ним обсудить?

И тут-то начинается самое поразительное. Я сказал:

– Ладно, я с ним поговорю.

А должен был сказать: “Да забудь, Джимми, ни в жизни!” Но всё-таки в этом был соблазн. Я подумал: “Этот мужик по-прежнему считает, что он лучше всех”. В каком-то смысле мы действительно лучше всех – в известной мере. Мы, два старикана, иногда едва вытягивали матчи с местными профи, но зато самолюбие у нас зашкаливало. Да, Джимми просто неотразим. Я уже думал, что он предложит нам сыграть с сёстрами Уильямс!

Странное дело. В совсем юном возрасте ты достигаешь вершин, а потом какой-то частью себя ты всё время пытаешься воспроизвести эти достижения. Скажем, ты Борг, ты член шведского совета по туризму, ты на короткой ноге общаешься с президентом Швеции на предмет того, как привлечь туристов. Наполняет ли это тебя таким же пьянящим чувством восторга, как победа в «Уимблдоне»? А игра в ветеранском туре? Как, как вновь испытать этот восторг?

Поэтому со спортсменами чаще случаются неприятности, чем с обычными людьми. Они не в состоянии снова испытать этот восторг, поэтому им приходится вызывать его искусственно, или же им это не удаётся, и они чувствуют себя опустошёнными. Я доволен своей жизнью – и с каждым годом всё больше и больше, но как бы я ни был доволен, трудно забыть мои потрясающие победы... И тогда мне приходится напоминать себе, что тогда мне было не с кем разделить эти победы.

Тогда я вспоминаю, как же холодно было там – на вершине.

Конец февраля 2002 года, поздняя ночь буднего дня. Я спал необычайно крепким сном, когда меня разбудил плач младшей дочери.



Патти не было дома, поэтому выбора у меня не было: пришлось встать и подойти к Аве. Она описалась во сне и теперь заходила в рыданиях, так и не проснувшись до конца. Я поменял пелёнку, заменил одеяльце и дал ей бутылочку, чтобы успокоить. Через несколько минут она заснула, а у меня, конечно, к этому моменту сна не было ни в одном глазу.

Несколько часов я ворочался с боку на бок – мне не давали покоя всякие мысли. Я недавно вернулся из Калифорнии, где закончил съёмки 13 серии передачи «Кресло» на канале «Эй-Би-Си». Эта передача неожиданно перевернула мою жизнь. Её идея появилась сразу после Рождества, и не прошло и двух месяцев, как я стал звездой лучшего эфирного времени в передаче, которая была чем-то средним между игрой и реалити-шоу.

Но настоящая реальность ждала меня дома. Я вернулся с побережья как раз к своему дню рождения: мне исполнилось сорок три, но после четырёх поездок в Лос-Анжелес в течение шести недель я чувствовал себя совершенно опустошённым. Мне нужно было перестроиться на домашний режим. Я хотел отметить день рождения в доме на Лонг-Айленде, но подростки не были в восторге от этого плана.

– Ну, папа, там же скучно, – сказали Руби с мальчишками. Они хотели пойти ночевать к своим друзьям.

Тем временем Патти опять устала от того, что на её плечах лежал груз забот за детьми. Она давно уже не чувствовала себя певицей, чьи хиты продавались миллионным тиражом, той, которой она была, когда мы познакомились. И потом она почему-то считала себя виноватой, что не организовала мне вечеринку, при этом злилась на меня из-за этого чувства вины (и из-за того, что я никогда не устраивал вечеринку в честь её дня рождения!). Пожалуйста, строй из себя звезду сколько угодно, сказала мне она, но ей нужно было время и для себя. Поэтому она решила поехать на несколько дней в SPA (*прим.ред.*– *Аббревиатура от латинского “Sanus per Aquam” – “здоровье с помощью воды”*), чтобы расслабиться и побаловать себя.

Я беспокойно ворочался в постели, которая без Патти под боком казалась мне слишком большой, и задавался вопросом: был ли я эгоистом? Самовлюблённым нарциссом? Точнее, продолжал ли я им быть? Когда я был молодым одиночным игроком, центром собственного мира, я ложился спать в два ночи и просыпался в одиннадцать дня, мне ни о чем не приходилось думать, кроме тренировок, питания, матчей и о том, как после них развлечься. Когда я был молодым мужем и возвращался с турниров, я говорил Татум, что с семи утра до полуночи я в её распоряжении, но если что случится между полуночью и семью утра, это меня не касается. Мне нужен был нормальный сон. С Патти я нанимал нянь, чтобы не вставать ночью, когда к детям не могла подняться она.

Теперь же я начал наконец понимать, что же по-настоящему значило быть родителем: просыпаться посреди ночи, чтобы успокоить детей, преодолевая собственных демонов, а потом пытаться найти в себе силы, чтобы справиться с дневными обязанностями. Может, я слишком много требовал от Татум? А теперь, с Патти, может, я слишком зациклился на себе? Может, мой перфекционизм доводил семью до белого калена? Всё ли в порядке с детьми? Научусь ли я когда-нибудь расслабляться? Зачем мне понадобилось затевать игровую передачу вместо того, чтобы быть с семьёй и заниматься настоящим (неблагодарным и непосильным) трудом – воспитывать наших детей: тем делом, ради которого Патти пожертвовала собственной карьерой?

В конце концов, забыв о сне, я отправился в свой кабинет, выглянул в окно, чтобы посмотреть на город, мой город, когда небо над Центральным парком начало светлеть. Это была ещё одна вершина, – вдруг озарило меня – для восхождения на которую мне требовалось приложить все свои силы, в отличие от тех высот, которые я когда-то давным-давно покорил благодаря дарованному Богом таланту без особого труда.

За плечами у меня был неудачный брак. У меня были неудачи куда большие, чем постепенный и неуклонный спад в карьере. Я прилагал большие усилия – куда большие, чем когда бы то ни было – чтобы быть хорошим мужем, хорошим отцом. В конце концов, я начал обретать себя. Если мне хоть немного повезёт, ещё очень многое ждёт меня впереди.

Смешно: я затеял TV-программу, потому что я переживал, что начинаю воспринимать себя слишком серьёзно. Теперь я переживал, что она отвлекает меня от более важного в жизни. Как же сложно найти золотую середину.

Однако глядя на город, я ощутил оптимизм. У меня было столько возможностей: искусство, теннис, телевидение... Я подумал о том, что, может быть, когда-нибудь я займусь и политикой. В жизни случались вещи и поудивительнее. Если уж Джесси Вентура (*актёр, ведущий радио и телешоу*) смог стать губернатором Миннесоты, кто знает, кем стану я?

И об этом безусловно я всерьёз.

Приложение 1.

10 самых важных рекомендаций Джона Макинроя по улучшению тенниса в 21 веке

1. В теннисе должна быть введена должность комиссара. В бейсболе, американском футболе и баскетболе она есть, так почему же её нет в нашем спорте? (Я могу, например, её занять ...).

2. В стране нужно создать Национальную Теннисную Академию. «Флэшинг Мидоуз» вполне подходящее для неё место, хотя, если логистика будет слишком сложной, есть множество других возможностей. Детей с большим потенциалом надо набрать со всей страны, выделить стипендии, если это будет необходимо (при необходимости выделить стипендии), и они смогут развиваться, как рос я в Порт Вашингтон под руководством Тони Палафокса и Гарри Хопмана (Опять же я могу...).

3. Игроки должны быть более доступны для болельщиков и журналистов (я действительно это предложил?), как, например, гонщики «NASCAR» (*частная фирма-организатор автомобильных трековых гонок*).

4. Возвращение к деревянным ракеткам было значительно улучшило бы качество игры. Самое большое изменение в игре за последние 25 лет – замена дерева на графит – оказалось плохим. Я считаю, что деревянные ракетки красивы, с эстетической точки зрения, и более «чистые» в игровом плане. Возьмите, к примеру, бейсбол. Дети начинают с алюминиевых бит, затем переходят на графит, кевлар или что-там ещё в университете и только в высших, главных лигах им дают использовать дерево, требующее большого умения для достижения результата. Почему бы то же самое не сделать в теннисе? Я думаю лучше держать в руке волшебную палочку чем увесистую палицу, которой кого-нибудь, не дай бог, можешь и зашибить. По мне так в дереве есть шик. Вам требуется стратегия и техника. В теннисе в наши дни недостаёт и того и другого. Сейчас это: бум, бум – переход.

5. В теннисе, как и в других видах спорта, надо ввести понятие сезона. Я бы рекомендовал с февраля по октябрь. Три месяца в году – никакого тенниса. Игроки смогут отдохнуть и восстановиться, а болельщики немного подождать.

6. Расписание Кубка Дэвиса тоже надо привести в соответствие современным реалиям. Может надо проводить его по неделе раз в два года, как Кубок Райдера в гольфе? Или, может быть, раз в году? Каким бы ни был ответ, высшее руководство должно сесть и решить, как возродить интерес у лучших теннисистов к этому замечательному турниру.

7. Только лучшие любители должны допускаться к участию в Олимпийских играх. Соблазн золотых медалей будет тем стимулом,

который заставит игроков учиться в университетах и подождать переходить в профессионалы. В результате профессионалы будут более зрелыми, а Олимпийские игры – более чистыми.

8. Линию подачи надо сдвинуть на 15 см ближе к сетке. подача в теннисе стала чрезмерно важной – особенно на «Уимблдоне», где лучшие в мире болельщики терпеливо ждут окончания дождя, и всё для того, чтобы наблюдать унылые марафоны подач.

9. Касание сетки при подаче должно быть отменено. Это ускорит игру и сделает её более увлекательной.

10. Теннисисты должны активнее участвовать в благотворительной работе. Теннис должен выделить несколько важных направлений, где можно существенно изменить ситуацию, как, например, сделали Андре Агасси и Андреа Джегер. Андре основал школу для детей с проблемным развитием в Лас-Вегасе, а Андреа – ранчо «Силвер Лайнинг» для смертельно больных детей в Аспене, штат Колорадо.

Приложение 2.

Мои 25 лучших рок-н-рольных мгновений: личный список удалённых сцен (некоторые мгновения слишком хороши, чтобы оставить их валяться на полу монтажной...)

1. Гастроли «Rolling Stones» 1980 года. Мидоулэндс. Мы пошли вместе с Витасом и вскоре душевно веселились вчетвером вместе с Ронни Вудом и Китом Ричардсом. Потом мы так зажгли с Миком Джагером перед выходом группы на сцену, что даже задержали представление. Ребята выступили просто здорово – вот что значит рок-н-ролл!

2. Телепередача 1980 года с участием Лучано Паваротти. Послушав моё пение, он предложил провести комедийную часть программы на теннисном корте. Будучи на корте, он попытался перепрыгнуть через сетку и свалился лицом вниз.

3. Благотворительная теннисная и рок – акция Форест Хиллс 1982 года. Во время теннисной части этого мероприятия я играл с Мит Лоаф (*Meat Loaf*), который тоже попытался перепрыгнуть через сетку и тоже свалился лицом вниз (Мораль: толстым певцам не рекомендуется пытаться прыгать через сетку). Тем же вечером я стоял перед толпой из 15000 фанатов с Карлосом Сантаной, Джо Кокером и остальными. Сантана решился на рискованное мероприятие – указать на того кто будет играть основную партию. Моей единственной мыслью было: “Пожалуйста, только не я” (В то время я знал только три аккорда). Он указал на меня. Я просто сыграл ритм.

4. Между матчами «Уимблдона-1982» я пытался разучить в своём номере в отеле «Город суфражисток» (*Suffragette City*) и «Мятежник» (*Rebel, Rebel*) – Дэвида Боуи. В дверь постучались. Это был Дэвид Боуи.

– Пойдём, пропустим по стаканчику, – сказал он. – Только без гитары.

5. Концерт 1982 года «Олман Бразерс» в концертном зале «Палладиум» в Нью-Йорке. После окончания я зашёл за кулисы и Дики Беттс сказал: “Слушай, мы тебя видели по телеку!”. А затем Грег Олман добавил: “Да ты гольфист, мил человек” (Примерно тоже самое сказал мне Пол Линд в 1979 на шоу Голливуд Скверс (википедия утверждает, что российским аналогом стала игра «Проще простого»)

6. 1983. Ещё одна совместная благотворительная теннисная и рок-акция – на пирсе Гудзона, проводимая мной с Витасом Герулайтисом. Я импровизировал вместе с Клренсом Клемонсом из «Е Стрит Банд» (группа Брюса Спрингстина), Стивенном Тайлером из «Аэросмит», а также с Алексом Лайфсоном и Джедди Ли из «Раш». Позже тем же вечером я играл – или пытался играть – со Стиви Рэй Воном и Бадди Гаем.

7. 1 августа 1986 года. Группа начинающих музыкантов, включая меня, играла с моим приятелем Миком Джонсом из группы «Форинер» (*Foreigner*), который в одиночку отстаивал честь профессии на моей свадебной церемонии.

8. 16 февраля 1991 года. На свой день рождения – мне исполнилось 32 – я встречался с Питом Сампрасом в полуфинале турнира в Филадельфии. Тем временем Татум организовала для меня тусовку на пляже в Малибу, где мне предстояло музицировать среди прочих с Брюсом Спрингстином, Брюсом Уиллисом и Стивеном Стиллсом. Татум позвонила мне: “Надеюсь, ты это не пропустишь?”. Я не пропустил.

9. Июль 1991 года. Мы вместе с Патом Кэшем записали, с позволения сказать, свою версию «Рок-н-ролл» Лед Зеппелин для Американского Фонда Землетрясений, для которой как-то сумели уговорить спеть Роджера Долтри. Нас называли «Фулл Метал Ракетс» (*Full Metal Rackets*). Потом мы сыграли эту песню вместе с Рождером в лондонском клубе «Лаймлайт» (*Limelight*). Понятно, что этот сингл не стал хитом, но мы собрали кое-какие деньги, и было весело.

10. В 1993 году я сидел в комментаторской будке на «Уимблдоне», просматривая пачку в общем-то ничем не примечательных писем от пожилых людей, желающих получить мой автограф, я обнаружил записку: “Позвоните Джорджу Харрисону”. Подумалось, интересно, может ли это быть правдой? Я позвонил по написанному на записке номеру, и это действительно был Джордж. На следующий день он пригласил меня в свой замок в Хенли. Я поиграл в теннис с его сыном и осмотрел замок, а затем Джордж привёл меня в студию поблизости, где мы помузицировали с ним и Гари Муром, блюзовым музыкантом.

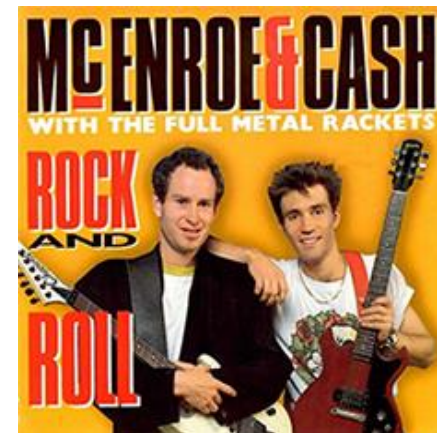
11. Концерт Боба Дилана в Лондоне в 1994 году. После концерта меня пригласили за кулисы, и я вошёл в комнату, где находились пять человек: Дилан, Крисси Хайнд, Джордж Харрисон и его сын Дани и ещё кто-то, кого я не узнал. Я подошёл к тому парню и сказал: “Я – Джон Макинрой, а ты кто?” Он ответил: “Я – Бозо, грёбаный клоун”. Оказалось, что это был Ван Моррисон. Никогда не забуду первое, что мне сказал Дилан: “Я слышал, что ты можешь забросить баскетбольный мяч в корзину сверху и отлично играешь на гитаре, и я знаю, что Карлос Сантана не станет врать”. Мне было больно разочаровать его по обоим поводам.

12. Апрель 1994 года. Я был в Буэнос-Айресе, играл там в показательном турнире в тот вечер, когда Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. Друг затащил меня на радио, где в два часа ночи я сыграл худшую в мире версию «Приходи в таком виде как ты есть» (*Come As You Are*) Кобейна. Его смерть глубоко потрясла меня, но я действовал из лучших побуждений (и я не мог не отозваться? – надо ещё подумать. Там имеется в виду буквально «но по крайней мере, сердце у меня было добрым, он, типа, объясняет, почему он так плохо сыграл, с одной стороны, а с другой, что не прийти и не сыграть он не мог, но можно и твою версию оставить»).

13. Май 1995 года. В баре Честерфилд в Париже во время Открытого Чемпионата Франции Патти Смит впервые спела со мной и моей группой. Это был её сингл обо мне «Хотела бы я быть тобой» (*Wish I Were You*), который позже вошёл в “платиновый” саундтрек к фильму «Армагедон».

14. Ночь на Хэллоуин, 1995 год. Группа Джонни Смит играла на ежегодном хеллоуинском параде на Фронт Стрит в Лахайне на Гавайях. Это была самая большая хеллоуинская гулянка в США. Четыре группы играли одновременно перед 20000 зрителей, которые шатались по улице взад-вперёд: энергия была через край.

15. Декабрь 1995 года. Пауэр Стейшн, Нью Йорк – студия где «Rolling Stones» записали альбом «Татуировка» (*Tattoo You*). Группа



Джонни Смит подписала контракт на звукозапись и наши продюсеры Стив Бойер и Тони Бонжови сказали мне и моим товарищам по группе Крису Скьяни, Джону Мартарелли и Рику Новатка, что наша песня «Давление» (*Pressure*) должна стать хитом. Через три дня студия была сдана кому-то другому.

16. 1996 год. Филадельфия. Патти вводила Джоан Джетт в Зал Славы Филадельфии. Я играл, а Патти спела две песни: «Я люблю рок-н-ролл» (*I Love Rock and Roll*) и «Я ненавижу себя за то, что люблю тебя» (*I Hate Myself for Loving You*).

17. 1996 год. Благотворительный концерт в моей галерее в Сохо. После блюз-музыканта Джона Биллингтона, вышел мой друг Ларс Ульрих со своими товарищами по Металлике Джейсоном Ньюстедом и Кирком Хамметом, с которыми мы играли ночь напролёт. Нечего и говорить, мы сильно подняли уровень децибелов.

18. 1997 год. Я осознал, насколько менеджер нашей группы Питер Голд не разбирается в музыке, когда мы с менеджером моей группы Питером Голдом слушали, как Дэйв Гроль из «Фу Файтеров» пел на радио-шоу у Ховарда Стерна. Это был один из самых пикантных моментов, слышанных мной на радио, и Питер сказал мне, – он был абсолютно не в курсе – что у меня голос лучше, чем у Гроля.

19. Апрель 1997 года. «Nike» попросила меня показаться на «Orange Bowl» в Майами. Я сидел на обочине поля на матче Бразилия – Мексика и затем, по окончании матча, удивил Карлоса Сантану, выскочив на сцену посередине песни. В конце концов, я сыграл у него ведущую партию. К моему изумлению Карлос попросил меня прибавить звук на усилителе, и я сыграл ведущую партию перед 50000 зрителями.

20. 1997 год. Потрясающая тусовка Пола Аллена в Венеции. Сначала бал-маскарад, потом само мероприятие, а затем концерт где бас-гитарист Джимми Хендрикса Ноэль Реддинг спросил меня, хочу ли я сыграть с ним что-нибудь из Хендрикса. Что, по-вашему, я ответил? Мы играли вместе «Пурпурную дымку» (*Purple Haze*), «Хитрую леди» (*Foxy Lady*) и «Эй, Джо» (*Hey Joe*).

21. 1998 год. Хард Рок Кафе в Нью-Йорке. Я сыграл пять песен с группой Билли Сквайра. То, что Билли поставил меня на сцену, явно указывало на то, что его карьера явно клонилась к закату.

22. 1998 год. Музыкальный зал Радио Сити. Моя подруга Крисси Хайнд, солистка группы Претендерс попросила меня сыграть любимую мою песню у неё «Драгоценность» (*Precious*). Чтобы удостоверится, что я знаю песню, она потребовала, чтобы я явился на репетицию, но я не смог. Полагая, что не буду играть, я не взял свою гитару. Она увидела меня у края сцены и объявила зрителям: “У меня для вас есть сюрприз!”. И мне пришлось взять гитару для правши и играть на ней задом-наперёд. Я старался, как мог.

23. Январь 2000 года. Концерт, посвящённый 50-летию Стивена Стилса в Доме Блюза в Лос-Анджелесе. Стивен попросил меня подняться и спеть вместе с ним “на бис” и когда я взошёл на сцену гитара, которую мне протянул техник, была совершенно расстроена. Я потянул время, организовав зрителей спеть «С днём Рождения» Стивену, и в этот момент именинник утянул меня в сторону и сказал, что у меня большое будущее в индустрии развлечений.

24. Январь 2001 года. Шоу Уорлд Спорт Авордс в Роял Альберт Холл в Лондоне. Мне заплатили приличный гонорар за игру на гитаре наряду с другими спортивными знаменитостями и Брайаном Адамсом на представлении нового сингла последнего «Мы выиграем» (*We're Gonna Win*). Как выяснилось позже, меня наняли показухи ради, а вовсе не для музыкального исполнения: моя гитара была подключена к электросети, но не к усилителю. По завершению исполнения я спросил ведущего Роджера «007» Мура, хочет ли он послушать ещё одну песню. Очевидно, он недопонял, потому что ответил: “Конечно”. Продюсеры, к огорчению Брайана Адамса, снова

поставили запись «Мы выиграем». Несмотря на это, порядка пятидесяти человек подошли ко мне по окончании, чтобы сказать как им понравилось моя игра. Комментарии, как говорится, излишни.

25. Июль 2001 года. Играл «Без изменений» (*No Changes*) вместе с «Спинал Тап» в театре «Бикон» в Нью-Йорке. Похоже, вписался отлично.